

Лев Успенский Слово о словах



«Слово о словах»: Детская литература; Л.; 1971

Аннотация

Книга замечательного лингвиста увлекательно рассказывает о свойствах языка, его истории, о языках, существующих в мире сейчас и существовавших в далеком прошлом, о том, чем занимается великолепная наука — языкознание.

Лев УСПЕНСКИЙ. СЛОВО О СЛОВАХ (Очерки о языке)

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ И ЕГО КНИГИ

Если бы попросили людей, хорошо знающих Льва Васильевича Успенского, коротко охарактеризовать личность писателя, они бы ответили, что прежде всего поражают его огромные разносторонние знания, его поразительная память, редкое трудолюбие и работоспособность, его жизнерадостность и сильно развитое чувство юмора.

Многие из них дали бы совсем короткую характеристику: «Он все знает».

В наше время — время грандиозных открытий, бурного развития науки и техники, в век космонавтики и электроники — невозможно «все знать». Но Лев Васильевич «дает повод» так о нем говорить. Он является исключительно образованным человеком: он ученый-лингвист, знаток археологии, истории в широком смысле этого слова, в частности истории Петербурга, географ, землемер, ботаник, фотограф, знаток античности, писатель, поэт, переводчик.

Лев Васильевич пишет филологические книги, книги об археологии, географии, книги на мифологические темы, книги из истории нашего города, военные рассказы, повести и романы. Все, о чем он пишет, он хорошо знает и рассказывает читателям со знанием дела.

Этому помогает превосходная память писателя.

В редакциях газет и издательств частенько можно слышать: «Это знает Лев Васильевич, это нужно поручить Льву Васильевичу, нужно спросить у Льва Васильевича».

Такое отношение к писателю хорошо, емко выразил в дружеской эпиграмме

ленинградский поэт Михаил Александрович Дудин:

Знает все: от звезд в ночи,
Скрывшихся в тумане,
До отлова чавычи
В Тихом океане.

Л. В. Успенский проявляет самый живой интерес ко всему, чем живет наша страна, чем живет весь большой мир — наша планета Земля.

Писатель-гражданин быстро и живо откликается на все события, происходящие как в нашей стране, так и за рубежом. Отсюда — частые выступления Льва Васильевича в газетах и по радио. Он прекрасный оратор, его речь жива и образна, он говорит языком, доступным всем, приводит интересные примеры, пословицы и поговорки; его речь то полна острыми, гневными словами, когда он говорит о поджигателях войны, то полна восхищения и лиризма, когда он говорит о делах и жизни советских людей, о славной советской молодежи.

В 1960 году писательская общественность Ленинграда, работники издательств, редакций газет, журналов и радио, юные и взрослые читатели торжественно отметили шестидесятилетие Льва Васильевича Успенского и тридцатилетие его творческой деятельности.

Было сказано много слов благодарности писателю за его большой, вдохновенный труд; ему желали долгих лет жизни и выражали уверенность в том, что писатель порадует многими и многими книгами своих требовательных, но всегда чутких и благодарных читателей.

В адрес юбиляра поступило много телеграмм от разных учреждений и читателей, было много преподнесено писателю адресов и цветов.

Виновник торжества, добродушный великан, с гривой седых волос и доброй, с лукавинкой улыбкой, был смущен, взволнован и растроган; он, по-видимому, не ожидал такого праздника, устроенного в его честь.

Книги Льва Васильевича читают и взрослые и школьники с одинаковым интересом, а это самая высокая оценка книг и труда писателя.

Издательство «Детская литература» по-издательски отметило юбилей писателя, выпустив его книгу «Повести и рассказы» (о которой еще будет речь впереди).

В 1960 году в издательстве «Детская литература» вышла также языковедческая книга «Ты и твое имя» (Лен. отдел.).

Прошло десять лет. В эти годы Лев Васильевич продолжал много и плодотворно работать.

В это время писатель работал еще над двумя филологическими книгами: «Имя дома твоего» и над этимологическим словариком школьника «Почему не иначе?». Обе книги вышли в 1967 году в издательстве «Детская литература».

Прошло десять лет — очень малый срок для истории и большой срок в человеческой жизни, — но Лев Васильевич Успенский по-прежнему бодр, работоспособен, по-прежнему оптимистичен и скор на шутку и остроту.

9 февраля Льву Васильевичу Успенскому исполнилось 70 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1970 года за заслуги в развитии советской литературы и в связи с семидесятилетием со дня рождения Лев Васильевич Успенский награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Лев Васильевич Успенский родился двадцать седьмого января (9 февраля) 1900 года в Петербурге в семье инженера-геодезиста. Отец — Василий Васильевич Успенский — происходил из разночинной семьи: дед будущего писателя был провинциальным банковским бухгалтером.

О деспотизме родителей, запрещающих дочерям учиться на Высших женских курсах, об отказе выдать паспорт непокорной дочери, стремящейся к высшему образованию, о фиктивном браке, с помощью которого можно было вырвать девушку из-под власти родителей — обо всем этом современный читатель-школьник с интересом, но и с большим удивлением читает в книгах, и то время кажется ему неизмеримо далеким.

А все это было в семье Льва Васильевича. Мать будущего писателя, Наталья Алексеевна, происходила из дворянской семьи Костюриных, имение которых было в Псковской губернии.

Она без согласия отца уехала в Петербург поступать на Высшие женские курсы и, чтобы стать самостоятельной, вступила в фиктивный брак с Василием Васильевичем Успенским, потом этот брак перешел в обычный законный брак.

Детство Льва Васильевича было вполне благополучным, кроме него, в семье был только один ребенок, брат Всеволод Васильевич, на два с половиною года младше его. Зимой жили в Петербурге, от двух лет и до двенадцати — на Выборгской стороне, летом — Псковская губерния, Великолучина.

Выезды в деревню имели большое значение: мальчик знакомился с жизнью псковских крестьян, с природой Озерного края. Он начинал понимать, что знакомые псковские поля и перелески — это часть огромной страны, его Родины, России.

Будучи в раннем детстве очень любознательным и наблюдательным (эти качества сохранились на всю жизнь), Лев Васильевич в пять лет незаметно для родителей научился читать.

В школу поступил в 1906 году, но, по настоянию врача, был переведен в детский сад (мальчику было шесть лет), где начал изучать французский язык. Немецким языком он уже занимался дома с преподавательницей.

В этом же году произошло событие исключительной для него важности: ему подарили книгу Д. Дефо «Робинзон Крузо». С жадностью и трепетом прочел он эту книгу.

Впечатление от книги было так велико, так ярко, что до сих пор, более шестидесяти лет спустя, Лев Васильевич помнит все картинки из этой книги и даже многие подписи под ними.

В раннем детстве сильнейшим увлечением была зоология, мир животных. Читал и перечитывал Брема.

Другим большим увлечением раннего детства были паровозы, железная дорога: самое любимое место для прогулок — платформа на Финляндском вокзале.

И няня и мальчик Левушка получали оба большое удовольствие: первая могла сколько угодно беседовать со знакомыми старушками, а ее питомец часами мог наблюдать за маневрами паровозов. Любовь к паровозам Лев Васильевич сохранил до сих пор.

Общительный, любознательный мальчик, окруженный лаской и вниманием родителей и няни, которую нежно любил и о которой сохранил самые теплые воспоминания, живо интересовался окружающей действительностью.

Однажды, гуляя по своей излюбленной железнодорожной платформе, мальчик увидел в окнах за решетками чьи-то лица.

На вопрос сына, что это за люди смотрят, мать ответила, что это храбрые революционеры, их посадил за решетку царь-вампир, который пьет народную кровь; мать поддерживала связь с революционно настроенным студенчеством; в эпоху реакции прятала подпольщиков) в доме постоянно, под видом прислуги, жили жены арестованных рабочих заводов «Русский дизель» и Нобеля.

Но вскоре все, что интересовало и тревожило первоклассника, — все отступило на задний план. Новое увлечение целиком завладело будущим писателем.

В 1909 году Блерио перелетел через Ла-Манш. Газеты и журналы были заполнены фотоснимками. В Петербург приехал авиатор Губерт Латам. Двести тысяч человек с одиннадцати утра и до восьми вечера терпеливо ждали на Коломяжском скаковом поле в Новой Деревне его полета. Наконец Латам поднялся метров на двадцать пять и, пролетев метров сто, сел. Толпа подняла летчика и его машину и на руках несла к ангарам. И мальчик Лева, визжа от упоения, бежал сзади, держась за вырезной желтый полотняный хвост «Антуанетты».

Увлечение авиацией стало для Успенского главным в его мальчишеской жизни. В апреле 1911 года в школе (восьмиклассное коммерческое училище), где он учился, было вывешено объявление; такого-то числа ученик второго класса (соответствует четвертому классу советской школы) Лева Успенский прочтет лекцию с туманными картинками на тему: «Современная авиация и аэропланы».

И ученик второго класса Лева Успенский, большой не погодам, вихрастый, счастливый, в присутствии многочисленной публики, учителей и директора училища изложил все, что знал об авиации, и нужно сказать, что слушали его все очень внимательно, так как юный лектор был весьма хорошо подготовлен и блеснул эрудицией. Это была первая публичная лекция Льва

Васильевича.

В 1911 году из-за болезни брата мать с сыновьями живет в Крыму, осень и половину зимы — в Киеве. Черное море удивило и на всю жизнь осталось в памяти писателя. После возвращения в Петербург Успенский поступил в гимназию Мая, славившуюся своим преподавательским составом. Школе этой, по его собственным словам, он обязан большей частью своего умственного багажа.

1914 год. Мировая война. Она вошла в жизнь мальчика и оставила неизгладимое впечатление. Война наложила свой отпечаток на психологию, и то, что Лев Васильевич стал в дальнейшем военным писателем, в значительной мере можно объяснить ею.

Очень часто читатели — люди самых разнообразных профессий и возрастов, начиная с пятиклассника и до людей, умудренных жизненным опытом, задают писателю одни и те же вопросы: «Как вы стали писателем? Когда вы поняли, что будете писателем? Что послужило толчком для написания первого произведения?»

Интерес к литературе в нашей стране огромен, и конечно, читатели хотят не только читать произведения любимых писателей, но и знать их творческий путь, их биографию.

В 1912 году ученик Лева Успенский мучительно искал нужные слова и фразы, чтобы написать «заданное сочинение» на тему «Весеннее утро». Но нужные слова не приходили в голову; время шло, а перед глазами попрежнему лежал чистый лист бумаги. Мальчик признается матери в своей неудаче.

Мать, желая помочь сыну, дает ему прочесть купринский рассказ «В недрах земли» — самое начало, описание утра в степи. И... произошло нечто чудесное: ученик, беспомощно искавший нужные слова, вдруг понял, что такое **художественное слово**.

Может быть, с этого дня он внутренне и стал уже писателем. Теперь он не только все время **хотел** писать, но и понял, что значит "**писать как художник**".

В 1916 году Лев Успенский решил, что пора ему печататься, и послал стихи в толстый журнал (стихи писал с шести лет). Вскоре получил ответ. Редактор похвалил стихи за совершенство формы и очень деликатно доказал, что ему еще рано печататься, нужно учиться, наблюдать, расти духовно.

Это письмо произвело на юношу Успенского огромное впечатление. Неоднократно ему представлялась возможность быть напечатанным. Но он много лет от этого отказывался. С осени 1916 года Лев Васильевич начинает давать уроки — репетиторствовать. Это он делает не из-за материальных затруднений (отец крупный инженер, и семья хорошо обеспечена), а по принципиальным соображениям: он считает, что в 16-17 лет человек должен работать, зарабатывать деньги сам.

Преподает он сыну отставного главкома Балтфлота адмирала Канина. В этой семье будущий писатель от очевидцев слышит рассказы о боях на Балтийском море, о Скагерраке и дома окружен хорошо осведомленными военными, жадно слушает, запоминает, записывает.

1917 год. Юноша Успенский восторженно встречает Февральскую революцию. Сам Лев Васильевич с присущим ему юмором рассказывает о себе и своих «деяниях» — как он, закинув за плечо подаренный дядей карабин, носится по городу, как он произносит речи, как он едет в Псков мирить две враждовавшие псковские организации. Уже более по-взрослому, более сознательно и осмысленно встретил он Великую Октябрьскую революцию. Отец его — Василий Васильевич — категорически отверг предложение своих коллег саботировать Советскую власть и работал сначала у М. И. Калинина в Петрограде, а потом переехал в Москву, где вместе с М. Д. Бонч-Бруевичем и двумя своими братьями стал одним из инициаторов, а затем и руководителей ГГУ — Главного геодезического управления, где работал до своей смерти в 1931 году.

После революции Успенский с матерью и братом жил на родной Псковщине, занимался сельских хозяйством, работал землемером. Зимой 1919 года Лев Васильевич жил в Петрограде и учился в Лесном институте.

В 1920 году Успенский был мобилизован в так называемую трудовую армию, вместе со своими земляками работал на лесозаготовках. Вместе с этими же земляками он проходил начальное военное обучение. Об этом времени писатель так говорит? «Это окончательно сроднило меня с псковичами, и вряд ли кто-либо из моих сверстников так хорошо знает псковского крестьянина

на рубежи революции, как я. Я всюду — на мельнице, в кузнице, на лесоразработках, на свадьбах и деревенских гулянках — был одним из них, говорил на псковском диалекте, жил их интересами. Очень рад, что так получилось».

Лев Васильевич — участник гражданской войны. В 1920 году он в армии (топограф штаба 10-й стрелковой дивизии), был под Варшавой, получил тяжелую контузию.

Осенью 1922 года Успенский приехал в Петроград, ему пришлось повторно сдавать вступительный экзамен в Лесной институт, так как он уже очень давно не посещал занятий. «Произошло чудо, — вспоминает Лев Васильевич, — экзамен был сдан».

В тот же день, молодой Успенский познакомился с девушкой Шурой Ивановой, которая вскоре стала его женой и другом на всю жизнь.

В августе 1923 года братья Успенские потеряли мать и вскоре окончательно переселились в Петроград, чтобы серьезно заняться своим образованием.

В 1923-1924 годах Лесной институт был реорганизован; теперь его воспитанники получали «узкие специальности»: инженер-лесотехник, инженер-лесохимик, а не звание ученого-лесоведа, как раньше. Это не удовлетворяло Льва Васильевича и было одной из причин его ухода из института. А главная причина была в том, что его все сильнее и сильнее привлекала филология в широком смысле слова: литературоведение, языковедение и, конечно, работа писателя.

Успенский поступает в 1925 году в Государственный институт истории искусств, где и учится до 1929 года. Занимается он с большим увлечением и заинтересованностью: это то, что ему нужно.

Сколько сомнений, тревожных раздумий у каждого молодого человека: кем быть, что должно стать главным делом всей жизни?

Таких вопросов не возникало перед Успенским. Ему было ясно, что нужно много учиться, много знать, а потом писать, писать, писать.

Все было ясно и определено. Путь был избран, но жизнь вносила поправки; и когда больше всего хотелось все свободное время отдать писательской работе, приходилось заниматься совсем иными делами: чтобы зарабатывать на жизнь, необходимо работать, — надо было кормить семью.

Занятия в институте были вечерние, и это давало возможность работать. День был заполнен до отказа: занятия в институте, работа и творчество (писал рассказы и роман, который не окончил).

Первым произведением Льва Васильевича, увидевшим свет, была небольшая научная работа о «Русском языке эпохи революции», опубликованная в 1925 году.

В том же 1925 году Лев Васильевич и его друг Л. А. Рубинов задумали написать авантюрный роман. Рассказывая о событиях сорокапятилетней давности, Лев Васильевич говорит, что он мог бы написать приключенческую повесть о том, как писался и издавался этот роман.

Роман вышел в свет в харьковском частном издательстве «Космос» в 1928 году. Название романа было заманчивым и интригующим: «Запах лимона». Автором романа, как гласил титульный лист, был Лев Рубус. Оба автора — тезки, и они решили, что самым подходящим будет, если составить фамилию автора романа из фамилий двух существующих авторов: РУБ (инов) УС (пенский).

Сейчас эта книга стала библиографической редкостью, ее не достать, и Лев Васильевич теперь говорит, что он от души рад этому, но добавляет, что как-никак она была его дебютом в художественной литературе.

В 1929 году Лев Васильевич окончил институт, работал редактором и вскоре поступил в аспирантуру ГИРКа — Государственный институт речевой культуры — и в течение 1930 и 1931 годов был аспирантом. Льву Васильевичу очень повезло: он был учеником, а в дальнейшем товарищем по работе крупнейших советских лингвистов: академиков В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, Л. В. Щербы, члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова, профессоров Л. П. Якубинского, М. Г. Долобоко, А. П. Рифтина. Длительное время преподавал русский язык в комвузе под руководством С. Г. Бархударова.

В 1935-1936 годах работал в интереснейшем Доме занимательной науки, созданном

замечательным организатором В. А. Камским, в объединении с Я. И. Перельманом, В. И. Прянишниковым и Л. В. Успенским.

В тридцатых годах Лев Васильевич с увлечением писал работу о языке русских летчиков. Чем больше он изучал этот материал, чем больше узнавал для себя нового в этой области, тем яснее чувствовал необходимость как можно ближе познакомиться с жизнью летчиков. Лев Васильевич начал заниматься планерным спортом, учился летать на планере.

Много интересных историй услышал Лев Васильевич от учлетов и инструкторов — о самых необычных приключениях, случившихся с ними или с их товарищами.

Первый рассказ из жизни коктебельских планеристов — парителей — был напечатан в детском журнале «Чиж». Рассказ понравился, редакция предложила работать над другим. И Лев Васильевич систематически начал печататься в «Чиже», «Еже», потом выпустил эти рассказы отдельной книжкой: «Кот в самолете». Так родился детский писатель.

В конце 1936 года Л. В. Успенский был приглашен работать в редакцию журнала «Костер», заведовать научно-познавательным отделом, что он и делал до начала Великой Отечественной войны.

Тогда же Б. А. Ларин предложил Льву Васильевичу принять участие в работе над древнерусским словарем. Лев Васильевич считает, что без этой работы вряд ли он смог бы в дальнейшем написать свое «Слово о словах» и другие языковедческие книги. В Ларинском «Словаре» он познакомился с еще одним важнейшим аспектом русского языка — с его историей.

После книги «Кот в самолете» Л. В. Успенским, совместно с братом Всеволодом Васильевичем, были написаны две книги по древнегреческой мифологии: «12 подвигов Геракла» и «Золотое руно». Потом обе эти книги вышли под названием «Мифы Древней Греции».

В 1936 году началось содружество Льва Васильевича Успенского, продолжающееся и по сей день, с военным историком полковником Георгием Николаевичем Караевым (ныне генерал-майором в отставке).

В 1939 году вышел в свет роман «Пулковский меридиан», в котором дана широкая картина исторических событий 1919 года. В 1955 году «Детгиз» выпустил роман «Шестидесятая параллель». В этом романе отражены события Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.

Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель». Но рядом с ними действуют и многие другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.

События «Шестидесятой параллели» разворачиваются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где двадцать два года назад разворачивались события «Пулковского меридиана».

23 июня 1941 года Лев Васильевич был призван в армию и в звании интенданта третьего ранга флота получил направление в Лебяжье, на кронштадтские береговые посты.

Мобилизация задержалась на четверо суток по весьма серьезной, но довольно-таки комической причине: Льва Васильевича не могли обмундировать, так как не сразу нашлись ботинки сорок шестого размера, которые он носит.

Больше года прослужил Лев Васильевич в политотделе Ижорского укрепленного района. Официально он числился за редакцией газеты «Боевой залп». Лев Васильевич постоянно бывал, на передовой, подолгу жил на бронепоезде «Балтиец». Теплые, дружеские отношения установились у писателя с экипажем бронепоезда, с разведывательным батальоном, с политотдельцами, с младшими командирами и матросами.

В ноябре 1942 года Лев Васильевич был вызван из Лебяжьего в Ленинград на совещание и прикомандирован к группе В. В. Вишневого при ПУБалте (Политическое управление Балтийского флота).

Поселился Лев Васильевич в общей комнате для писателей и особенно сдружился с писателем Николаем Корнеевичем Чуковским. По прошествии более чем двадцати лет оба, вспоминая то тяжелое время, с большим уважением и теплотой отзывались друг о друге.

Лев Васильевич, говоря о Н. К. Чуковском, отмечает, что общение с этим интереснейшим

собеседником было для него чрезвычайной радостью и принесло огромную пользу.

14 марта 1965 года, выступая по радио, писатель Николай Корнеевич Чуковский очень тепло и душевно говорил о Льве Васильевиче, как о человеке, который в самой тяжелой обстановке оставался спокойным, как всегда, трудолюбивым, веселым, остроумным — чувство юмора никогда его не покидало.

С уважением говорил Н. К. Чуковский о Льве Васильевиче — лингвисте, который и на войне записывал интересующие его слова, их происхождение и историю, и особенно отметил то, что Лев Васильевич на фронте был самым подвижным из писателей: он черпал материал из первых рук, не расставался с пишущей машинкой.

Много, очень много тогда работал Лев Васильевич, писал и печатался: он считал своей священной обязанностью как можно быстрее и ярче рассказать народу о происходящих событиях на фронте, о славных воинах, защищающих Ленинград.

В январе 1943 года В. В. Вишневский и Л. В. Успенский были командированы на фронт на правом берегу Невы и были очевидцами прорыва блокады, между 12 и 25 января. Лев Васильевич жил на одной из железнодорожных флотских батарей, ведших артиллерийскую подготовку прорыва, увидел только что освобожденный Шлиссельбург, был на наблюдательном пункте до и после прорыва. Иными словами — Лев Васильевич был в самой гуще событий. За мужество и большую работу военного корреспондента он награжден орденом Красной Звезды.

Впечатления и от города и от жизни на «Лебяженском пятачке», вошли в роман «60-я параллель».

Второе издание романа, переработанное и дополненное большим эпилогом, в котором прослеживаются судьбы главных героев, уже в послевоенный период вышло в Детгизе в 1964 году. Вновь переиздан роман тем же издательством в 1967 году.

С сентября 1944 года — писатель в командировке на Дунайской флотилии и два месяца провел на Балканах, в Румынии, Болгарии и других странах, идя за наступающими частями Советской Армии.

В конце ноября 1944 года Лев Васильевич в Москве. Осенью 1945 года он был демобилизован и вернулся в Ленинград к семье.

В 1951 году писатель совершил большое путешествие по нашей стране: ездил в Среднюю Азию; всю Аму-Дарью от Чарджоу до Нукуса прошел на маленьком буксирчике и увидел воочию нрав бешеной реки, увидел своеобразие и красоту Средней Азии.

В результате этой поездки были написаны статьи и цикл стихотворений о грозной, капризной реке АмуДарье и о могучих просторах Средней Азии.

В 1954 году была впервые издана в «Детгизе» книга «Слово о словах». Это была первая книга по языкознанию для широких читательских масс. На эту книгу автору и издательству пришлось пять тысяч писем.

Книга получила настолько широкую известность и признание прессы и читателей, что издательство через полгода начало подготавливать второе издание.

Книга «Слово о словах» — результат терпеливого собирания материала, многолетнего труда писателя. Если Лев Васильевич услышит какое-нибудь редкое имя или фамилию, или какое-нибудь не известное ему географическое название, — сразу же появляется блокнот, и это новое, что заинтересовало писателя, записывается, а дома будет занесено на карточку. Нужные сведения для своих филологических книг писатель черпает и из справочников, энциклопедий, из художественной литературы, из исторических исследований, из старых судебных решений и челобитных. Заготавливается материал, а потом он обрабатывается, приводится в систему. Есть у Льва Васильевича карточки сорокалетней давности и совсем новые, написанные два дня назад.

По вопросам языкознания у писателя собрано от 75 до 100 тысяч карточек.

В конце пятидесятых годов Лев Васильевич написал вторую филологическую книгу «Ты и твое имя» (вышла в свет в «Детгизе» в 1960 году).

«Ты и твое имя» — это тоже книга о языке, о специальной, мало кому известной, но чрезвычайно интересной области лингвистики — ономотологии, науке о личных именах людей.

В истории наших имен отражена история русского языка и русского народа.

Автор, оперируя то забавными, то парадоксально и неправдоподобно звучащими, но всегда научно точными примерами, рассказывает о происхождении имен собственных, отчеств и фамилий в нашей стране и за рубежом.

Разве не интересно узнать, почему можно назвать женщину Розой Львовной, и это никого не удивляет, а если бы вас познакомили с особой, которую зовут Фиалкой Гиппопотамовной, вы были бы поражены. Фиалка Гиппопотамовна! Вот так имя и отчество! А чем цветок фиалка хуже цветка розы, чем название зверя «лев» лучше названия зверя «гиппопотам»?

Русская фамилия Васильев происходит от имени Василий — это ясно. Кузнецов — от слова кузнец. А как объяснить фамилии Некрасов, Томилин, Износков? Они — также от имен собственных. Лет триста — четыреста назад у нас на Руси были такие человеческие имена, как Некрас, Томило, Износок, Неупокрой. И писатель объясняет, почему могли появиться такие имена.

Разве это не интересно узнать?

К настоящему времени издательством «Детская литература» изданы четыре филологические книги Льва Васильевича: «Слово о словах», «Ты и твое имя», «Почему не иначе?» и «Имя дома твоего» — очерки по топонимике: о происхождении географических названий. Живо, интересно рассказывает писатель о сложнейших превращениях географических названий, прослеживает жизнь названий, имеющих столетнюю и даже тысячелетнюю историю.

Разве не интересно установить, что означает название «Москва» или «Артек»?

А разве не любопытна история названия Кия-Шалтырь?

И таких интересных рассказов в книге множество.

На эти четыре книги писатель и издательство получают много отзывов и писем.

Иногда читатели задают вопросы интересные, глубокие, подчас очень спорные, но говорящие о живом интересе к истории и жизни языка. И Лев Васильевич, несмотря на большую занятость (рабочий день писателя загружен до предела), отвечает подробными письмами. Так внимательно и уважительно относится писатель к своим вдумчивым читателям, горячо любящим русский язык, русскую речь.

Настоящее издание книги «Слово о словах» — дополненное и пересмотренное. Прошло много лет после первого издания книги, и у писателя появился новый материал, который он счел необходимым ввести в книгу. Автор счел также своей приятной обязанностью привести примеры из писем читателей и свои ответы, что тоже будет интересно читателям.

Льву Васильевичу Успенскому исполнилось 70 лет. Издательство «Детская литература» отметит эту дату выпуском всех его четырех филологических книг: «Слово о словах» и «Почему не иначе?» — в 1971 году и «Ты и твое имя» и «Имя дома твоего» в 1972 году.

В настоящее время Лев Васильевич работает над пятой книгой о языке — это будет книга, посвященная возникновению и развитию письменности на Руси.

Прочтя филологические книги Льва Васильевича, читатель узнает много нового и интересного; они заставят его призадуматься над вопросами, которые, на первый взгляд, кажутся ясными и простыми, а в действительности являются очень сложными, иногда трудноразрешимыми, дают толчок к наблюдениям за жизнью слов.

Лев Васильевич — прирожденный лингвист. Его филологические книги написаны подлинным ученым, обладающим обширнейшими знаниями.

Читаются эти книги легко, с неослабевающим интересом. Писатель умеет так подать материал, подкрепить свою мысль любопытным примером из истории той или иной страны, вовремя привести такие интересные примеры из разных языков, что книги, посвященные лингвистической науке, читаются как увлекательный роман. В этих книгах Лев Васильевич выступает сразу в двух ролях: ученого-филолога и писателя. Счастлирое сочетание, дающее такие прекрасные результаты!

В соавторстве с К. Н. Шнейдер были написаны: превосходная книга по археологии «За семью печатями», изданная издательством «Молодая гвардия», и книга о Ленинграде — о его исторических ценностях, о мостах, о памятниках, которыми так славится Ленинград. Книга эта — «На 101 острове» — вышла в Ленинградском отделении издательства «Детгиз» в 1957 году.

Есть у Льва Васильевича одно увлечение, которому он отдает часть своего времени. Уже много лет с большим воодушевлением и хорошими результатами писатель на ленинградских улицах занимается "охотой" на львов. Лев Васильевич фотографирует изваяния львов. Интересны поиски не только на улицах и площадях города, но во многих дворах многоэтажных огромных домов или в маленьких внутренних садах старинных особняков. Какие разные эти львы! У каждого своя неповторимая индивидуальность. И каждая скульптура — произведение искусства. И, как правило, имя человека, создавшего это произведение искусства, неизвестно.

Узнать, когда, где, кем, по какому случаю были созданы эти скульптуры, — задача трудная и очень трудоемкая. За историей вещей писатель видит человеческие судьбы, труд, талант людей.

Рассказать о безвестных тружениках — великих народных умельцах — такова благородная задача писателя.

В короткой вступительной статье невозможно дать подробный анализ творчества писателя. Остановимся на некоторых примерах. Вот повесть «Скобарь» из сборника «Повести и рассказы». В отряд балтийских моряков пришел новый человек Иван Журавлев — главный герой повести. «Он пришел в отряд во всем своем. На голове картуз. Под кургузым пиджачком голубая русская рубашка. Высоченные сапоги — осташи — поражают чудовищной толщиной подметок. Лицо у него было свежее, розовое, благодушное, хотя он и носил густую окладистую светло-рыжую бороду. На вид ему было лет сорок пять». Широкие плечи, широкая грудь, сильный, могучий человек, следопыт, охотник.

Вырос и жил Журавлев в Эстонии. Журавлев полон суеверий и предрассудков: он носит на шее крест, он боится спать в бане, так как уверен, что там живет черт.

Этот человек вел летоисчисление «до зямли» и «после зямли», а «зямлю» ему дала Советская власть в 1940 году. «И за ту зямлю, — просто, без всякой рисовки сказал он, — за каждую нивку, я, браток ты мой жаданный, против гадов по колено в ихнюю кровь встану». И Журавлев бьет фашистов без промаха.

Журавлев и злит, и смешит краснофлотцев, товарищей по отряду, и ставит командиров в затруднительное положение. Придет ли в голову кому-либо, кроме Журавлева, предложить своему командиру побороться «на охапоцки», и, если командир победит, тогда он, Журавлев, будет выполнять любое его приказание.

Все в нем необычно, начиная с внешности (оказалось, что ему не сорок пять лет, как можно было дать по внешнему виду, а всего двадцать седьмой; бородища сбивала с толку) и кончая его цокающим говорком.

Его простота обращения со всеми, в том числе и с командирами, его наивность, детская непосредственность, хитринка, простодушие, его удивительное хладнокровие и бесстрашие так органически крепко спаяны, что его уже не спутаешь ни с кем другим.

Характер самобытный, сильный, целеустремленный, и нельзя не согласиться с автором, который считает «Скобаря» одним из лучших своих произведений.

Большой раздел в этой книге озаглавлен «Рассказы о невозможном»; вот один из них: «Есть перейти!». Командир батальона и командир взвода разведчиков, младший сержант, детально рассматривают карту.

Вывод один: перейти фронт невозможно. Можно ли с Исаакия благополучно прыгнуть?

Но разведчики делают невозможное: они прошли там, где пройти невозможно.

В рассказе «Только вперед!» («Военные рассказы») из того же сборника «Повести и рассказы» старший политрук Ковалев водил бойцов в глубокий тыл противника четыре раза подряд, без отдыха, без сна. Он с трудом ходил. Он сильно хромал после первой же разведки, сказал, что «допустил потертость». Ковалев умер. Оказалось, что нога политрука была пробита пулей по меньшей мере три дня назад.

В коротком рассказе автор дает характер советского воина, коммуниста, патриота.

Есть у писателя любимый женский образ — это Марфушка Хрусталева — шестнадцатилетняя девчонка, ученица девятого класса, одна из главных героинь романа «Шестидесятая параллель».

Марфушка внешне некрасива, и она сама об этом знает. "Надо заметить, что собственная внешность подчас заставляла Марфу огорченно задумываться. Вздернутый нос, какой-то

нелепо, поперечными полосками, загорающий каждое лето; густые, спутанные невпрочёс, выющиеся волосы совсем дикарского вида; маленькие глазки с лукавой и любознательной искоркой и, главное, довольно толстые ноги — на что это все похоже!

Марфа совсем была бы не прочь, заснув однажды вечером, проснуться наутро этакой очаровательно-гибкой и неотразимой красавицей".

Марфа славилась полным бескорыстием, правдивостью, добротой и удивительно меткой стрельбой из винтовки. «Заведомая трусиха, она до смерти боялась самого звука выстрелов... Но была она, тем не менее, как автомат или цирковой снайпер, — точно, сухо, совсем не по-девически. Вот уже два года, как она (и школа благодаря ей) держала стрелковое первенство по району».

Писателю очень симпатична Марфа, он любит эту героиню, но порицает ее слабости, а их у нее достаточно. Но и высмеивая ее слабости и недостатки, автор говорит о них с легкой иронией, с мягким, добродушным юмором.

Творчество Льва Васильевича разнопланово, пробуждает добрые, светлые чувства в человеке, зовет на трудовой и ратный подвиг. Его лингвистические произведения вводят читателя в неизвестную и прекрасную страну языкознания, расширяют кругозор, обогащают знаниями, прививают любовь к языку, будят мысль.

Своим творчеством Лев Васильевич Успенский внес большой вклад в советскую детскую литературу.

Хочется посоветовать читателям: читайте книги Льва Васильевича. Не пожалеете: получите удовольствие от чтения и станете духовно богаче.

Р. ФИЛИППОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Блаженство рода человеческого коль много от слов зависит, всяк довольно усмотреть может. Собираться рассеянными народам в общежития, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие, дела производить как бы возможно было, если бы они способу не имели сообщить свои мысли друг другу?

М.В. Ломоносов. 1748 г.



С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком.

Ребенок еще не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и прибаутки — это

язык.

Подросток идет в школу. Юноша шагает в институт или в университет. Целое море слов, шумный океан речи подхватывает его там, за широкими дверями. Сквозь живые беседы учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится ему отраженная в слове необъятно-сложная Вселенная. Через **слово** он впервые узнает о том, чего еще не видели (а возможно, и никогда не увидят!) его глаза. В звучном слове разворачиваются перед ним льяносы Ориноко, сверкают айсберги Арктики, шумят водопады Африки и Америки. Раскрывается огромный мир звездных пространств; зримыми становятся микроскопические космосы молекул и атомов.

Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в головах людей за тысячелетия до его рождения. Сам он обретает возможность обращаться к правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины. И все это только благодаря языку.

Радостная или горькая, гневная или нежная летит над просторами Родины крылатая песня. Песня — это язык.

На черной доске аудитории резко белеет строгая формула математики.

Эта формула — тоже язык!

Я пишу книгу, которую вы, может быть, когда-нибудь прочтете. Надо ли говорить, что при этом я снова пользуюсь языком, словами?

Но ведь прежде чем сесть за рабочий стол и вывести первую строчку первой страницы, каждый автор долго **обдумывает** ее содержание. Помните, как широко шагал по московским тротуарам громадный Маяковский, то вслух, то про себя бормоча слова еще не созданных будущих стихов? Видели, как исчерканы, как испещрены поправками — в поисках самого верного слова бессмертные страницы черновиков Льва Толстого или Пушкина?

А с другой стороны, и вы сами, прочтя взволновавшую вас новую книгу, закроете ее и откинетесь в задумчивости; вы начнете мысленно повторять поразившие вас рассуждения, размышлять над тем, что только что узнали.

И вы, и я, и каждый из нас — все мы постоянно думаем.

А можно ли думать без слов?

Все, что люди совершают в мире действительно человеческого, совершается при помощи языка. Нельзя без него работать согласованно, совместно с другими. Без его посредства немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремёсла, искусство — жизнь.

Пламенные призывы нашей великой партии запечатлены навеки в горячих и мудрых **словах**. Словами всех языков мира изложены светлые идеалы коммунизма. Строить грядущее счастье, оборонять будущее Родины и всего человечества от ненавистных врагов, сокрушать тяжкие заблуждения прошлого, радоваться и грустить, делиться с другими своей любовью и своим гневом мы способны только при помощи слов. А слова составляют язык.

«Если бы каждый член человеческого рода не мог изъяснить своих понятий другому, — говорил когда-то великий помор Ломоносов, — то бы не токмо лишены мы были согласного общих дел течения, которое соединением разных мыслей управляется, но и едва бы не хуже ли были мы диких зверей, рассыпанных по лесам и по пустыням!»

Каждое орудие труда приносит наивысшую пользу в руках того, кто его как можно глубже изучил, кто им владеет как мастер. А мастерски владеть любым из них — стамеской или кистью художника, крошечным чертежным пером или гигантским блюмингом — это значит до тонкостей узнать, как они устроены, из каких частей состоят, как работают и в чем изменяются во время работы, какого обращения с собой требуют.

Из всех орудий язык — самое удивительное и сложное. Так достаточно ли знаем мы его? Я поставлю перед вами несколько совсем простых **языковедческих** вопросов, а вы уж судите сами: легко ли вам ответить на них?

СТОН И СОН

Перед вами два односложных слова. Друг от друга они отличаются одним-единственным звуком "т". Оба — имена существительные. Оба — мужского рода. И «стон» и «сон» одинаково принадлежат к так называемому второму склонению. Очевидно, изменяться при склонении им

полагается тоже одинаково. Но не тут-то было!

Именительный

стон

сон

Родительный

стона

сна

Дательный

стону

сну

Винительный

стон

сон

Творительный

стоном

сном

Предложный

о стоне

о сне

Можете ли вы так, врасплох, без справок и советов, объяснить мне, почему слово «стон» меняет только свои окончания, а у «сна» подвергается изменению и его основа: с-о-н, сн-а, сн-ом? Куда делось "о"?

Можно с уверенностью сказать: так поставленный вопрос вызовет иронические замечания. Автору книги о словах следовало бы помнить про «беглые гласные»...

Автор помнит о них, Но он хотел бы, чтобы ему растолковали, отчего это в слове «стон» звук "о" отличается обыкновенным, так сказать «оседлым», образом жизни, а в слове «сон» на его место явился какой-то странный «беглец»? В чем разница между этими двумя на слух совершенно неотличимыми друг от друга звуками? Что перед нами: необъяснимая причуда говорящих по-русски людей, случайный «каприз языка» или же тут скрываются какие-то глубокие внутренние основания?

Я не уверен, что каждый читатель сможет быстро и правильно ответить на этот совсем уж простой вопрос. А если так — очевидно, законы нашего родного языка не слишком-то хорошо нам известны,

БИЛО И КРЫЛО

Пойдем дальше. Я беру еще одну пару слов, тоже существительных и также одного рода, на этот раз среднего: «би́ло» и «крыло́».

«Би́ло» означает (точнее, означало некогда) нечто вроде примитивного колокола, металлическую доску для подачи сигналов.

Что такое «крыло» — известно каждому. Оба слова не слишком похожи друг на друга, однако у них есть нечто общее — суффикс «-л-» и окончание «-о».

Слов, обладающих этими признаками, у нас немало:

покрыва-л-о

ши-л-о

опаха-л-о

ры-л-о

и т. п.

Заметьте: все это — существительные, тесно связанные с глаголами. «Покрывало» и «покрывать», «рыло» и «рыть», «шило» и «шить». При этом каждый глагол означает то или иное действие, а произведенное от его основы существительное — то, чем действуют, орудие или предмет... Не правда ли?

покрыва-ть
покрыва-л-о

ры-ть
ры-л-о

ши-ть
ши-л-о

опах-ива-ть
опах-а-л-о

Это все настолько обыкновенно, что нередко, когда нужно заново назвать незнакомое орудие, предназначенное для известного действия, возникает соблазн дать ему имя как раз по такому способу.

Археологи, например, постоянно находят при раскопках стоянок каменного века маленькие костяные пластинки особой формы: ими наши далекие предки заглаживали, «лощили» швы на грубых одеждах из звериных шкур.

Как они сами именовали свои несложные инструментики, нам, конечно, неизвестно. Но современные ученые без труда придумали им новое имя: «лощило».

Что делать?
Чем делать?

Лощ-и-ть
Лощ-и-л-ом

Совершенно так же, столкнувшись с безыменными каменными тешущими орудиями без рукояток, они столь же удобно наименовали их по тому же принципу:

Что делать?
Чем делать?

Руб-и-ть
Руб-и-л-ом

Оба слова так крепко привились в речи археологов, что от них уже произошли встречающиеся в книгах узаконенные уменьшительные: «рубильце», «лощильце»...

По-видимому, совершенно ясно: суффикс «-л-» применяется нами там, где надо по какому-нибудь действию назвать орудие, которым оно выполняется.

Так вот теперь я и приведу вам еще один недлинный списочек слов, также оканчивающихся на «-ло» и очень похожих на предыдущие:

одеяло
мыло

грузило
крыло

точило

зеркало

Как по-вашему? Они тоже означают орудия действий и произведены от глаголов? Если да, то скажите скорее: каких же именно-действий и от каких глаголов? Простой это вопрос или не очень?

ЗА ЧТО БЬЮТ РЫНДУ?

Приведу и такой пример.

Тот, кто читал морские рассказы из времен парусного флота, помнит — на кораблях постоянно делают два дела: «бьют склянки» и «бьют рынду». Для чего и за что?

«Склянки били», чтобы обозначить время. Моряки — странный народ: говорят по-русски, а вот слово «склянка», например, в их языке означает «полчаса». «Пробей четыре склянки» — значит, четырьмя ударами в колокол обозначь, что с полдня прошло четыре получа́са; теперь два часа пополудни.

Историки флота объясняют нам, откуда взялся этот счет и связанное с ним выражение. «Склянкой» раньше именовали песочные часы с получасовым ходом. По ним на судах отсчитывали время. Видимо, в силу этого постепенно и получасовой промежуток получил имя «склянка»: «прошло две склянки ночи». Так что большой премудрости тут нет.

С «рындой» дело обстоит сложнее.

Поищите по словарям, и вы узнаете: «рындами» в Москве до Петра I именовали царских телохранителей, молодых воинов, стоявших у трона с секирами или алебардами. Звание это упразднено с конца XVII века. Спрашивается: откуда же на нашем флоте еще во времена Станюковича добывали «рынд» и по каким причинам их то и дело «били»?

Конечно, это напрасный вопрос. Морское выражение «рынду бей» не имеет ничего общего не только с царскими телохранителями, но и с глаголом «бить». Это переделанная на русский лад английская флотская команда: «ring the bell» (ринг зэ бэлл), означающая: «ударь в колокол». Чужестранная фраза не только была изменена нашими моряками по ее звучанию, — составляющие ее слова поменялись своими значениями. В самом деле, по-английски «ринг» значит «бей», а у нас оно стало значить «рында», то есть «колокол на корабле». «Бэлл» по-английски означает «колокол», а на нашем флоте его начали понимать как приказание. «бей!». Все перевернулось.

Я мог бы и тут сказать вам: видите, как плохо вы знаете русский язык. Но я скажу другое: теперь вам понятно, какими разнообразными сведениями надо обладать, чтобы решать некоторые, даже несложные, языковедные задачи. Речь идет о языке и его словах, а знать надо, как и чем измерялось время на кораблях парусной эпохи, как звучали слова команд не в русском, а в чужих языках, с представителями каких соседних флотов и когда именно общались наши русские «корабельщики». Надо черпать сведения и в географии, и в мореходном деле, и в истории, — в истории того народа, которому принадлежит изучаемый язык, прежде всего. Это я советую вам запомнить, если вы хотите заниматься языкознанием.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Мне хочется в последний раз подвергнуть легкому испытанию вашу языковедческую сообразительность.

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на одно довольно странное обстоятельство? Спрягая какой-либо глагол, мы, собственно, не очень нуждаемся в присутствии личных местоимений. Говоря: «читаю», мы уже самой формой этого слова даем понять, что речь идет о первом лице, обо «мне». Слово «читаешь» ясно указывает на второе лицо, «читает» — на третье. Местоимения «я», «ты», «он» тут вроде как излишни. В разговорной речи мы постоянно и обходимся без них:

«Здорово живЕШЬ! Как себя чувствуЕШЬ?»

«Да прыгаЮ помаленьку...»

Все это справедливо, но только пока разговор ведется в настоящем времени. В

прошедшем ничто подобное невозможно.

Услыхав слова: «Вчера были в кино», вы никак не сможете установить, кто именно был в кино, пока в предложении не появится личное местоимение (или само существительное). В прошедшем времени местоимения становятся острой необходимостью...

Заметить, что такая разница налицо, легко. Но вот растолковать, от чего она зависит, куда труднее. А разница-то далеко не пустячная, принципиальная: в двух соседних временах совершенно разными способами выражается понятие о том, кто действует, о «субъекте действия». Почему так получилось?

Чтобы добраться до ответа, взгляните в два столбика примеров:

Снег **был**

Снег **бел**

Лед **стал**

Лед **тал**

Рассказ **пошёл**

Рассказ **пошл**

Ничто не поражает в них ваш глаз? А между тем тут есть особенность, на которую, правда, мало кто обращает внимание.

Оставим в стороне существительные обоих столбцов, тем более, что они здесь попарно совпадают. Что представляют собою остальные члены этих неуклюжих предложений?

В левом столбце все они — несомненные глаголы в прошедшем времени: **был**, **стал**, **пошёл**. В правом — столь же бесспорные прилагательные в их краткой форме: **бел**, **тал** (от «талый»), **пошл** (от «пошлый»). Глагол и прилагательное — две совершенно самостоятельные, друг друга ничем не напоминающие части речи. Да, но почему же тогда они так похожи здесь и по своей роли в предложениях (все они являются сказуемыми) и даже по внешнему облику: **был** и **бел**, **стал** и **тал**, **пошёл**? и **пошл**? Что перед нами: снова случайное совпадение или нечто большее?

Сомневаюсь, чтобы среди моих читателей нашлось много грамотеев, способных разобраться в этом вопросе без посторонней помощи. Между тем он заслуживает точного ответа. В самом деле: предложение «Снег бел» равносильно другому: «Снег (есть) бел(ый)». «Рассказ пошл» можно заменить на «Рассказ (есть) пошл(ый)».

Но, может быть, тогда и выражение «Снег был» тоже допустимо заменить выражением «Снег (есть) белый» (то есть «былой», «бывший»), а слова «Рассказ пошёл» переделать на «Рассказ (есть) пошёлый» (пошедший)?

«Экая нелепость! — скажете вы. — Что же получается? Выходит, то, что мы всегда убежденно и по праву считали формами глаголов, оказывается на поверку формами прилагательных? Так тогда русский язык, чего доброго, вообще не имеет форм спряжения в прошедшем времени?! Уж не заменяет ли их он странными комбинациями из двух имен, которые ничего общего не имеют с глаголами? Что за дикая фантазия! Да и „прилагательные“ — то какие-то ненормальные, искусственные: „бы́лый“, „поше́лый“... Дичь!»

Нет, друзья мои, не «дичь». Во всяком случае, не совсем дичь! Чтобы разобраться в неожиданной путанице, отвлечемся на миг от истории русского языка и обратимся к истории славянских языков вообще. Все они когда-то знали не одно прошедшее время, как мы сейчас, а целую систему таких времен: несовершенное простое, два совершенных (простое и сложное), давно прошедшее. Тот, кто изучает английский, немецкий или французский язык, не удивится этому.

Совершенное сложное, перфект, было ближе всего к нашему прошедшему по значению, но резко отличалось от него по форме:

Аз есмь пел

Мы есмы пели

Ты еси пел

Вы есте пели

и т. д.

Ну что же, понятно: оно образовалось при помощи глагола «быть», точь-в-точь как образуются сложные времена западных языков. К настоящему времени глагола «быть» присоединялись причастия спрягаемого глагола, то есть, иначе говоря, **отглагольные прилагательные** (прошедшего времени). Сочетание «я есмь пел» действительно значило: "я являюсь **пелым**", то есть «певшим». Значит, я пел раньше, в прошлом. Слова «пел», «ходил», «сидел» были краткими формами этих причастий.

В дальнейшем в русском языке всё изменилось: во-первых, исчез из употребления вспомогательный глагол: во-вторых, причастие, подобное «ел», «пел», «сел», утратило свое бывшее значение, стало пониматься уже не как причастие, а как простая и самостоятельная глагольная форма.

Таким образом, сочетания слов «снег был» и «снег бел» и впрямь похожи одно на другое не случайно, не только по внешности. Между ними, пожалуй, больше сходства, нежели между «снег был» и «снег есть». Поэтому, встретив где-либо предложение вроде: "Рассерженная, она **вышла** из комнаты", вы вполне вправе расшифровать его так: "Рассерженная, она из комнаты **вышла есть**".

Не знаю только, принесет ли вам такая расшифровка практическую пользу.

Занятно, кстати: в древнерусском языке можно порою заметить гораздо большее сходство между некоторыми из прилагательных и глагольных причастий, какие мы только что рассматривали, чему нас сейчас. Наше слово «пошл» явно отличается от глагольной формы «пошел». А там когда-то оба они писались, да, вероятно, и произносились, одинаково: «пошьл».

«Вот уж никогда этого не подозревал!» — восклицаете вы. А ведь это — лишнее доказательство некоторой недостаточности наших знаний о родном языке, о его больших и маленьких загадках.

В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ

До сих пор я приводил примеры, почерпнутые из русского языка. Вы знаете, что языков на свете много. Но сколько именно их на земном шаре? Сто, тысяча, десять тысяч? Нет, их всего две с половиной, три тысячи. Почему их столько? Что они — похожи один на другой или все совершенно разные? Откуда они взялись?

Знаете ли вы, что существуют такие языки, в которых наряду с именами склоняются и глаголы? Известно ли вам, что в то время как в нашем языке имеются три «рода» имен: мужской, женский и средний, можно указать на языки, где их только два; на другие, где их, наоборот, четыре и даже несравненно больше, но они совершенно иные, чем у нас, и, наконец, на языки, где никаких «родов» вовсе нет?

Слово «никакого рода»? Да как же это может быть?

Поговорите с вашими товарищами, изучающими английский язык: многие из них даже не заметили, что пользуются в нем «безро́довой»¹ грамматикой. Или прислушайтесь к нашему собственному языку: задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, какого рода существительное «ножницы» или «штаны»? Вероятно, нет. А между тем мне, учившемуся в школе полвека назад, приходилось ломать голову над этим вопросом. В те времена в зависимости от рода существительного менялось окончание согласующегося с ним прилагательного во множественном числе. Надо было писать: «красныЕ флаги», но «красныЯ девицы» или «красныЯ знамена»; ошибка считалась грубой. Значит, прежде чем написать «сени новые, кленовые», нужно было установить, какого рода слово «сени». А ну-ка, попробуйте

¹ Английская грамматика, как вы увидите ниже, не совсем свободна от понятия «рода» имен. Она имеет местоимения всех трех родов. Но существительные английского языка, так же как и его прилагательные, не содержат в своей форме никаких признаков принадлежности к одному из этих родов.

установите!

Вы об этом не печалитесь, и хорошо. Но ведь это значит, что вы спокойно пользуетесь существительными «никакого рода». Так что же вас удивило, когда я сказал о существовании языков, где родов вовсе нет?

Сейчас языков около трех тысяч. А раньше их было меньше или больше? Их число уменьшается или растет? И сами они остаются неизменными или как-нибудь меняются? Всё это вопросы, на которые должно давать ответы языкознание.

Вы читаете в книге:

"Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: "Спи, друг одинокий!..
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!"
Из мертвой главы гробовая змея
Шипя между тем выползала;
Как черная лента, вокруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь".

Так А. С. Пушкин излагает нам легенду о смерти Олега киевского, излагает великолепным русским языком.

А вот другой рассказ о том же легендарном происшествии:

"И приеха Олег на место, идеже бяху лежаще кости его (коня — Л. У.) и лоб гол... и воступи ногою на лоб; выникнуци змея и уклону и в ногу и с того разболевся умьре".

На каком языке это написано? По-польски, по-чешски? Нет! Перед нами тоже прекрасный и правильный русский язык, но такой, каким пользовались наши предки за семь-восемь веков до Пушкина. Сравните оба повествования, и вам станет ясно, какая изменчивая, непрерывно принимающая новые облики вещь — язык. Язык как река. Волга в наши дни течет не так, как она текла во времена хозар и половцев. Тем не менее это та же Волга. Так и с языком.

Этого мало. Вчитайтесь в два следующих отрывка:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек,

И рядом:

«Кривая в пространстве определяется заданием радиусов-векторов точек кривой в функции скалярного параметра... Хотя вектор в свою очередь определяется тремя числовыми (скалярными) заданиями, все же замена трех скалярных уравнений одним векторным обычно имеет значительное преимущество».

Можете ли вы положительно утверждать, что оба отрывка написаны на одном и том же языке? И да и нет! И тут и там перед нами современный правильный русский язык, но в каких двух непохожих друг на друга видах! Можно справедливо усомниться, во всем ли поймут один другого два русских человека, говорящие на этих «разновидных» языках. И все же они-то в конце концов добьются взаимного понимания, тогда как ни француз, ни турок, ни англичанин не уразумеют ни там, ни здесь ни одной фразы.

Язык как море. У одного берега во́ды моря прозрачны и солонны, у другого — опреснены впадающей в него рекой и полны ее мути. И все это в одно и то же время, только в разных точках пространства. Одно и то же море и возле Одессы и под Батуми, только облик его там и здесь совсем разный. То же самое можно сказать и о языке,

Языкознание изучает все виды, все изменения языка. Его интересует все, что связано с удивительной способностью говорить, при помощи звуков передавать другому свои мысли; эта способность во всем мире свойственна только человеку.

Языковеды хотят дознаться, как люди овладели такой способностью, как создали они свои

языки, как эти языки живут, изменяются, умирают, каким законам подчинена их жизнь.

Наряду с живыми языками их занимают и языки «мертвые», те, на которых сегодня уже не говорит никто. Мы знаем немало таких. Одни исчезли на памяти людей; о них сохранилась богатая литература, до нас дошли их грамматики и словари, — значит, не позабылся и смысл отдельных слов. Нет только никого, кто бы считал сейчас их своими родными языками. Такова «латынь», язык Древнего Рима; таков древнегреческий язык, таков и древнеиндийский «санскрит». Таков среди близких к нам языков «церковнославянский» или древнеболгарский. Изучение их не так уж сложно.

Но ведь есть и другие — скажем, египетский времен фараонов, вавилонский или хеттский. Еще два века назад никто, ни единый человек в мире, не знал ни единого слова на этих языках. Люди с недоумением и чуть ли не с трепетом взирали на таинственные, никому не понятные надписи на скалах, на стенах древних развалин, на глиняных плитках и полуистлевших папирусах, сделанные тысячи лет назад неведомо кем и неизвестно по каким причинам. Никто не знал, что значат эти странные буквы, звуки какого языка они выражают. Но терпение и остроумие человека не имеют границ. Ученые-языковеды разгадали тайны многих письмен, В наши дни каждый, кто пожелает, может так же спокойно выучиться говорить по-древнеегипетски, по-шуммерски, по-ассирийски или по-хеттски, как и на одном из ныне звучащих «обыкновенных живых» языков.

Благодаря трудам ученых мы знаем о древних Ассирии и Вавилоне, пожалуй, больше и подробнее, чем о многих ныне существующих государствах и народах. Мы можем по именам перечислить тысячи несчастных малолетних рабов, погибших в страшных каменоломнях царя Ашшурбанипала. Мы можем повторить звук за звуком слова их песен, то жалобных, то полных гнева, а ведь они отзвучали в последний раз два или три тысячелетия назад!

И все это дало нам языкознание.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ НАУКА

Я не знаю, в чьи руки попадет эта книга, чьи пытливые глаза побегут по ее строкам. Но кто бы ни был ты, мой читатель, я хочу, чтобы ты полюбил великолепную науку — языкознание.

Когда юноши и девушки нашей страны кончают среднюю школу, они обыкновенно попадают в положение этаких «витязей на распутье».

Стоит камень, а на камне надпись:

«Кто пойдет налево, попадет в страну географов. Всю жизнь будет он прокладывать пути по неведомым землям. Будет изучать далекие народы. Будет испытывать дивные приключения. Будет с великим трудом пробиваться в местах, куда еще не ступала нога человеческая...» Дрожь охватывает, до чего это прекрасно! Не пойти ли налево?

Но другая надпись сулит: «Пойдешь направо, станешь физиком. Ты проникнешь в тайны атомного ядра и в недра гигантских звезд. Ты будешь решать величайшие загадки Вселенной, помогать и астрономам, и геофизикам, и строителям кораблей, и летчикам. Что может быть пленительнее такой жизни? Иди направо, юный друг!»

А рядом еще приманки. Вот крутая тропа геологии с ее хребтами и скалами, ущельями и безднами. Вот таинственная дорога археологов, извивающаяся в древнем тумане, среди руин и пещер, от стоянок каменного века до развалин южных акрополей. А там, дальше, сады и леса ботаники, заповедники зоологов, тихие лаборатории и грохочущие заводские цехи, колхозные поля. Все это живет, клокочет, кипит, движется. Все привлекает молодые сердца.

И вдруг еще одна незаметная надпись: «По этому пути пойдешь, станешь языковедом...»

«Языковедом? А что он делает? Запереться на всю жизнь в четырех стенах мрачного кабинета, обречь себя на копанье в пыльных хартиях, годами доискиваться, следует ли писать мягкий знак на конце слова „мяч“? Кому это нужно? Нет уж, знаете, спасибо!»

Так думают многие. Думают потому, что не представляют себе, какова работа языковеда, чем, как и для чего занят он.

В накаленной Туркмении, роясь в земле древних парфянских городищ, советские археологи извлекли из праха множество глиняных черепков. На их поверхности были

обнаружены намазанные краской черты таинственных знаков. О чем говорят эти письмена? Кто их нанес на глину, когда и зачем?

Черепки — остраконы² — были бы обречены на вечное молчание, если бы у нас не было языковедов, занятых изучением восточных древних языков. Они прочитали таинственные надписи. Битые сосуды седой старины заговорили. Они рассказали о многом: о сложном хозяйстве царей Востока, о тучных виноградниках «парфян кичливых», которых Пушкин советовал узнавать «по высоким клобукам», о царских приказчиках, о трудолюбивых земледельцах и о тех отношениях, которые были между ними. Черепки говорили по-арамейски: они оказались бухгалтерскими квитанциями, деловыми расписками; их когда-то выдавали чернобородые важные «марубары», счетоводы царских винниц, в обмен на сданную подать: «По расписке этой, из виноградника податного, который КШШИ называется, сосудов 6, да из местности ХПТК сосуд вина молодого 1, взнос на 140-й год доставлены». И подпись: «Вахуман — марубар». Имя Вахуман означало «благомысленный»...

Две тысячи лет назад «кичливый парфянин» написал свою глиняную, квитанцию... Сияло солнце, кричал осел, пряно пахло новоизготовленным вином из «местности ХПТК», прочесть имя которой мы не можем потому, что в арамейской письменности не обозначались гласные звуки... А читаем мы с вами эти слова сегодня! Эти и множество других; их сумели разобрать и перевести на русский язык советские ученые-языковеды. Они прорубили еще одно окошечко в древний мир, который некогда шумел и пестрел всеми красками жизни тут же у нас, на нынешней территории Советского Союза.

Парфяне жили, так сказать, «рядом с нами». Но вот за тысячи миль от границ СССР, среди буйных волн самого бурного из океанов, точно в насмешку названного Тихим, выдается из воды небольшая скала, таинственный остров Пасхи. Остров этот загадочен от начала до конца. Кто жил на нем и когда? Кем на голом каменном утесе, заброшенном в безлюдные хляби моря, вырублены во множестве из каменной породы, воздвигнуты по побережью и высоко в горах гигантские статуи неведомых великанов? Кто разбросал по острову дощечки из мягкого дерева, на которых начертаны ряды непонятных значков неведомой письменности? Откуда пришли сюда эти безвестные скульпторы и писцы, какая катастрофа их уничтожила, куда они исчезли?

Может быть, мы узнали бы хоть что-нибудь об этом, если бы сумели разгадать тайну деревянных табличек, бережно хранимых теперь во многих музеях мира. Но донныне они настолько не поддавались усилиям ученых, что нельзя было даже начать их расшифровку.

Казалось бы, дело безнадежно. Но вот перед самой Великой Отечественной войной за него смело взялся совсем юный исследователь, почти мальчик, Борис Кудрявцев, только что окончивший среднюю школу. Он недолго занимался знаменитыми таблицами, но успел сделать ряд важных открытий, несколько существенных шагов по дебрям, до него казавшимся непроходимыми. Мы точно знаем теперь, что система письма с острова Пасхи близка к той, которой пользовались египтяне на заре своей культуры. Мы знаем, что перед нами примитивные иероглифы. Это немного, но все же неизмеримо больше того, что было известно еще недавно. Война прервала жизненный путь Бориса Кудрявцева, однако его дело будет продолжено другими молодыми языковедами. Вы не хотите оказаться в их числе?

Разве не прекрасны эти задачи? Разве не увлекательное дело — висеть на шаткой площадке-люльке над пропастью, копируя персидскую клинопись, высеченную на отвесной скале дикого хребта, как это сделал англичанин Раулинсон в XIX веке? Разве не волнующее занятие — подобно нашим советским ученым, миллиметр за миллиметром размачивать и разлеплять склеенные веками свитки, написанные на тохарском языке? Путешествовать сквозь тигриные джунгли, чтобы найти там письмена неведомо когда погибших городов Индии; врубаться с археологами в вечную мерзлоту Алтая, разыскивая древности Скифии; собирать, как знаменитый чешский лингвист Беджих Грозный, письмена хеттов Малой Азии, минойцев Крита, протоиндийцев Мохенджо-Даро и потом иметь право сказать: «Да, я открыл людям три... нет, пять неведомых древних миров!»?

Вот оно, дело языковеда, дело лингвиста! Но ведь оно не только в работе над оживлением

² От греческого слова «остракон» — черепица, черепок.

прошлого. А сегодня? Сегодня в нашей стране десятки народов впервые овладевают письменностью. В этих случаях дело языковеда не расшифровывать забытые письмена, а помочь составлению новых, совершенных алфавитов.

Во множестве мест земного шара поработители, наоборот, отняли у поработенных народов всё, что те имели, вплоть до их языка. Дело лингвистов помочь народам в их освободительной борьбе, восстановить и очистить их поруганную родную речь; так поступали столетие назад великие языковеды славянского мира, борясь за чешский, за сербский, за болгарский языки, очищая их от немецкой, турецкой, чуждой, навязанной силой наживы. А неоценимая помощь историкам, которую оказывает языковед? А решение многочисленных, и притом самых важных и самых сложных, вопросов науки о литературе? А изучение устного художественного творчества любого народа земли? А самое главное, самое важное — изучение истории своего родного языка, великого языка великого русского народа, и преподавание его в школах миллионам русских и нерусских по национальности людей?

Нет, поистине языкознание — великолепная наука!

ЭТА КНИГА

Книга, которую вы раскрыли, написана не для того, чтобы стать учебником языкознания. Пусть эту задачу с честью и успехом выполняют толстые томы ученых исследований, университетские курсы лекций, глубокие и серьезные научные статьи.

Назначение этой книги иное. Я хотел бы, чтобы ей удалось слегка приподнять ту завесу, которая скрывает от посторонних глаз накопленные веками сокровища языковедческих наук; хорошо, если хоть на миг они засверкают перед нами.

Я не пытался в «Слове о словах» последовательно, один за другим, излагать важнейшие вопросы филологии. Не рассчитывал и полностью осветить ни один из ее разделов. Передо мной стояла иная цель: рассказать не все, а кое-что из того, что люди знают о языке, может быть, даже не самое существенное, не самое важное; но зато наиболее доступное пониманию и вместе с тем способное возбудить интерес.

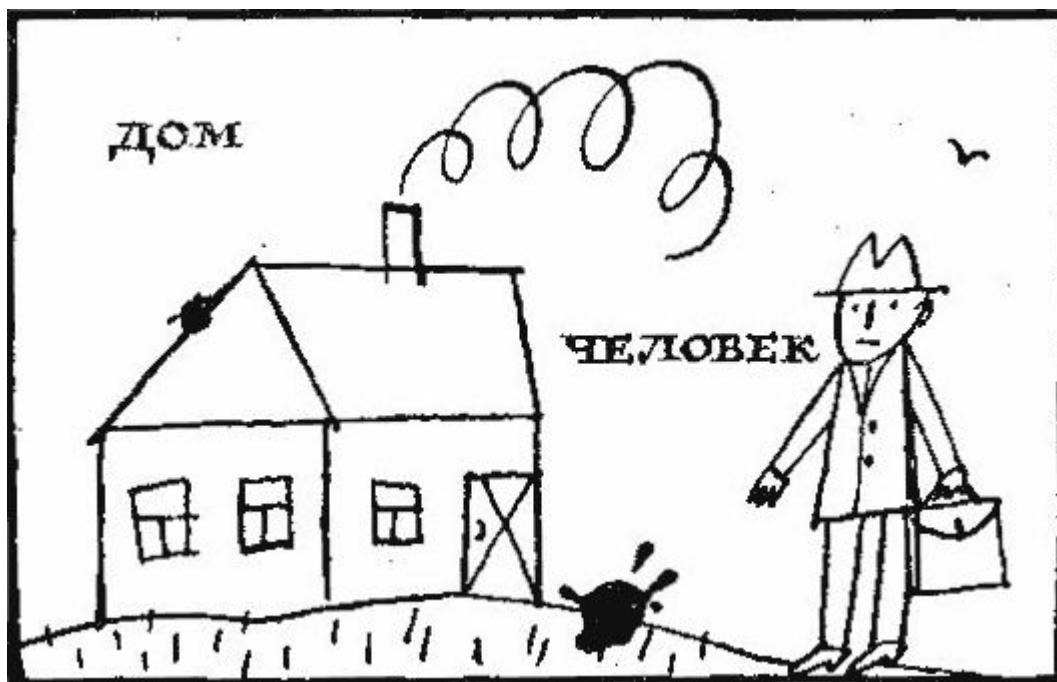
Мне хотелось не научить языкознанию, а лишь покрепче заинтересовать им тех, кто знает о нем совсем мало. Если из десяти читателей, думал я, только один, закрыв эту книжку, потянется за другой, более основательной и глубокой, моя цель будет достигнута. Она будет достигнута и тогда, когда, закончив чтение, человек задумается и попробует по-новому отнестись и к языку, на котором он сам говорит, и к тому, что он когда-то прочел об этом языке в своих школьных учебниках.

«Введение» мое закончено. Пусть теперь книга говорит о себе сама. Двадцать лет назад я писал ее для школьников. Ее прочитали тысячи взрослых людей, молодых и пожилых, в городе и в деревне. К своему большому удивлению, я получил от них десятки тысяч писем. Они показали мне, что интерес к тайнам и чудесам языка необыкновенно велик.

Пришлось подумать о том, чтобы выпустить «Слово» не только для школьников: нужно оно и тому, кто уже поднялся со школьной скамьи.

С тех пор уже несколько раз выходили новые издания этой книги. Я старался расширять и пополнять каждое из них. Если это в какой-то мере удалось, то только благодаря вниманию и помощи тех моих друзей-языковедов, имена которых я всякий раз называю с большой благодарностью: С. Г. Бархударова, Р. А. Будагова, Б. А. Ларина, А. А. Реформатского и многих других. Вслед за ними мне следовало бы упомянуть десятки и десятки других фамилий: множество читателей, одни письменно, другие устно, делились со мной своими впечатлениями от моего «Слова», замечаниями и советами на будущее. Но именно потому, что таких доброжелателей у моей книги слишком много, я прошу их всех принять самую искреннюю мою признательность: где только можно, я старался исполнить их пожелания и последовать советам; всегда это было на пользу книге.

Глава 1. СЛОВО И МЫСЛЬ



«ВЕЧЕРНИЙ ГОСТЬ»

Это случилось лет шестьдесят назад. В номере какого-то журнала мне попался рассказ Куприна. Назывался он «Вечерний гость».

Насколько я помню, рассказ не произвел на меня большого впечатления; теперь я даже не скажу вам точно, о чем там говорилось. Но одна маленькая сценка из него навсегда врезалась мне в память, хотя в те дни мне было еще очень немного лет — десять или двенадцать, не более. Что меня в ней поразило?

В комнате сидит человек, а со двора к нему кто-то идет, какой-то «вечерний гость».

".. Вот скрипнула калитка... Вот прозвучали шаги под окнами... Я слышу, как он открывает дверь, — пишет Куприн. — *Сейчас он войдет, и между нами произойдет самая обыкновенная и самая непонятная вещь в мире: мы начнем разговаривать.* Гость, издавая звуки разной высоты и силы, будет выражать свои мысли, а я буду слушать *эти звуковые колебания воздуха и разгадывать, что они значат... и его мысли станут моими мыслями.* .. О, как таинственны, как странны, как непонятны для нас самые простые жизненные явления!"³

Прочитав тогда эти строки, я остановился в смущении. Сначала мне показалось, что автор смеется надо мной: что же нашел он удивительного в таком действительно обыкновенном явлении — в разговоре двух людей? Разговаривают все. Я сам, как и окружающие, каждый день разговаривал с другими людьми и дома, и в школе, и на улице, и в вагонах трамвая — везде. Разговаривали — по-русски, по-немецки, по-французски, по-фински или по-татарски — тысячи людей вокруг меня. И ни разу это не показалось мне ни странным, ни удивительным.

А теперь? А теперь я глубоко задумался. Действительно: как же это так?

Вот я сижу и думаю. Сколько бы я ни думал, никто, ни один человек на свете, не может узнать моих мыслей: они мои!

Но я открыл рот. Я начал «издавать», как написано в рассказе, «звуки разной высоты и силы». И вдруг все, кто меня окружает, как бы получили возможность проникнуть «внутрь меня». Теперь они уже знают мои мысли: ясно, они узнали их при помощи слов, через посредство языка. Да, но как это случилось?

Поразмыслите немного над этим вопросом, и вы убедитесь, что ответить на него совсем

³ Здесь и всюду дальше в цитатах курсив мой. — Л. У.

не легко.

Каждое слово состоит из звуков. В отдельности ни один из них ровно ничего не значит: "ы" — это "ы", звук — и ничего более; "р" обозначает "р"; "м" — звук "м".

Но почему же тогда, если два из этих звуков я произнесу подряд, вот так: «мы», — вы поймете, что я говорю «про нас»? А вздумай я произнести их наоборот: «ым», или поставить рядом другие звуки «ры», «ыр» — вы ничего бы не поняли.

Вспомните детскую игру — кубики. Пока кубики разрознены, на них видны лишь какие-то пятна. Но сто́ит их приложить друг к другу в определенном порядке, и перед вами выступит целая картина: красивый пейзаж, зверек, букет цветов или еще что-либо.

Может быть, в отдельных звуках тоже скрыты какие-то частицы, обрывки значения, которые просто незаметны, пока они разрознены? Если так, то необходимо эти таинственные частицы найти, и загадка наша решится очень просто.

Будь такое предположение правильным, достаточно было бы известным звукам придать определенный порядок, и получилось бы слово, понятное всем людям без исключения. Ведь кто бы ни смотрел на картину, сложенную из кубиков, он увидит на ней то же, что и любой из его соседей. Не менее и не более. Применимо ли это к звукам?

Однажды Тиль Уленшпигель, герой фламандского народа, — рассказывает в своей знаменитой книге бельгийский писатель де Костер, — "пришел в ярость и бросился бежать, точно олень, по переулку с криком: «Т'брандт! Т'брандт!»

Сбежалась толпа и... тоже закричала: «Т'брандт! Т'брандт!» Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил бил в набат. Вся детвора, мальчишки и девчонки, сбегались толпами со свистом и криком. Гудели колокола, гудела труба..."

По-видимому, для Костера несомненно: возглас «Т'брандт!» обязательно должен вызвать у людей самые бурные чувства.

Но представьте себе, что́ случилось бы, если бы по улицам того города или деревни, где живете вы, побежал человек, крича: «Т'брандт! Т'брандт!» Пожалуй, ничего особенного!

Конечно, за чудачком пустилось бы несколько любопытных мальчишек. Может быть, милиционер поинтересовался бы: не сошел ли гражданин с ума? Но, ясно, никого не охватил бы ужас, никому не пришло бы в голову бить в набат, трубить в рог и поднимать тревогу.

В чем же тут дело? Почему те звуки, которые довели сограждан Уленшпигеля до паники, ваших соседей оставляют совершенно равнодушными?

Дело просто. Подумайте, что́ произошло бы, если бы бегущий по вашей улице человек вдруг закричал не «т'брандт, т'брандт!», а «пожар»? Тогда уж в вашем городе возникло бы волнение. А вздумай веселый Тиль закричать «пожар!» у себя на родине, никакого переполоха ему устроить не удалось бы. Слово «т'брандт» означает «пожар» по-фламандски; русское слово «пожар» равно фламандскому «т'брандт». Только и всего!

Я сказал: «только и всего». Но, по правде говоря, здесь как раз и начинается великая странность.

Пять звуков: "б", "р", "а", "н", «дт», если они поставлены в определенном порядке, заставляют спокойного фламандца побледнеть от испуга. Они кажутся ему зловещими, тревожными. Состоящее из них **слово** вызывает в нем стремление спешить на помощь, тушить пламя, спасти погибающих. Может быть, действительно что-то есть в них связанное с бушующим огнем?

Но почему же тогда для нас они остаются простым сочетанием из пяти ничем не примечательных звуков, которое не означает ровно ничего? Почему пять других обыкновеннейших звуков — "п", "о", "ж", "а", "р" — способны вызвать волнение в каждом русском человеке.

Это крайне странно, если вдуматься. От звуков, входящих в слово «пожар», не веет гарью, не пахнет дымом... Сто́ит чуть-чуть изменить их порядок, сказать: «жорап» или «парож» — и их замечательное свойство что-то «говорить» исчезнет без следа. Это во-первых.

С другой стороны, если в слове «пожар» все-таки есть что-то, что может напомнить человеку о пламени, огне, страхе, несчастье, то почему это доступно только русскому слуху? Почему остаются совершенно равнодушными к нему люди других наций? Почему фламандец видит то же самое в своем отнюдь не похожем на «пожар» слове «брандт».

Да дело не только в этом «брандт».

Ведь, увидев горящий дом, турок скажет «янги́н», англичанин — «фа́йэ», француз — «энсанди́», финн — «ту́липалё», японец — «ка́дзи», китаец — «шихо», кореец — «хваде», а сенегалец «лаккаги». Между этими звукосочетаниями нет ровно ничего общего. Совершенно непонятно, как пять или десять ничуть друг на друга не похожих вещей могут все напомнить собою одиннадцатую вещь, да притом не похожую ни на которую из них порознь.

Ведь это столь же невероятно, как если бы три человека, увидев, скажем, паука и желая передать свое впечатление от него, нарисовали бы на бумаге: один — корову, второй — паровоз, а третий — дерево...

Я протягиваю вам без единого слова бутылку. Видите, на ее этикетке нарисован такой страшный знак.



Вы без слов поймете, что не следует пить жидкость, находящуюся в этом сосуде. Это и неудивительно: череп и кости любому человеку напоят об опасности и смерти.

Если вы идете по улице городка где-нибудь в чужой стране и видите магазин, над непонятной вывеской которого красуется огромная перчатка, а рядом — другой, перед которым укреплен золоченый крендель, вы легко разберетесь, где здесь булочная и где галантерейная лавка.

Нет надобности разъяснять, ка́к именно вы дойдете до верного решения: между «кренделем» и «булочной», между «перчаткой» и «галантереей» есть прямая, существенная связь.

Но почему звуки, из которых состоит слово «яд», могут также напомнить вам о смертельной опасности, остается, если вдуматься, совершенно непонятным. Между ними и смертельной силой, скрытой в ядовитом веществе, равно ничего общего нет.

Видимо, эта самая странность и поразила того, кто написал «Вечернего гостя», потому что все сказанное выше действительно представляется довольно загадочным. Таинственным, если хотите.

Но ведь ученые умеют раскрывать самые сложные тайны и загадки окружающего нас мира. Наука о человеческом языке, о том, как люди говорят между собою, называется языковедением.

Одной из задач языковедения и является: узнать, когда и как человек **научился говорить**. Как овладел он искусством называть вещи именами, которые на самые вещи ничем не похожи? Как привык по этим именам судить о самих вещах? Как удастся ему выражать свои мысли при помощи звуков, ничем, по-видимому, с этими мыслями не связанных?

Правда, если поставить себе прямой вопрос: почему люди, каждый на своем языке, называли дом «домом», а дым — «дымом» или почему никто не назовет дом «тифуфу» или «будугу», хотя в то же время одни именуют его «ev» («эв», турки), другие «maison» («мэзон», французы), третьи «haz» («хаз», венгры), — если спросить именно об этом, вряд ли удастся получить короткий, ясный ответ.

В разное время ученые, однако, старались как можно ближе подойти к решению этого вопроса. И по дороге к этой величайшей из тайн языка, может быть до конца необъяснимой, им удалось сделать немало очень крупных открытий.

Поговорим же о некоторых из них.

ЧЕМУ ДИВИЛСЯ РАБОЧИЙ ИЗОТ?

Что мы подразумеваем под словом «язык»?

Один **говорит**, то есть, двигая губами и языком, «издает звуки разной высоты и силы».

Другой слушает и **понимает** его, то есть при помощи этих звуков узнаёт мысли своего собеседника. Вот это явление мы и называем «языком».

Язык — удивительное орудие, посредством которого люди, общаясь между собой, передают друг другу свои мысли, любые мысли. Именно в языке они закрепляются: и каждая в отдельности и все мысли человечества в их величавой совокупности. Именно язык хранит и бережет все людское познание с древнейших времен до наших дней, делает возможным само существование и развитие человеческой культуры.

Не случайно у многих народов два предмета, ничем не похожих один на другой — мясистый, подвижной орган вкуса, помещающийся во рту, и человеческая способность говорить и понимать собеседника, — издавна именуются одним и тем же словом.

По-русски и то и другое называется «язык».

У французов и язык коровы, который ничего сказать не может, и французская речь одинаково будут «ланг» («langue»).

По-латыни слово «ли́нгва» («lingua») также означает одновременно и способность речи и ее главный орган.

Это давно уже обращало на себя внимание людей:

Язык мой — враг мой: все ему доступно,
Он обо всем болтать себе привык...
Фригийский раб, на рынке взяв язык,
Сварил его...⁴

Так, пользуясь двойным значением этого слова, играет им великий Пушкин; играет потому, что язык для нас прежде всего звуки нашей речи.

Это бесспорно. Но тем не менее, разве не приходилось вам когда-либо встречаться с беззвучным, непроизносимым и неслышимым языком?

Бывает так: никто ничего **не говорит**. Никто ни единого звука не слышит и даже **не слушает**. И все же люди оживленно беседуют. Они великолепно **понимают** друг друга: отвечают, возражают, спорят...

«Похоже на сказку», — подумаете вы. Между тем это странное явление и в этот миг перед вами.

Вы читаете то, что я написал. Выражая мои мысли, я изобразил эти слова на бумаге много времени назад и за много километров от того места, где вы живете. Вы не знаете меня; я никогда в жизни не видал вас. Вы ни разу не слышали моего голоса. Тем не менее вы вступили в беседу. Я рассказываю вам то, что думаю, и вы узнаете мои мысли по поводу различных вещей.

Видимо, письмо — тот же язык. А разве это, в свою очередь, не поразительнее всех так называемых «чудес» мира?

Когда великий мастер слова и тончайший знаток русского языка Алексей Максимович Пешков, Максим Горький, был еще подростком, он взялся обучить грамоте одного своего старшего приятеля, умного и пытливого, но совершенно необразованного рабочего, волгара Изота. великовозрастный ученик взялся за дело усердно, и оно пошло успешно. Но, учась, Изот не переставал простодушно дивиться поразительному «чуду грамоты», чуду письменного языка, и жадно допытывался у своего учителя:

"Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их — слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. *А здесь как будто самые мысли напечатаны*, — как это?"

«Что я мог ответить ему?» — с виноватым огорчением пишет Горький. И если бы вы сами попробовали поразмыслить над недоуменным (а ведь таким с виду простым!) Изотовым вопросом, вы убедились бы, что ответ на него дать вовсе не легко.

⁴ А. С. Пушкин. Домик в Коломне. (Из вариантов, не вошедших в окончательный текст поэмы.) «Фригийский раб» в данном случае Эзоп, знаменитый баснописец Греции, мастер двусмысленного, «эзоповского» языка.

Попробуем рассуждать логически.

Вот сидит передо мною и умывается лапкой небольшое домашнее животное всем хорошо известного вида.

Если вы даже не очень талантливо нарисуете мне такого зверька, я, естественно, пойму, про кого вы думали, рисуя: про кота. Пойму я и другое: **ка'к и почему** я это понял; картинка ведь похожа на самое животное. «Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно», — справедливо заметил Изот.

Но если вы начертите передо мною на бумаге три странные закорючки — букву "к", напоминающую какую-то подставку, букву "о", похожую на кружок, и букву "т", имеющую сходство с тремя столбиками, накрытыми крышкой, с гвоздем или с молоточком, — тут уж очень нелегко сообразить, как и почему этот причудливый рисунок заставил меня сразу вспомнить о двух друг друга ничем не напоминающих вещах: во-первых, о пушистом маленьком домашнем зверьке и, во-вторых, о трех произнесенных в определенном порядке звуках человеческого голоса.



Ведь звуки-то эти — вы, я надеюсь, согласитесь со мною — решительно ничем не похожи ни на кошачье мяуканье, ни на мурлыканье, ни на ворчанье кошки.

Вид поставленных рядом на бумаге трех букв — "к", "о", "т" — тоже ни с какой стороны не похож на подвижного, веселого зверька. Так что же связывает между собою три эти совершенно разнородные вещи? Почему сто'ит мне увидеть живого котенка, как мгновенно, точно по мановению волшебного жезла, и надпись «кот» и слово «кот» возникнут передо мною? Почему, едва я услышу громкий крик: «Кот, кот!» — или даже самый тихий шепот: «Кот!» — я сейчас же пойму, что где-то около находится не заяц, не еж, а именно вот такое животное?

Человек ограниченный и равнодушный пожмет плечами: «Есть над чем голову ломать! Так уж повелось, и все тут...»

Но пытливый ум не пройдет спокойно мимо этого загадочного явления. Неудивительно, если оно поразило озадаченного Изота; ведь и сам юноша Горький задумчиво морщил лоб, не находя должного объяснения непонятному «чуду».

Много веков человечество видело именно «чудо» во всех явлениях языка: нашей звуковой, устной, речи и нашего письма. И только теперь, в самые последние десятилетия, люди начали одну за другой разгадывать его увлекательные тайны. Окончательно же раскрыть их, несомненно, еще предстоит языкознанию. И кто знает — может быть, это сделает кто-либо из вас, моих сегодняшних читателей.

Быть ученым и разгадывать тайны языка — увлекательное занятие. Но даже в самой обыкновенной нашей жизни, в повседневной работе бывает очень полезно ясно представить себе, как же именно эти два языка — речь устная, звуковая, и письменная речь, — как они связаны друг с другом. Эта связь не так уж проста и пряма, как это может показаться с первого взгляда.

Когда вы пишете письмо вашему преподавателю русского языка, вы обращаетесь к нему так: «Здравствуйте, Павел Павлович!» А встретив его на лестнице вуза, на бегу, второпях, вы радостно вскрикнете: «Здрассь, Палпалч!» — и он не очень удивится этому. Вы говорите: «Сонца взошло», а пишете: «Солнце взошло». Слово, которое на письме выглядит, как «полотенце», вы произносите довольно неясно, вроде «п'латенц». Более того, попробуйте выговаривать его в точности так, как оно изображается буквами на бумаге — «полотенце» — вам сделают замечание: так произносить это слово «не принято»! «ПОлОтенцО» звучит в речи только некоторых граждан нашей страны, живущих в определенных местностях, — например, у горьковчан, вологодцев, архангелогородцев.

Но если вы попытаетесь, наоборот, написать «пылатенца», так, как вам позволяют его выговаривать, — красный карандаш преподавателя отметит сейчас же на полях вашей тетрадки ошибку, да еще не одну, а две или три. Почему это так?

Почему слово «ночь» надо писать с мягким знаком на конце, а слово «мяч» — без него? Вслушайтесь повнимательней в эти слова; можно поручиться, что звук "ч" произносится

совершенно одинаково в обоих этих случаях.

Точно так же почти одинаково произносятся окончания слов «спится» (в выражении «мне что-то плохо спится») и «спица». Еще больше сходства между двумя разными формами одного и того же глагола: «спится» и «спаться», а ведь пишем мы их по-разному. Было бы гораздо легче не делать ошибок в правописании, если бы можно было понять, от чего тут зависит разница, в чем ее причина: всегда проще запомнить правило, основания которого ясны, чем правило непонятное.

Вот видите, начали мы с глубокого теоретического вопроса о великом «чуде» письменного языка, который наряду с языком устным находится в распоряжении человечества. А дошли до вопросов, может быть, и не таких «глубоких», но зато очень существенных для каждого человека, — до ошибок правописания и не всегда понятных орфографических правил.

Повторю еще раз: чтобы хорошо знать правила и без труда подчиняться им, нужно понимать, на чем они основаны. А понять основания, на которых зиждутся правила нашего правописания, может лишь тот, кто досконально разберется в вопросе более широком — о связи между обоими видами нашего языка — устным и письменным.

Сделать это можно. Но предварительно нельзя не обратить внимания на очень важное обстоятельство: рядом с уже упомянутыми двумя языками, устным и письменным, человек владеет еще третьим видом, третьей формой речи, может быть, самой удивительной из всех. Вряд ли вы сами догадаетесь, о чем я говорю. Придется ввести вас в совершенно незнакомую для вас донныне область языковедения.

«О, ЕСЛИ Б БЕЗ СЛОВА СКАЗАТЬСЯ ДУШОЙ БЫЛО МОЖНО!»

Странные слова, которые я только что написал, не выдуманы мною. Я нашел их в одном из стихотворений известного русского поэта Фета, жившего в прошлом столетии.

Афанасий Фет был крупным художником слова. Но в то же время много раз в различных своих произведениях он радовался на несовершенство человеческого языка. Фет думал сам и уверял других, будто **мысли** человека, так же как и его чувства, гораздо богаче, ярче, точнее и полнее тех **грубых слов**, в которых они выражаются:

Как беден наш язык: хочу и — не могу!
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною!

Фет мечтал научиться передавать другим людям свои мысли без посредства слов, как-нибудь помимо языка: «О, если б без слова сказаться душой было можно!» — восклицал он.

Но он, по крайней мере, считал, что если не каждый человек, то хоть поэт, художник слова, имея «божественный дар», может выражать с совершенной полнотой в словах все, что ему вздумается:

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах...

Были скептики, которые и в это не верили. Поэт Федор Тютчев, например, прямо говорил: «Мысль изреченная (то есть высказанная) есть ложь»! В мрачном стихотворении, которое так и названо — «Молчание», он каждую строфу заканчивал зловещим советом: «молчи!»

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая, возмутишь ключи:

Питайся ими — и молчи!

Если поверить этим стихам, получается так: где-то в голове у человека живут его мысли. Пока он думает, никакие **слова**, никакой язык ему не нужен: думать-то можно и без слов, не говоря ничего!

Беда только в том, что люди не способны без помощи слов обмениваться этими мыслями, делиться ими друг с другом. Чтобы передать их другому, приходится мысли как бы «упаковывать» в слова.

Это трудно: хрупкие, нежные мысли портятся, искажаются; пропадают их яркие краски, ломаются нежные крылышки, как у редких бабочек, которых вы вздумали бы пересылать знакомым по почте в бумажных конвертах... «О, если б можно было пересылать друг другу мысли без грубых конвертов-слов!»

Людам в прошлом часто приходили в голову подобные желания. Но спрашивается: не ошибались ли те, кто рассуждал так?

У английского романиста Уэллса есть фантастическое произведение: «Люди как боги».

Несколько рядовых англичан — все люди из среднего зажиточного класса — удивительным образом попадают в фантастический мир будущего; там живут могущественные и мудрые «люди как боги». Они на много опередили Англию и всю Землю по развитию своей культуры.

Радужно встречают люди-боги полудиких, по их мнению, «землян» с их нелепыми зловонными автомобилями, некрасивой одеждой и отсталым умом. Ученые людей-богов красноречиво объясняют пришельцам устройство и жизнь прекрасного, но чуждого «землянам» мира.

Объясняют?! Позвольте, но как? Откуда же «людибоги» могут знать язык англичан, которых они никогда не видели, или тем более откуда английские буржуа могли узнать их неведомый доселе язык?

Одного из англичан, редактора журнала мистера Барнстэппла эта неожиданность поражает больше, чем все чудеса нового мира. Он задает недоуменный вопрос тамошнему ученому и получает от него еще более неожиданный ответ. Ученый говорит примерно так:

"Напрасно вы думаете, что мы беседуем с вами на вашем языке. Мы и друг с другом давно уже перестали *разговаривать, пользоваться для общения языком*. Мы не употребляем слов, когда обмениваемся мыслями. *Мы научились думать вслух*."

Я думаю, а мой собеседник читает мои мысли и понимает меня без слов; зачем же нам язык? А ведь мысли-то у всех народов мира одинаковы, различны только слова. Вот почему и вы понимаете нас, а мы вас: различие языков не может помешать этому..."

Тютчев, Фет и их сторонники возрадовались бы, услышав о такой возможности: в вымышленном Уэллсовом мире можно, оказывается, «сказываться душой, без слов». Все дело, значит, в развитии культуры: может быть, когда-нибудь и мы, люди, на самом деле дойдем до этого!

Стоит заметить, что не одни только поэты позволяли убедить себя в осуществимости таких фантазий. Некоторые ученые-языковеды, рассуждая о будущем человеческой речи, приходили порой примерно к таким же выводам. Так заблуждался, например, советский ученый Марр. Марр считал, что общение людей можно осуществлять и без языка, при помощи самого мышления.

Это совершенно невозможная вещь, полагает современное языкознание. Никакая мысль не может родиться в голове человека «в голом виде», вне словесной оболочки. Чтобы подумать: «Вчера был вторник», надо знать слова «вчера», «вторник», «быть»; надо суметь связать их в одно целое. Мыслей, свободных от «природной материи языка», нет и быть не может, так же как не может быть человеческой «души» без человеческого тела.

Чтобы понять, почему же нельзя обмениваться мыслями «без слов», надо предварительно установить: а что же представляют собою они, «мысли»? Говорим мы «словами»; спрашивается: «чем же» мы думаем? Что такое человеческая мысль? Возьмем один из простых математических законов:

$$2+3 = 3+2$$

«Сумма не изменяется от перестановки слагаемых». Это мысль? Конечно!

Но ведь «состоит-то» она из слов? Она воплощена, выражена в словах, и трудно представить себе, как могла бы выглядеть она, если бы мы попытались освободить ее от этой «словесной оболочки».

Может быть, это потому, что я вознамерился передать эту мысль вам? Пока она жила в моей голове, она, может статься, выглядела иначе? Может быть, думал я без всяких слов и только потом уложил готовую мысль в «словесные конверты»?

Попробуйте сами разобраться в этом; вы почувствуете, до чего сложен на первый взгляд такой простой вопрос. Чтобы по-настоящему ответить на него, нужно начать рассуждение издалека.

Итак, следите за этим моим рассуждением.

Несколько веков назад существовал в мире страшный обычай: за некоторые преступления человеку отреза́ли язык.

Разумеется, после этого он терял способность говорить. Его начинали называть «немым», «безъязычным». Но можно ли сказать, что, теряя способность произносить слова, такой несчастный калека действительно лишался полностью и той способности, которую мы называем человеческим языком?

Нет! Ведь изувеченный человек этот мог свободно слышать все, что вокруг него говорили другие; мог понимать их речь, узнавать через их слова их мысли. Значит, половина возможности пользоваться звуковым языком у него сохранилась.

Более того: если он был грамотным, он мог и теперь читать и писать; писать слова и понимать их. Следовательно, он все еще владел и письменной речью.

Видимо, потеря органа речи, языка, вовсе еще не делает человека полностью «безъязычным».

Вообразите себе более тяжелый случай. После какой-нибудь болезни, после ранения во время войны человек может не только онеметь, но сразу и оглохнуть и даже потерять зрение. Ни слышать речь других людей, ни читать, ни писать он теперь уже не способен. Значит ли это, что на сей раз способность пользоваться языком окончательно оставила его?

Как вы думаете: если такой несчастный является человеком мужественным и твердым, разве не может **он подумать, мысленно сказать самому себе**: «Нет! Я не сдамся! Я буду бороться!»

Разумеется, настоящий человек, достойный этого звания, таи и подумает. А если человек может **сказать самому себе** такие мужественные слова, то не очевидно ли, что в его распоряжении остался, может быть, самый удивительный из всех человеческих языков, не звуковой — устный, не рисованный — письменный, а третий, безмолвный, внутренний язык, **внутренняя речь**?

Внутренняя речь? А что это такое?

Закройте глаза. Сосредоточьте внимание. Как вам кажется: можете ли вы **подумать** что-нибудь самое обыкновенное, ну хотя бы: «На улице стоит дом»?

Отчего же нет? Разве это так трудно?

Это нетрудно; но вот отдать себе отчет, **ка́к именно** вы это делаете, много труднее. Попробуем, однако же, разобраться в нашем собственном «думанье».

Прежде всего вы, очевидно, можете **представить себе** какой-нибудь дом, возвышающийся над тротуаром, **вообразить** нечто вроде картинки: «Дом на улице». Это, безусловно, возможно: иначе никто и никогда не был бы в состоянии описать дом и тем более нарисовать его «наизусть», не видя. А ведь художники постоянно рисуют, не глядя на натуру, и улицы, и дома, и людей...

Но обратите внимание вот на что. Если направиться по этому пути, перед глазами неизбежно явится не «просто дом», «не дом вообще», а «лом определенный», «такой-то дом», с длинным рядом ему одному присущих признаков. Допустим, вам привидится теплый низенький деревенский дом, плотно укутанный в снежное одеяло, темнеющий на углу сельских улиц. Помните:

Вот моя деревня,
Вот мой *дом* родной...

Крестьянин по происхождению, Суриков, когда писал эти строки, представлял себе, конечно, именно такой маленький, рубленый из бревен дом-избу, в каком протекло его деревенское детство.

Совсем иное дело дома, изображенные Пушкиным в знаменитых картинах «неугомонного» веселящегося дворянского Петербурга:

Перед померкшими *домами*
Вдоль сонной улицы, рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом,
Блестит великолепный *дом*;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

Общего между пушкинским и суриковским **домами**, как видите, очень немного, и вряд ли можно вообразить такой «дом», который совмещал бы в себе признаки того и другого.

Каждый из нас может без труда вызвать в уме образ деревянного одноэтажного дома с десятью окнами, крыльцом и двумя печными трубами на крыше или высотного колосса в двадцать мраморных и бетонных этажей. Можно мысленно воссоздать портреты разных домов — красивого Или жалкого, современного или старинного, только что построенного или же превращенного временем в ветхую руину. Но какими бы мы их себе ни представляли, всегда это будет «вот такой-то», «данный», «единственный в своем роде», **определенный дом**.

Иной раз нам ничего большего и не нужно, вот как в данном случае: я ведь просто просил вас подумать: «дом». Все равно какой! Выходит, что думать образами, «картинами» вещей, умственными представлениями о них можно, хотя эти «образы» и бывают только частными, необобщенными...⁵ Должно быть, из них все же и слагаются наши мысли... Но так ли это?

Попытаемся «подумать» что-либо более сложное; не просто подумать: «дом», а, так сказать, подумать «что-нибудь про дом».

Мне опять вспоминаются бессмертные стихи Пушкина:

Татьяна
шла, шла... И вдруг перед собою
С холма господский видит *дом* ...

Способны ли вы и эти строки представить себе в виде картины или хотя бы в виде ряда связанных одна с другой, сменяющих друг друга картин?

Что ж? Пожалуй, можно довольно ясно увидеть в воображении старинный дом — богатый, с колоннами, сад вокруг него и юную девушку в платьице прошлого века, смотрящую на него с вершины холма... Все это, если вы художник, легко набросать на холсте или листе бумаги. Но попытайтесь вашим наброском, как бы тщательно и подробно вы его ни исполнили, передать, что этот дом не просто «стоит» перед за́мершей на пригорке девушкой, а что она его «вдруг увидела», да еще не сразу, а после того, как она «шла, шла»... Как бы вы ни трудились,

⁵ Но радоваться этому еще рано. Я ведь просил вас не просто подумать: «дом», но подумать: «на улице стоит дом». А «вообразить себе», что «дом стоит», так, чтобы можно было сразу понять, что он именно «стоит», а не «стоял», не «встанет», не «будет стоять», — разумеется, вам не удастся. Попробуйте, и вы легко убедитесь в этом.

ничего этого вашим рисунком или даже целой серией рисунков вы никогда не расскажете: ведь в кинофильмах часто приходится прибегать либо к звучащей речи героев, либо к объяснениям диктора и подписям внизу экрана.

А в то же время просто и без затей подумать: «Татьяна внезапно увидела с вершины холма, на который поднялась, барский дом Онегина», — легче легкого; это ничуть не труднее, чем вообразить этот дом двухэтажным, с мезонином, а девушку — худенькой и в белом платье.

Почему же одно невозможно, а другое легко? В чем тут дело?

Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, возьмем еще один стихотворный отрывок, в котором также упоминается слово «дом».

Я пробую восстановить в памяти «Вечерний звон» слепого поэта И. Козлова. Я дошел до строк:

Вечерний звон в (?) родном,
Где я... (?), где отчий дом ...

И тут у меня вдруг «заколодило». В течении моей мысли получились какие-то пропуски. Я не помню, в чем «родном» звучал вечерний звон. Я забыл, что именно делал автор в тех местах, где был расположен его отчий дом... Я мучительно стараюсь вспомнить это. Я подыскиваю заполнение для пропусков: «в селе родном»? Нет, не так! Может быть, «в лесу родном»? Опять не то... И, наконец, вспоминаю: "**в краю родном, где я любил**", а не "**где я дышал**", не "**где я возрос**"... Вот теперь все ясно.

Скажите, когда с вами происходят такие заминки мысли, вы ищете чего? Образов, картинок «леса», «села», «края»? Да конечно, нет! Вы ищете **слов**, и это особенно ясно при вспоминании стихов, потому что тут вам приходится перебирать только такие слова, которые могут уложиться в размер и рифму. Именно поэтому вы можете колебаться между словами «край», «лес», «село». Но вам никогда не представится **образ** «деревни». Почему? Очень просто: **слово** «деревня» не уместается в козловской строке.

Разве это не показывает вам, что вы мыслите не образами, а **словами**? Да иначе невозможно мыслить еще и по другой важнейшей причине.

Вдумайтесь в слово «дом», в то, как оно звучит и что значит в этих меланхолических строчках. Какой именно образ нарисовали бы вы, чтобы передать представление о «доме», упоминаемом Козловым? Тут и речи быть не — может ни о «маленьком», ни о «каменном», ни о «двухэтажном», ни вообще о каком-либо вещественном, «материальном» доме. Здесь слово «дом» означает вовсе не «здание», не «постройку». Оно значит тут «родина», «родное место». Сочетание «отчий дом» можно, не меняя общего смысла, заменить на «отческие кущи», «родимый край» или даже «семейный очаг». Попробуйте же вообразить себе «в виде картинки» этакий «никакой», отвлеченный дом. Это решительно невозможно. А в то же время подумать «отчий дом» или «где под каждым ей листком был готов и стол и дом» — проще простого, и мы делаем это поминутно. Как? Разумеется, при помощи слов, а не образов, при помощи «понятий», а не «представлений».

Ну что ж! Теперь все ясно: думаем мы не образами, а словами. Мысль, даже еще не высказанная вслух, уже воплощается в слова в мозгу человека. Наверное, вы замечали у многих людей привычку, размышляя, шевелить губами. Это не зря: это в голове думающего шевелятся произносимые им, но уже рождающиеся мысли-слова, рвущиеся во внешний мир. Человек «про себя» произносит свои мысли, как предложения. Иногда, впрочем, в мозгу возникают не звуковые, а молчаливые, «письменные» обличья слов. Из тех и других и складываются наши мысли. Вот что такое внутренняя речь.

Однако если это так, то отсюда следует любопытный вывод: русский человек неизбежно должен думать русскими словами, грузин — грузинскими, француз — словами своего языка: ведь других они и не знают. Иное, конечно, дело люди, «двуязычные»: в совершенстве владея вторым языком, они, вероятно, могут «думать» и на каждом из двух, по желанию.

Было бы очень интересно убедиться в этом: если человек может думать то на одном языке, то на другом, так ведь это же и явится лучшим доказательством того, что думает он словами. Иначе какая разница была бы между немецким и финским, русским и узбекским

«думаньем»?

Сто или полтора-два десятилетия назад русские дворяне воспитывались на французский лад бесчисленными «эмигрантками Фальбала» или «месье Трике». Подобно Евгению Онегину, они потом получали возможность «пофранцузски совершенно» изъясняться и писать. Иначе говоря, многие из них настолько овладевали французской речью, что без малейшего труда то и дело переходили при разговоре с одного языка на другой. А в мыслях?

В повести И. С. Тургенева «Первая любовь» молодой барич пламенно влюбился в девушку-соседку. Он видит ее на прогулке, в саду; однако она смотрит на юношу с пренебрежением и даже не отвечает на его поклон.

"Я снял фуражку, — вспоминает молодой человек, — и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. *Que suis-je pour elle?*⁶ — *подумал я (бог знает почему) по-французски...*"

Вот действительно очень интересное сообщение. По этой короткой фразе можно прежде всего ясно понять, что юный русский дворянин мог не только **говорить**, но и **думать** по-французски, то есть французскими словами. Этого мало, он умел думать и по-русски тоже: более того, обычно он думал на русском языке, иначе он не сказал бы «бог знает почему».

Очевидно, человек действительно может думать на разных языках⁷. Но ведь это же непреложно свидетельствует о том, что он думает словами, а не «образами-картинками». Зрительные образы примерно одинаковы у людей всех наций. «Человечка» и русский, и негр, и вьетнамец, и гольд нарисуют вам почти так, как это сделаете вы сами. А вот спросите иноязычных людей, **что́ изображено** на таком рисунке, и каждый из них ответит вам по-своему.

Француз скажет — *омм*

немец — *мениш*

турок — *ада'м*

итальянец — *о'мо*

испанец — *о'мбрэ*

поляк — *чло'век*

болгарин — *чове'к*

финн — *и'хминнэн*

японец — *хи'то*

китаец — *жень*

кореец — *сарам*

и т. д.

Значит, думая на разных языках, люди, еще ничего не говоря друг другу, еще в мозгу, в сознании своем, прибегают уже к беззвучным, произнесенным, словам. Из них они и формируют свои мысли. Из слов прежде всего; из слов по преимуществу. Всякие другие образы — вещей, предметов, лиц, всевозможные ощущения — тепло, холод, жажда, — если и

⁶ Что такое я для нее? (Франц.)

⁷ Когда эти строки были уже написаны, я получил от одного из вдумчивых читателей «Слова о словах» интересное письмо. Товарищ Хосе Фернандес, испанец, с двенадцати лет живущий у нас в СССР, сообщил мне, что обо всем, чему он научился в школе в Испании, то есть до пятого класса, он до сих пор думает по-испански. На этом языке он ведет устный счет в уме: делает сложение, вычитание, умножение и деление. Когда ему приходится считать среди русских по-русски, он неизбежно сбивается. Воспринимая русские фразы по-русски, он встречающиеся в них цифры мысленно переводит на испанский язык. Ему часто случается, говоря с испанцами по-испански, внезапно «по ошибке» переходить на русскую речь. Наоборот, говоря по-русски с близкими людьми (но только с близкими), он порой незаметно «сбивается» на испанскую речь. Это крайне любопытно. То же самое рассказывала мне одна знакомая армянка, с детства владеющая и родным и русским языком. О своей юности, об Армении, о родных и семье она всегда думает по-армянски. Все же, что касается ее жизни в Ленинграде, учебы в вузе, работы, — все эти мысли приходят ей уже на русском языке. Лучших доказательств справедливости изложенного выше нельзя и требовать.

принимают участие в образовании этих мыслей, то лишь второстепенное, дополнительное. Они, вероятно, придают окраску им, делают их более живыми и яркими. И только.

Изложенные положения правильны, но не всегда легко укладываются в сознании. Особенно смущают они математиков и техников. Первым кажется, что, кроме

слов, можно думать и формулами. Вторые уверены, будто конструкторы мыслят не словами, а образами деталей будущих механизмов, образами чертежей и планов. Они пишут мне об этом.

Разумеется, это неверно. Любая формула имеет словесное значение.

Сказать $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — это все равно что выразиться иначе: «квадрат суммы двух количеств равен квадрату первого из них плюс...» и т. д. Формула короче, удобнее; поэтому математик предпочитает ее. Но формула — тот же язык: как в письме мы прибегаем к стенографии, так математик, ведя свои рассуждения, пользуется своеобразной «стенологией», искусством сверхсжатой, аккумулятивной речи. Однако считать, что ему при этом удастся обойтись «без языка», столь же наивно и неправильно, как, питаясь гречневым концентратом, хвастаться, что наловчился обходиться без крупы.

То же и с чертежами всякого рода. Даже Эвклид не воплотил своих рассуждений в чертежах, а создал их как цепь словесных положений: постулатов, аксиом, теорем, доказательств, при которых чертежи являются лишь подспорным пояснением. Любой технический чертеж (скажем, карта мира) есть иное выражение словесного описания предметов. Каждый чертеж необходимо «прочитать», то есть перевести его в слова; «думать одними чертежами» решительно нельзя; «думать одними словами» вполне возможно.

Приведу два очень ясных примера. Водитель машины видит у дороги «чертеж» — дорожный знак поворота. Он тормозит свою «Победу», но лишь потому, что чертеж этот имеет для него словесное выражение: «Через 100 метров — поворот!» Турист, страдая от жажды, ищет на топографической карте соответствующий значок. Но, увидев наконец источник, он не подумает об этом значке. Он мысленно воскликнет: «Вот радость: вода, ключ, родник!» То же мы имеем и в других, более сложных случаях.

Только наши слова, только язык, позволяет нам думать так свободно и отвлеченно. И, по существу говоря, именно с тех пор, как человечество научилось думать словами, оно и начало «мыслить» по-настоящему. А это могло случиться лишь потому, что в то время человек овладел языком: звуковым языком вначале, а затем и письменной речью.

Все это очень важно. Прежде всего, это решает наши недоумения, связанные со стремлением некоторых людей «говорить душой, без слов». Теперь мы убедились, что так, без слов, многого друг другу не скажешь. Уэллсовы «земляне» также никак не могли бы понять, вслушиваясь или всматриваясь в мысли людей-богов, что они думают: «земляне» и люди-боги не только говорили на разных языках, но на разных языках и думали.

Представьте себе, что, проникнув в голову какого-то человека, вы обнаружили бы, что думает он так:

«Во фоди бу-сы вурс-хуа, во фоди чжунгай-хуа!»

Обрадовало бы вас это? Поняли бы вы эту мысль? Нет, не поняли бы, потому что человек этот думает по-китайски, а вы — не китаист, и его мысль нуждается для вас в переводе на русский язык. «Я говорю не по-русски, я говорю по-китайски», — думает он. Но думает, как и говорит, своими, китайскими, словами.

Мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи», не существует. Поэтому, если мы захотим узнать, как именно думает, как мыслит человек, по каким законам работает его мышление (а что может быть важнее такой задачи?), нам надо начать с изучения законов языка.

Я полагаю, теперь вам понятно, почему наука о языке является одной из самых серьезных, глубоких и увлекательных наук мира.

Вот так: «я полагаю, теперь вам понятно...» Но за годы, прошедшие после выхода в свет последнего издания этой книги, я получил множество писем. И выяснилось: не все, читавшие ее, убедились, что я прав.

Есть читатели, которым никак не хочется согласиться с утверждением «мысли без слов не бывает». Им кажется, что это не так. Они спорят, они доказывают, что — бывает. Что — может

быть. Что это положение — не обязательно... Оно им неприятно! Им хочется освободить мысль от слова, душу от тела.

Какие же доводы они приводят? Среди этих доводов интересней других два или три, вот какие.

"Я дружил с парнем, а потом разочаровался в нем.

Он подошел ко мне, но я сделал такое злое лицо, так посмотрел на его, что он сразу меня понял, отошел и больше со мной не здоровается..."

Или: «Когда моя мама вдруг обнимет меня и начинает целовать, я сразу же читаю ее мысли. Она думает: „Ты моя самая ненаглядная доченька; я тебя ужасно люблю!“ Зачем же мне какие-то „слова“? Мы и без них понимаем друг друга!» Так написала мне одна девушка.

Убедительно? Да как вам сказать. Тут все зависит от того, что вкладывать в понятия «мысль», «думать», «понимать».

Когда обсуждается какой угодно вопрос, надо прежде всего **точно** договориться, что мы подразумеваем под тем или другим словом: ведь у многих наших слов бывает не **одно**, а несколько близких или даже довольно далеких значений.

Вот, например, мама моей корреспондентки страшно «любит» свою дочку. **ЛЮБОВЬ** — это высокое и благородное чувство, не правда ли? Но допустим, что дочка «страшно любит» шоколад с орехами. Или — валяться по утрам в постели. Или — сидеть по целым часам у окна, глядя на улицу... Что это — тоже любовь? Почему же нет?..

Но как вам кажется: если захотим представить себе, что значит чувство «любовь» в жизни человечества, можем ли мы сразу иметь в виду, подразумевать под этим словом одновременно и любовь матери к ребенку, и любовь к рыбной ловле, и любовь к сладкому крепкому чаю? Если мы будем смешивать все это воедино, мы наверняка страшно запутаем вопрос и ни к какому решению не придем.

Совершенно так же надо относиться и к словам «мысль», «мышление», «думать», «понимать»: каждое из них в разных случаях может означать вещи, совершенно друг на друга не похожие.

Вы проходите мимо привязанной на цепи собаки. Вдруг она щетинит шерсть на загривке, страшно скалит зубы и рычит. Вы замедляете шаги, а потом просто отходите, стараясь не приблизиться на опасное расстояние...

Как по-вашему — вы "прочитали **мысли** цепного пса", а он «без слов» передал вам свои **мысли**? По-моему, он выразил свое темное **чувство** неприязни, напугал вас. И вы благоразумно отошли, тоже **не раздумывая** много, а просто слегка испугавшись. Мыслей — никаких. Ощущений, настроений, впечатлений — сколько угодно. Но я нигде в моей книге не утверждал, что чувства, ощущения, впечатления, переживания могут быть выражены **только словами**. Их можно выражать «и словами» и еще множеством иных способов: диким хохотом, горькими слезами, печальной миной, восторженными скачками, дрожью во всем теле, нахальным посвистыванием, ядовитой улыбочкой — на тысячу ладов. Но при чем тут «мысли»?

А теперь вспомните моего первого корреспондента. Он скорчил, когда к нему приблизился ставший ему ненавистным друг, свирепую и неприязненную физиономию. Он мог бы, для пущей понятности, показать тому кулак или даже плюнуть в его сторону. Но какая же разница между его поведением и поведением собаки на цепи? И там и там выражены **только** чувства. Никаких «мыслей» не было и в помине. Чтобы они обнаружились, разочарованный молодой человек должен был бы **сказать** своему новому недругу: «Я вчера убедился, что ты трус и лжец. Я с тобой не дружу. Убирайся!» Вот тут тот **понял** бы что-то. А так он просто «почувствовал неприязнь». И — только.

И милая девушка, нежничая со своей мамой, тоже несколько преувеличивает свое умение «читать материнские мысли». Чувства — да, да и то лишь довольно приблизительно, так, **в общем**.

Есть очень популярная песенка на слова Исаковского. В ней другая девушка с огорчением рассказывает, как:

... ходит парень

Возле дома моего:
Поморгает мне глазами,
И не скажет ничего...
И — кто его знает,
Чего он моргает?..

Вот видите: чувство-то свое этот парень, бесспорно, выражает бурным морганием. Но девушке хочется, чтобы он хоть что-нибудь, в дополнение к этому морганию сказал. Чтобы он по поводу своего **чувства** выразил и какую-либо **мысль**. Чтобы чувство его выразилось «членораздельно», то есть словами.

Так вот и оказываются не слишком убедительными ЭТИ аргументы против моего утверждения. Они основаны на том, что понятия «мысль», «думать», «понимать» страшно расширяются.

Человек говорит «мысль», а имеет в виду «чувство», «переживание», «впечатление», «побуждение». И предмет спора расплывается. Незачем доказывать, что «чувства» мы нередко выражаем без всяких слов, ну, скажем, при помощи музыки. Мы не столько «понимаем» их, сколько «заражаемся» ими.

А так как, выражая и наши мысли, мы обыкновенно окрашиваем их своими чувствами, бессловесное и словесное смешивается, и отделить их одно от другого не так-то легко.

Близко к этому «аргументу» стоит другой. Мне пишут: «Как же вы так нераздельно связываете слово и мысль, когда существует, например, живопись, которая любую мысль может передавать без всяких слов?».

В этом возражении тоже есть секрет, который «возражатели» упускают из вида. Когда мы говорим о мысли, которую выражает, скажем для примера, картина И. Левитана «Вечерний звон», мы по-настоящему имеем в виду целый сложный клубок впечатлений, настроений, образов и **мыслей**, которые созерцание этого чудесного полотна **в нас вызывает**. А вовсе не обязательно те мысли, которые проходили в голове художника, когда он свою картину писал.

Достаточно постоять в Третьяковской галерее в Москве перед этим холстом и послушать, что говорят люди, им любующиеся, чтобы убедиться, что каждый видит в нем «свое», переживает прелесть изображенного **по-своему**. Тот, кто бывал в Плесе на Волге, вспоминает свои впечатления от виденного там, ищет сходства. Любитель природы восхищается, как удивительно переданы цвета, оттенки, чуть ли не звуки и запахи теплого летнего вечера на воде. Людям постарше и на самом деле начинает слышаться влажный и задумчивый вечерний Церковный благовест. Но очень вероятно, что это впечатление возникает не столько под воздействием того, что на картине **написано**, сколько в связи с тем, что под ней **подписано**. А подписано там два **слова**: «Вечерний звон».

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он... -

говорится в очень известном стихотворении поэта XIX века И. Козлова. И спросите вы хоть у сотни людей, прочитавших это стихотворение, **о чем** оно говорит, и все сто ответят: «Ну, прежде всего о вечернем звоне... Всякие мысли, связанные с воспоминаниями о церковном вечернем звоне». Совершенно невероятно, чтобы кто-либо подумал, что в этом стихотворении описывается закат, или вечер на реке, или тихая обитель. А созерцая левитановскую картину, можно назвать ее любым из этих имен, и опровергнуть ваше восприятие будет невозможно.

Вот почему, говоря о мысли того или иного произведения живописи, музыки, скульптуры, мы вкладываем в это слово совершенно иной смысл, чем говоря о мысли, воплощенной в слове. В картине нет главного для человеческой мысли — понятий. Есть образы. В музыке — тоже. А я в моей книге рассуждаю только о мысли, построенной на **понятиях**. О мысли чисто человеческой. О мысли, поддающейся логическому анализу. И вот такая мысль невозможна без слова, потому что именно слово организует, закрепляет, образует в нашем мозгу **понятие**.

Третье возражение встретилось мне впервые недавно, но оно стоит того, чтобы его здесь разобрать.

"Вы неправы! — написал мне один студент. — И вот почему. В мире — множество, да нет, не множество, а **бесконечное число** всевозможных вещей. Предметов, явлений, действий, состояний. По вашему мнению, мы не можем «думать» о них, если не знаем их названий — слов? Но ведь слов во всех языках, в том числе и в русском, не **бесчисленное множество**. И все-таки мы преспокойно можем «представить себе» **любую** вещь, а значит, и «подумать о ней». Как же? Выходит, что — без слова? Ведь на каждую «вещь» мира не приходится по одному слову в языке..."

Аргумент выглядит убийственным. Что же я написал в ответ моему критику?

Я написал ему вот что.

"Замечали ли вы, что к бесконечному множеству существующих вокруг нас «вещей» мы, люди, относимся совершенно неодинаково. Есть такие, которые нам по тем или другим причинам «существенны». Мы их непрерывно видим, всегда «замечаем». А рядом кишит муравейник других вещей, не представляющих для человека (а иногда и для человечества) ни малейшего интереса, никакой ценности. Люди **смотрят** на эти вещи, но не **видят** их.

Пример? Пожалуйста. Горожанин приехал на дачу. Перед избой, где он поселился — лужайка. Спросите его, что растет на ней, он скажет: «трава». И будет прав.

Спросив о том же у хозяина дома, колхозника, вы получите другой ответ: «На горушке — клеверишко есть, тимopheевки немного... А к речке — всякая дурь: белоус, осока... Ну, копны две сена станут».

Хозяин тоже будет прав. По-своему.

Но стоит к дачнику приехать в гости другу-ботанику, он поднимет приятеля на смех. «Как — трава? Что значит — „трава“? Да тут на каждом квадратном полуметре — целый ботанический сад! Вот, верно, клевер; притом — красный. А вот — белый клевер. Вот, пожалуйста, три вида лютиковых. Да, тимopheевка, но и ёжа есть, и лисохвост есть... Тут, где посырее, тень, — звездчатка, она же — мокрица. И — манжетка... И мята. А около куста — валерьяна...»

У первого на всю луговину нашлось одно слово; второй сумел назвать своих зеленых друзей и врагов. А третий — специалист — засыпал вас словами-названиями... И все травы оказались названными; каждая — по-особенному.

В 1894 году мир знал два вида лучей: световые и тепловые. В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл новые лучи, невидимые, нетеплоносные, но проникающие через непрозрачные тела. Понятно, что для этих таинственных лучей у человечества не существовало слова-названия: их же никто не знал, не видел, не ощущал.

Рентгену надо было сообщить о своем открытии миру. И первое, что он сделал, он придумал для своих лучей слово. Он назвал их "х —лучами" (мы теперь зовем их «рентгеновскими»).

За следующие два года он опубликовал о них три важных сообщения. Его лучи стали всемирной сенсацией. О них говорили повсюду. А как можно было бы о них «говорить», если бы Рентген не создал называющего их **слова**? При этом он создал его не «из ничего». Слово «лучи» было давно в ходу. Слово «икс» у математиков значит «неизвестное», Название для нового предмета, новое слово было образовано из двух старых слов, из их сочетания.

И ведь если в человеческих языках живут сотни тысяч, может быть, даже миллионы («всего только миллионы!») слов, то число возможных сочетаний из них — по два, по три, по пять — немыслимо выразить никакой доступной воображению величиной. Ими может быть назван любой вновь открытый в мире предмет, любое ставшее интересным людям явление, любое понадобившееся им **понятие**.

Миллионы лет жила в Индийском океане странная двоякодышащая рыба, пережиток давно ушедших веков. Европейцы ее ни разу не видели и, естественно, никак не называли. У нее не было имени на языке белых людей.

Но вот она случайно попала на глаза ученой женщине-ихтиологу. По всему свету прокатилось известие о рыбе-дикийке, о рыбе-сверхветеране. И тотчас же родилось новое слово: в честь открывшей чудо молодой ученой, мисс Ля'тимер, она теперь зовется «лятиме'рией». Каждый год на земле открывают сотни и тысячи новых видов животных и растений. Ни один из них не остается без слова-имени. Человечество достигнет других планет,

найдет там иную флору и фауну. И каждый тамошний зверь, каждая травка получают свое имя.

Нет ничего более причудливо-разнообразного, нежели формы плавающих в небе облаков. Недаром писатель Тригорин в пьесе А. Чехова «Чайка», сетуя на хлопотливость своего ремесла, жалуется: "Вижу вот облако, похожее на **рояль** . Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на **рояль**..."

Тысячелетия люди не интересовались очертаниями облаков. Не было и слов для их обозначения. Но вот метеорологи заметили, что некоторые виды облаков предвещают перемену погоды, и сейчас мы уже различаем «кумули» — «кучевые», «цирри» — «перистые», «страти» — «слоистые», «нимби» — «дождевые»... И стоит людям заметить, что особое значение для чего-либо имеют «роялевидные» или «верблюдобразные» облака, и для них будут созданы обозначающие их слова-названия.

Ну, теперь, я думаю, я убедил вас? Что же касается до еще одного возражения, до тех читателей, которые указывают на «думающих» кошек и собак, муравьев и попугаев, слонов и амёб, то об этом я много говорю в главе «Человек и животное» и тут не буду предварять самого себя.

Скажу только: те, кто говорят о «мышлении» животных, подразумевают под этим словом не то, что, употребляя его, имею в виду я. Потому что я говорю всегда только об одном виде «мышления» — человеческом. Называю мышлением не все то, что может содержаться в сознании и человека и зверя, а только то, что воплощается в понятия и умозаключения людей.

Если я думаю: «Человека от животного отличает именно способность мыслить понятиями», — это мысль.

Если я «думаю»: «Ах ты...» — и в ярости стучу кулаком по столу, это не мысль. Это — выражение моего неопределенного, невыразимого словом чувства. Крик души, но не голос ума.

Всюду в моей книге я обхожу такие «крики души» молчанием.

Пожалуй, добавлю еще одно довольно любопытное наблюдение.

Лет двадцать назад по всей нашей стране давал свои «сеансы» интересный «угадчик мыслей» Вольф Мессинг. Сеансы заключались в том, что присутствующие, втайне от Мессинга, придумывали для него часто довольно сложные «задания». Появлялся Мессинг. Взяв за руку одного из публики, **знающего** , что именно содержится в задании, он требовал, чтобы тот, **не произнося ни слова, думал** , что надо сделать. И, после некоторых усилий, выполнял задание — подходил к нужному человеку, доставал у него из портмоне нужное число монет заранее условленного достоинства, разыскивал в зале какой-либо спрятанный предмет, брал у кого-либо книгу и указывал на слова, которые были заранее выбраны с разных страниц, и тому подобное.

В разговоре со мной любопытный человек этот решительно утверждал, что для него совершенно безразлична национальность и язык того, от кого он узнает чистые **МЫСЛИ**, составляющие задание. Если бы он был прав, мои соображения о мышлении и языке, разумеется, были бы уничтожены на корню.

Но вот что случилось на нескольких таких «представлениях» Мессинга. Два первых случая я наблюдал сам, о третьем мне рассказал писатель М. Л. Слонимский.

Было придумано «задание», выполняя которое Мессингу надо было раскрыть женскую сумочку, застегнутую замком-**молнией** , вынуть оттуда кошелечек, тоже снабженный **молнией** , и уже дальше действовать с монетами.

Угадыватель мыслей очень долго не мог выполнить требований, не понимая, **что думает** актриса, руку которой он держал. А потом, стараясь объяснить свои трудности, сердито сказал: "Как я мог сообразить, в чем дело, когда она все время думала про **гром и молнию** ..."

Актриса думала вовсе не про «гром и молнию», а про **молнию** -замок. И когда Мессингу это объяснили, он раздраженно пожал плечами. "Откуда я знал, что это тут так **называется** ?"

Австрийский немец по языку, он не подозревал, что такой запор по-русски зовется **молния** ; по-немецки это Reibverschluß, то есть что-то вроде: «ползучий запор».

Совершенно ясно — он воспринимал не образ, а слово, и раз слово было ему неизвестно, расшифровать его не мог.

В другом случае Вольфу Мессингу было задано набрать из карточной колоды несколько строго определенных карт: десятку, валета и пр., и т. п. Было сказано (между теми, кто это

задание составлял), что число очков на этих нескольких картах должно в сумме составить «21», как в игре в «двадцать одно».

Исполнитель очень быстро, без всякого труда выбрал нужные карты и заметался. «Я должен что-то еще сделать, а что — не могу понять!» — приходил он в отчаяние. Ему указали, что задание выполнено. «Нет, нет! — протестовал он. — Я ясно ощущаю: он думает почему-то еще и о цифре двадцать один...»

Игра в «двадцать одно» распространена далеко не везде в мире. Числовое значение карт с рисунками (дама, валет, король) не везде одинаково. Мессинг «слышал» карты, названные словами, но не знал, сколько каждая «стоит», и потому претерпевал неудачу. А его «руководителю» в голову не приходило **подумать** : «Валет ценится так-то или дама — так-то». И воспринятое угадчиком **слово** «двадцать одно», название числа, повисло в воздухе.

Если бы дело было не в словах, такого недоразумения не могло бы получиться.

Наконец — третье. Однажды Мессинг также не смог выполнить задачу только по той причине, что человек — передатчик мысли, требуя, чтобы он вынул из сумочки определенный предмет, называл в уме этот предмет не «перчаткой», а «варежкой». Слово «варежка» иностранцу Мессингу оказалось неизвестным, и стало совершенно очевидно, что он оперирует именно «словами»: ведь **образ** такой перчатки безусловно был бы им воспринят без всякого труда.

По-моему, все три случая великолепно работают на пользу той теории, которую я защищаю на всех предыдущих страницах этой книги.

Глава 2. СКАЗКИ И БЫЛИ



ДРЕВНИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

Каждый, кто бы ни задумался над человеческой способностью говорить, немедленно задает себе вопрос: «Откуда и как получили люди эту удивительную способность? Как они научились языку?»

Вопрос этот только внешне выглядит простым и безобидным. Не преувеличивая, можно сказать: три четверти толстых томов, написанных в течение сотен лет по языкознанию, посвящены решению этой труднейшей загадки.

Правда, простодушные люди никогда не были склонны долго ломать над нею головы. Почему именно человеку на долю выпало такое счастье? Почему ни коровы, ни кошки, ни орлы, ни львы, ни муравьи, ни лягушки не говорят нигде, кроме как в сказках? "Да очень понятно, — пожимали плечами эти люди, — человек — существо разумное; **вот он и придумал язык для своего удобства ...** Худо же без языка!"

Номы-то с вами теперь знаем: скорее, наоборот! Не потому человек придумал себе язык, что он обладал разумом. Потому он и смог стать по-настоящему разумным, мыслящим существом, что овладел способностью речи! Без языка у него не могло быть подлинного, человеческого разума. Задача оказывается далеко не простой. И много тысячелетий люди тщетно ломали головы, стараясь ее разрешить.

В глубокой древности все, что человек не мог в мире объяснить простыми причинами, он относил за счет таинственных и могущественных сил — богов.

Спрашивается: почему гремит гром и бьет из тучи в тучу молния? Очень просто: это боги воюют между собою, там, за облаками.

Неведомо, почему море половину суток приливает к земле, а половину уходит от нее вдаль? Должно быть, воду гоняет морское божество.

Никто не знает, откуда взялся мир со всем, что его наполняет. Очевидно, его сотворили всемогущие боги.

А если могущество богов столь велико, что они могли создать самого человека, так уже, конечно, им было легко снабдить его языком. Либо они так уж и породили его говорящим, либо же потом, по своей божеской воле, подарили ему язык, научили говорить... Как же именно это случилось?

У разных народов существовали различные мифы по этому поводу. В евангелии говорится примерно вот что: "В начале всего было слово⁸. Это слово было обращено к богу. Оно само и было богом. Все было заключено в этом слове, и помимо него ничто в мире не могло появиться..."

Трудно как следует уразуметь, что имел в виду составитель этого красивого, но туманного рассказа. Получается, что «слово» (а значит, и язык!) существовало на свете раньше, чем появился тот, кто может говорить, — человек. Не он, следовательно, создавал разные слова, а, напротив того, его самого создало таинственное божественное «слово»: оно породило и человека и весь мир. Слово, которое никем не сказано и тем не менее существует! Слово, которое звучит в совершенно пустом пространстве и из которого возникает мир! Надо признать, что от такого «объяснения» ум заходит за разум.

Совершенно иначе говорили об этом библейские древнееврейские мифы.

Бог, можно прочесть в библии, сотворил весь мир из ничего ровно в шесть дней. Но сделал он это не сразу.

Он начал с того, что сказал: «Да будет свет!» И стало светло.

По этому рассказу можно понять, что бог произносил еврейские слова в то время, когда еще не было не только еврейского народа, но и человека вообще, и даже самой Земли. Волшебным образом он умел уже, так сказать, «заранее» говорить по-древнееврейски, знал еще не существующий язык. Затем, устраивая отдельные части мира, бог придумывал им разные подходящие названия, по-видимому, тоже все на древнееврейском языке. "И назвал бог свет «днем», а темноту — «ночью». Получается, что первый человеческий язык был непосредственно создан божественной силой.

Но на следующих страницах все представлено противоположным образом:

"Бог вылепил еще из земли разных зверей и птиц и привел их напоказ к первому человеку, *чтобы тот придумал, как их надо называть* . И первый человек сейчас же дал имена диким

⁸ Философы и религиозные люди по-разному толковали значение греческого термина «логос» (слово), употребленного автором евангелия. Они придавали ему много различных туманных значений — «откровения», «основной сущности всего мира», «образа божьего» и т. п. Но надо полагать, что сам евангелист писал и думал именно о «слове»; потому-то он и изобразил его и исходящим от бога и обращенным к богу. Несомненно, так же, попросту, понимали затем это место евангелия бесчисленные его читатели.

животным, и домашним, и даже птицам, летающим по небу..."

По этому мифу, наоборот, бог не владел человеческим языком и поручил дело изобретения различных слов самому человеку.

Конечно, даже древние люди не могли долго удовлетворяться столь путанными и противоречивыми сказками. Над человеческой способностью говорить они начали размышлять уже по-иному. И многим стало приходить в голову, что эта способность является одним из естественных, природных свойств человека.

В самом деле: мы видим, как каждый из нас без всякого особого обучения, родившись на свет, сам начинает плакать, смеяться, есть, двигаться, ползать, ходить, хватать руками различные предметы. Это не удивляет нас, кажется естественным. Так почему же не допустить, что в определенном возрасте каждый человек так же неминуемо должен и **заговорить**, как собака — залаять, а жаворонок — запеть?

Вся беда в том, думали древние, что это трудно проверить. С раннего детства нас окружают люди, которые уже умеют говорить, взрослые. Никак не поймешь: почему начинают пользоваться языком малыши — потому ли, что в них самих созрела природная способность к речи, или потому, что их искусственно обучают говорить взрослые?

Было бы очень интересно, если бы хоть одно дитя выросло в полном одиночестве, не слыша человеческого голоса. Начало бы оно говорить без учителя или же так и осталось бы навеки немым? А если этот ребенок заговорил бы, то на каком языке? На языке своих родителей, на другом, из числа существующих, или же он придумал бы свой, новый язык. Предположим, что маленький человек начал бы самопроизвольно болтать на одном из наличных в мире языков. Разве из этого не следовало бы заключить, что именно данный язык является тем, на котором некогда впервые заговорили и все люди? Пожалуй, это было бы всего правдоподобней. Не поставить ли такой интересный опыт?

«БЕКОС, БЕКОС!»

Вот что рассказывает нам по этому поводу древний историк Геродот, живший за две с половиной тысячи лет до нас:

"Перед тем как воцарился в Египте фараон Псамметих, родом эфиоплянин, египтяне чванливо считали себя самым древним народом мира.

Царь Псамметих, однако, пожелал удостовериться — так ли это или не так? После его расследования египтянам пришлось признать, что фригийцы⁹ появились на земле раньше всех, а себя считать вторым по древности народом.

Псамметиху долго не удавалось добиться решения вопроса, и он, наконец, придумал поступить вот как.

Он повелел отобрать у родителей — египтян самого простого звания — двухмладенцев и воспитать их вдали от людей, в уединенном месте, под наблюдением старого пастуха царских стад. Было строго приказано, чтобы детишки росли сами по себе, никого не видя, а пастух ухаживал бы за ними сам, кормил бы их козьим молоком, не допускал к ним никого и не произносил в их присутствии ни единого слова ни по-египетски, ни на других языках.

Все эти строгости любознательный фараон измыслил ради того, чтобы узнать, какое же первое слово сорвется с детских уст, когда малюткам придет пора заговорить.

Все было сделано по царскому желанию.

Два года спустя пастух, войдя однажды с молоком и хлебом в хижину, услышал, как оба ребенка, прильнув к нему и обнимая его ручонками, стали повторять непонятное слово: «Бекос, бекос!»

Сначала старец не придавал этому значения. Однако, поскольку всякий раз, как дети видели его, он слышал от них то же самое слово, ему пришло на мысль сообщить об этом своему

⁹ Фригийцы, или фригияне, — один из народов древности, живший в Малой Азии и говоривший на языке, который и донныне остается малопонятным. До наших дней от фригийцев дошло лишь несколько отрывочных надписей; трудно даже установить, с какими языками сходно их наречие.

повелителю. Фараон тотчас же созвал ученых мужей и стал допытываться, какому народу известно слово «бекос» и что оно на его языке означает. Наконец удалось узнать, что так фригияне именуют хлеб.

С той поры на основании столь неопровержимого свидетельства египтянам и пришлось признать, что их соседи фригийцы — более древнее племя, чем сами они, и что фригийский язык имеет за собой все права первородства..."

Старик Геродот простодушно записывал все, что ему рассказывали разные бывалые люди. Записал они эту явную выдумку. По его словам, приходится думать, будто Псамметиха волновал только вопрос о том, какой народ древнее.

Но очень возможно, что любознательный фараон хотел узнать не это, а совсем другое. Может быть, он пытался проверить рассказы жрецов, утверждавших, что египетский язык — не только первый, но и божественный, что его дали египтянам сами их суровые боги. Приступить к такой проверке в открытую было небезопасно даже и для фараона; ради «страховки» он и придумал для нее замысловатый, предлог.

Правда, рассудив здраво, Псамметих должен был бы счесть свой жестокий опыт излишним. Задолго до него природа тысячи раз проделывала точно такие же опыты — и всегда с одинаковым результатом.

В Египте, как и повсюду, нередко рождались на свет глухие дети или от различных заболеваний теряли слух грудные младенцы. Не надо было запираť их в уединенные хижины, чтобы слова человеческой речи не доходили до них; даже живя среди людей, они не слышали ничего и уж никак не могли научиться человеческому языку. И всегда, от начала дней, такие глухие малыши неизменно становились немыми. Ни один из них ни разу не заговорил сам — ни по-фригийски, ни по-египетски, ни на каком-либо другом языке. Наблюдая за ними, можно было твердо сказать: нет, сам по себе, без помощи других людей, без обучения ни один человек не способен начать говорить.

Язык не дается человеку «по природе», хотя именно так возникает у него умение дышать, улыбаться от радости, плакать от боли, сосать материнское молоко или морщиться от кислого вкуса во рту.

Языку человек может научиться только у другого человека, у других людей. Язык рождается и живет только там, где люди общаются друг с другом.

Геродотов Псамметих не мог, конечно, рассудить так. Он свято поверил своему опыту и убедился, что людям свойственна естественная, врожденная, способность речи. Он остался в уверенности, будто, каждый человек рано или поздно, если его не «сбивать с толку», заговорит по-фригийски. Так для него разрешилась загадка человеческого языка.

Само собой, подобное мнение не могло продержаться долго: слишком уж явно оно противоречило многочисленным фактам. В разных странах разные люди думали над тайнами языка. За долгие века они измыслили и распространили немало других догадок по тому же поводу. Я не могу рассказать вам последовательно обо всех таких «теориях», и мы ознакомимся только с двумя или тремя из них, которые пользовались когда-то наибольшей верой и самым широким распространением.

ТЕОРИЯ «ВАУ-ВАУ»

Спросите кого угодно: «Почему одна из наших лесных птиц называется кукушкой?» Вы наверняка получите твердый ответ: "Потому, что она кричит: «„ку-ку!“».

Я думаю, вы и сами считаете это несомненным.

Говоря так, однако, вы, сами того не подозревая, примыкаете к сторонникам одной из языковедческих теорий о происхождении языка, так называемой «теории звукоподражания». Создана она была некоторыми учеными прошлого, а от своих противников получила насмешливое имя «вау-вау» теории. В чем она заключается?

На первый взгляд «вау-вау» теория очень проста и убедительна.

Вспомним, как маленькие дети, учась говорить, называют впервые встреченных ими животных.

Увидев, скажем, собачонку и услышав ее дай, удивленный маленький человек начинает

передразнивать животное: «ав-ав», или «тяф-тяф», или «вау-вау». Потом, немного спустя, он уже так и называет: собаку — «ав-ав», кошку — «мяу-мяу», свинью — «хрю-хрю». Еще позднее собака становится у него «авкой», поросенок — «хрюшкой». Смотрите-ка, из простых **звукоподражаний** родились уже имена существительные, **слова** !

Что, если когда-то, очень давно, на заре истории, только начиная создавать язык, так же действовали и наши предки, первобытные люди?

Вот в весеннем лесу какая-то птица из года в год выкликала над их головами свое «ку-ку». Может быть, ее первоначально так и называли: «куку»? А потом понемногу из этого имени-передразнивалки образовались уже настоящие, связанные с ним слова: «кукушка», «кукушонок», «куковать»...

Если это верно, в отношении кукушки, то, очевидно, то же бывало и в других сходных случаях. И, вполне возможно, многие из наших первых слов также родились из подражания **голосам** птиц, зверей, **раскатам** грома, **свисту** ветра, **шуршанию** камыша, **шелесту** листьев, **рокоу** бурных вод, **грохоту** обвалов. Они-то и явились самыми ранними словами: стихии и звери научили человека говорить. А когда он привык к ним, так сказать, «вошел во вкус», приучился пользоваться этими словами-звукоподражаниями, тогда, возможно, он стал искать и нашел и другие источники для пополнения своего «словаря».

Теперь — так говорили изобретатели этой теории — нам не всегда легко угадать старое первобытное слово-передразнивалку в наших словах: за десятки тысяч лет с ними могли произойти большие перемены. В словах «авка» или «хрюшка» и то не каждый и не сразу заподозрит собачий лай или свиное хрюканье. И всё же язык, по-видимому, родился именно из подражания простым звукам природы, которое сделало человека говорящим.

Все это звучит очень правдоподобно.

В самом деле, возьмите название хотя бы той же кукушки. Как называют эту птицу разные народы Европы?

У русских она

— куку́шка

В Чехии

— ку́качка

У болгар

— кукуви́ца

У немцев

— ку́кук

У французов

— куку́

У румын

— кук

По-испански

— ку́ко

В Италии

— ку́куло

В Турции

— гугу́к¹⁰

¹⁰ Не следует думать, однако, что это правило не знает исключений. По-японски кукушка именуется «хототогису», по-китайски — «дуцзюань». В корейском слове «ппоккуксэ», означающем эту же птицу, можно

Объяснить такое поразительное совпадение имен в разных языках можно только тем, что разные племена подражали одному и тому же птичьему крику. Многие на этом и остановились.

Однако, если рассудить хорошенько, приходится признать, что переносить наблюдение, может быть и справедливое в отношении кукушки и ее имени, на другие слова было бы неосторожно. Кажущаяся бесспорность такой догадки рассыпается довольно быстро.

Чтобы разобраться в этом хитром вопросе, нам придется начать опять-таки очень издавна.

ЛЕСНЫЕ ЗВУКИ

Слово «кукушка» все производят от ее крика. Но вот уж слово «синица» как будто с писком этой птички не связано. Многим представляется, что оно, скорее, придано ей **по цвету ее оперения**. Может быть, «синица» значит «синяя птичка»?

А бы видали когда-нибудь живую синицу?

"Большая синица ростом с домашнего воробья. — написано в энциклопедическом словаре. — Верхняя сторона ее тела *желтовато-зеленого цвета*, переходящего местами в *серый*. Нижняя сторона — *желтая*. Шапочка на голове, бока шеи, горло и продольная широкая полоса, идущая по нижней стороне тела — *черные*. Щеки — *белые*. Клюв — *черный*".

Спрашивается: где же здесь **синий** цвет?

"Вот-вот, так оно и есть, — скажут вам тотчас сторонники «вау-вау» теории. — Название синицы, конечно, не имеет никакого отношения к ее окраске. Это тоже звукоподражание. Слыхали вы, как эту птичку еще зовут в народе? Она носит несколько имен: **"зенька, зинька, зинзивер ..."**

Это верно. Знаменитый русский «птицевод» А. Богданов так прямо и писал когда-то: «Зинькой и зинзивером синицу прозвали по ее крику...»

Если так, тогда можно допустить, что «зинька» — настоящее имя синицы, а «синица» — его искажение. «Зинька, зиница, синица...» Пожалуй, «вау-вау» теория права: ведь мы опять договорились до звукоподражания.

Ну, а на самом деле на чьей же стороне правда?

Многие птицеловы, охотники, зоологи свидетельствуют: "большая синица (это одна из синичьих пород) весной действительно испускает звонкий крик: «зинь-зинь-таррарах!»

Казалось бы, это все решает. Но беда в том, что другие столь же осведомленные знатоки слышат в щебете синицы несколько иные звуки: «Пинь-пинь-тарарах!»

Украинские любители птиц все, как один, от профессора до пионера-птицелюба, согласно утверждают, что писк синицы надо передавать так: «Цень-цень-тарарах!»

И, наконец, совершенно случайно, в стихотворении американского поэта прошлого столетия Эмерсона я наткнулся на чувствительные строчки, посвященные той же лесной певунье:

Как вешний привет раздается

Повсюду: «Чик-чик-э-ди-ди!»¹¹

Вот теперь и судите сами, каким же из этих мало схожих звуков люди должны были подражать? Как было бы правильнее окрестите веселую обительницу северного леса: «зинька», «пинька», «ценька» или «чикчинька»?

расслышать слог «кук», столь необходимый у нас. Но зато у наших братьев по языку — украинцев, да и у русских на юге, вместо слова «кукушка» живет совсем на него не похожее слово «зозуля». В древнерусском языке кукушка именовалась «зегзицей». Фамилия писателя Загоскина происходит от одного из областных наименований этой птицы: «зозга́».

¹¹ Эта же запись напева синиц встречается в романе Д. Олдриджа «Охотник». А отличный немецкий языковед-этимолог М. Фасмер сообщает, что его соотечественники тот же птичий возглас изображают как «ци-ци-гэг».

Чтобы решить этот сложный вопрос, пойдите в марте в лес или, еще лучше, приманите синиц к своему окну, вывесив кусочек сала на веревочке. Гости сейчас же явятся.

Прислушайтесь к их голосам — и вы немедленно убедитесь, что ничего похожего ни на «зинь-зинь», ни на «чик-чик» они не «произносят». Просто птички издают три каких-то очень неясных музыкальных тона: два — покороче и позвонче, третий — раскатистый и трескучий. Изобразить, передать их звуками нашей человеческой речи просто невозможно.

В этом нет ровно ничего удивительного. Голосам животных нелегко подражать; чтобы их «записывать», ученые-орнитологи (птицеводы) предложили множество сложных систем, но среди них ни одной удовлетворительной.

Поэтому каждый человек, и тем более каждый народ, передает эти крики на свой собственный лад.

Возьмите для примера обыкновенную утку. Думается, мы, русские, правильно считаем, что эта птица **крякает**, произнося совершенно ясно: «кря-кря».

Но, по мнению французов, утиное кряканье надо передавать иначе: «куэн-куэн».

Румыны изображают крик утки опять-таки по-своему: «мак-мак-мак». А датчане полагают, что их утки ясно выговаривают: «раб-раб-раб».

К сожалению, я еще не успел узнать, как крякают утки других народов; вероятно, пришлось бы столкнуться со множеством самых разнообразных мнений.

Еще любопытнее получается с петухом. Уж это ли не знаменитый солист среди птиц? Кажется, кто может не понять, что он ясно и громко возглашает свое несомненное, членораздельное «ку-ка-ре-ку»?

А вот подите же! Французам в его крике слышится несколько иное сочетание звуков: «кокорико»; а петухи британских островов, по уверениям их хозяев-англичан, распевают нечто на наш слух совсем уж неправдоподобное: «кок-э-дудль-ду»¹².

Откуда же такое странное несогласие?

Очень понятно откуда: послушайте несколько часов подряд петушиное пение, и вы, точно так же как и с синицами, убедитесь, что птица эта просто не подчиняется ни русским, ни французским, ни каким-либо другим человеческим словарям. Она ровно ничего не «выговаривает». Она тянет что-то чисто петушиное, совершенно свое, нечто вроде «а-а-а'-а-а'», «о-о-о'-о-о'» или «э-э-э'-э-э'», в зависимости от возраста, сил и породы. А нам, людям, вольно вкладывать в этот простой, нечленораздельный крик свои, чисто человеческие звуки, которых там и в помине нет...

Это неудивительно. Точно так же, желая изобразить голосом звуки музыкальной пьески, вы ведь тоже начинаете напевать какое-нибудь «тру-ля-ля, тру-ля-ля», или «тим-пам-пам», хотя, конечно, ни рояль, ни скрипка, ни труба ничего похожего «произносить» не способны.

ОТ ЗИНЗИВЕРА ДО СНЕГИРЯ

Выводы, к которым я вас привел, настолько неожиданны, так противоречат обычным нашим представлениям о названиях животных и птиц, что стоит, пожалуй, проверить их еще на одном любопытном примере. Впрочем, речь и тут пойдет о той же самой синице.

В «Лесной газете» — книге известного писателя Виталия Бианки — есть рассказ, озаглавленный: «Зинзивер в избе»,

"В лесную избушку... через открытую дверь смело влетел *зинзивер* — синица; желтый, с белыми щеками и черной полосой на груди..."

Несколько ниже талантливый писатель-натуралист объясняет и происхождение этого странного птичьего имени:

"Пел зинзивер, синица... Птица нехитрая: «Зин-зи-вер! Зин-зи-вер!»

Ну вот: птица кричит «зинзивер» и называется тоже «зинзивер». Казалось бы, лучшего доказательства того, что люди, изобретая новые слова, прибегают к звукоподражанию, и не требуется. Но это именно «казалось бы».

¹² По-английски это звучит как «петька глуп», нечто вроде нашего «попка-дурак».

Да, слово «зинзивер» действительно несколько похоже на те звуки, которые синица издает. «Пинь-пинь-тарррарах» или «зинь-зи-веррр!» — разница небольшая. И то и другое «слово» распадается на три части: два звонких звука и что-то вроде раскатистой трели.

Но вот в чем заключается немалая странность: в словаре болгарского языка, родственного русскому, приведено несколько болгарских названий синицы: «ценцигер», «синигер», «синигир».

Удивительно! С одной стороны, «ценцигер» звучит почти так же, как «зинзивер»; похоже, болгары тоже подражали голосу лесной певички. С другой стороны, близкое к «ценцигеру» имя «синигер» отчасти напоминает и слово «синица» — «сини-гер». Можно подумать, что и там, за Балканами, по какой-то странной ошибке желто-черно-белая птица тоже получила название, связанное с «синим» цветом.

С третьей же стороны... Вот с третьей стороны и подстерегает нас самая главная неожиданность. Разве третье название синицы — «синигир» — не напоминает вам русское имя другой, совершенно на синицу непохожей, ярко-красной и пепельно-серой северной лесной птички — **снегирь**? Напоминает, и даже очень.

«Синего» в снегире нет уже равно ничего. Многие думают, что его название связано с тем, что он — птица зимняя, появляющаяся в наших местах вместе со снегом: «снег-ирь» — «снежная птица».

И вдруг — никакого снега: **синигирь**! Возникает вопрос: откуда могло получиться такое своеобразное сходство в названиях двух совершенно друг на друга не похожих птиц?

Не будем сейчас искать ответа на эту довольно сложную задачу. Скажем только, что наблюдение это сильно подрывает веру в справедливость «теории звукоподражания», той «вау-вау» теории, о которой мы говорили выше.

Теперь возьмем в руки какой-нибудь хороший, полный словарь русского языка — ну, скажем, составленный известным лингвистом Владимиром Далем, и посмотрим, что там говорится о слове «зинзивер».

Нас ждет разочарование. Слова «зинзивер» у Даля в словаре нет. Зато имеются два других слова, очень похожих: «зинзивель» и «зинзивей». Что же, видимо, это тоже какие-то птички?

Увы! «Зинзивель» оказывается растением — «проскурняк», а «зинзивей» — другим растением, «бриония». Но ведь растения не пищат, не чирикают вроде синиц, не поют песен. Почему же их назвали такими птичьими именами?¹³ Нет уж, лучше давайте ограничим в правах пресловутую «вау-вау» теорию!

Спору нет, в современном нашем языке, вероятно, можно найти некоторое количество слов и, в частности, имен-названий, построенных на подражании тем или иным звукам. Для примера я приведу вам на память вещь смешную — известную игрушку, надуваемый воздухом резиновый шарик со свистулькой, именуемый «уйди-уйди». Это одно из звукоподражаний, и притом совсем недавнее. Можно даже довольно точно указать момент его возникновения — второе десятилетие XX века, когда такие свистелки впервые появились на так называемых «вербных» весенних базарах Петербурга и Москвы. Тогда же предприимчивыми торговцами были созданы и смешные рекламные возгласы, вроде: «А вот иностранный мальчик потерял свою: маму! Он плачет и зовет, свою маму не найдет! Уйди, уйди!» Слово привилось.

Можно найти и другие примеры.

Но, во-первых, их очень мало, непомерно мало в сравнении со всей массой человеческих слов; так мало, что никакого особого значения они иметь не могут.

Во-вторых, — и в этом главное, — чтобы человек мог начать «подражать» голосам и запевкам разных птиц, шороху ветра и камыша, треску дерева и стуку камня, надо, чтобы он уже достаточно развил и свои органы речи и свой слух. Он **сначала** должен был научиться свободно говорить, а потом уже начал передразнивать «языки» птиц и зверей, стихий и неодушевленных предметов. И, вероятно, те **немногие** слова нашей речи, которые на самом деле родились из звукоподражаний, как раз представляют собой не самый старый, а

¹³ Этимологические словари возводят оба эти названия к древнеиндийскому «зингивера» (инбирь), буквально означающему «роговидный». Вот тебе и «звукоподражание»!

сравнительно новый слой в языке. Они не начало языка, а порождение его расцвета.

Теория звукоподражания может, пожалуй, объяснить появление того или другого отдельного слова. Но объяснить, как человек **научился говорить**, как он создал все огромное богатство своих слов, самых важных, самых нужных, она бессильна.

Ни слово «небо», ни слова «земля», «вода», «ходить», «работать», «трудиться», «торговать» никогда не были подражаниями звукам природы. Они возникли, очевидно, другим путем.

УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ

Рядом со «звукоподражательной» «вау-вау» теорией некоторое время существовала другая. Шутки ради ее можно было бы назвать теорией «бай-бай» или «ням-ням». Суть ее изложить нетрудно. Каждый ребенок, подрастая, пока он еще не научился говорить «по-человечески», начинает болтать на особенном «детском» языке.

Теперь вы, вероятно, уже забыли об этом, но было время, когда и вы вместо «хочу есть» сердито кричали: «ням-ням», когда слово «бо-бо» означало для вас «больно», «бя» — «плохо», «тю-тю» — «я спрятался», а странное словечко «тпру-а», которое и взрослому-то трудно выговорить, не сломав языка, значило не то «гулять», не то «прогулка».

Обычно думают, что малыши потому вместо настоящих слов пользуются этими забавными «суррогатами», что их «легче произносить», «выговаривать». Детишки сами выдумывают свой чудной язык, всегда и у всех одинаковый, а покорные папы и мамы, уже забывшие свое детство, послушно перенимают его у собственных детей.

Возьмите, например, такие слова, как «мама» и «папа». Русские дети называют мать — «мама», маленькие французы — «мама́н», немецкие ребята — «мама́», английские — «мэ́мма», китайские — «мама», корейские — «omma». По-видимому, где бы ни родился человек, почему-то именно это или очень похожее слово первым приходит ему в голову, когда надо назвать самое близкое, самое родное, самое дорогое существо на свете.

«Мама» — первое слово человека, который только что явился в мир. Так, может быть, оно и было **первым словом всего человечества**? Не с него ли и не с ему ли подобных «детских» слов начался в глубокой древности наш язык?

Может быть, и там, у колыбели мира, создателями первых слов были дети? А потом, когда в дело вмешались взрослые, этот язык начал развиваться, расти. Слово «мама» могло легко превратиться в «мать» и родственные ему слова. Слово «бо-бо», развившись, стало словом «больно», «болезнь» — и т.д. Это очень заманчивая теория, и кажется она довольно правдоподобной.

Однако справедлива ли она в действительности?

Попробуйте понаблюдать за малышом, который в таком «ням-ням-возрасте» растет сейчас где-нибудь около вас.

Вот он лежит в своей кроватке. Не унимаясь ни на миг, он все время движет всеми частями своего крошечного тельца (если, конечно, не спит): машет ручками, «сучит ногами». Движения его еще неосмысленны, случайны; он плохо управляет ими. И тем не менее он все время «работает», «тренируется», упражняет мышцы, не задумываясь над тем, что из его «гимнастики» получается.

Точно так же он непрерывно издает, то неумело шлепая на разные лады губами, то сжимая их, то раскрывая, непонятные звуки.

Естественно, что лучше всего и чаще всего ему удаются самые простые движения. Легче всего для него точно так же издавать несложные, нечленораздельные звуки.

Зажмите себе рот ладонью и попытайтесь, то отпуская ее, то прижимая снова, произносить хотя бы звук "а". Помимо желая, у вас получится нечто вроде: «ба-ба-ба», или «ма-ма-ма», или «па-па-па». Да, да! **Помимо вашего желания** !

Точно так же у маленького ребенка, когда он, покрикивая, то сжимает, то распускает губы, вырываются, совершенно независимо от его намерения и воли, те же самые случайные сочетания звуков: «Ммаммама! Пппа-ппапа! Тетете! Тятятя! Няняня-мамама!»

Можно сказать уверенно: смысла, значения в них немногим больше, чем в «слове»

«плюхх», которое «выговаривает», падая в воду, камень.

Но малыш не камень. Он чувствует то холод, то тепло, то сытость, то голод... На все это он отвечает и движениями и голосом, лепетом. Подошла мать, вот он и заводит свое: «бабаба» или «мамама». Начали его кормить — он опять мурлычет что-то в этом же роде. Что именно? Да ровно ничего: что выйдет.

Но взрослые привыкли к языку; привыкли сами говорить и понимать то, что говорят другие. И они невольно начинают вкладывать в каждый издаваемый ребенком звук то значение, которое им (а вовсе не ему) представляется наиболее подходящим.

Бормочет он что-то вроде «мамама», и мать в восторге уверяет, что он уже «начинает говорить», «называть ее». Вырвется у него «папапа», и она даже обижается: почему он отца любит больше, чем ее?! А ведь у малыша в это время наверняка нет еще никакого представления о том, что в мире живут люди, много людей, что они разные, что одних называют «папами», других «мамами», третьих «тетями» или «дядями». Словом, взрослые **навязывают** малышам свое понимание невнятных звуков, которые те, ни о чем не думая, издают.

Доказать, что это верно, не так уж трудно.

Вот вы, наверно, думаете, что слово «мама» всюду и везде, у всех народов мира означает в устах младенцев «мать». Ну, так ничего подобного¹⁴.

В русском языке, в немецком, во французском — это так.

А у грузин слово «мама» означает вовсе не «мать», а как раз наоборот — «отец»; «мама» по-грузински значит: «папа»! Вам это, вероятно, покажется очень странным, даже смешным.

Ничего смешного здесь нет. Древние римляне этим же словом «мамма» называли грудь женщины, кормящей ребенка молоком. Именно поэтому и сейчас у нас в зоологии класс, **млекопитающих животных** называется латинским словом «маммалиа». Почему же так получается?

Это довольно понятно. Ребенок без всяких особых мыслей лепечет свое: «мамма, мамма», а взрослые толкуют это по-своему. Одним представляется, что он зовет «мать», другие считают, что он обращается к отцу, а третьим кажется, будто он никого не зовет, а просто голоден, хочет есть. Все они одинаково правы, и все в равной степени ошибаются.

У нас, русских, в детском языке отец называется двумя совсем друг на друга не похожими словами: «папа» и «тятя». Слово «дед», «деда» у нас значит «отец отца» (или матери), — «баба» — «мать матери» (или отца). Мы думаем, что так оно должно быть и повсюду.

А в других языках?

У англичан «дэд» (дэдди) значит «отец», «папа». Слово это совсем не похоже на наше «папа», но довольно близко напоминает «тятю» и особенно «дядю». Поставьте рядом такие слова, как «деда», «дядя», «тятя», «тетя», и вы невольно подумаете: да может быть, это одни и те же звуки, только чуть-чуть по-разному выговариваемые?

То же самое мы видим повсюду в мире. Слова эти часто очень похожи, а значат они повсюду разное.

У турок и у родственных им народов слово «дади́» значит «няня», а во Франции слово «дада́» — «игрушечный конек», «лошадка на палочке».

Французские малыши к тому же говорят «додо́» вместо нашего «бай-бай».

В Грузии дедушку называют «бабуа», бабушку — «бэбиа», а маму, как это ни странно на наш слух, — «дэда».

Да нет даже надобности углубляться в дебри чужих языков. У нас в русском языке слово «папа», как известно, значит «отец». Но вот возле Пскова до сих пор в детском языке это же слово означает также «хлеб», «кушанье». «На́, на́, поешь папы!» — такую странную фразу можно услышать там из уст матери или бабушки, разговаривающей с маленьким ребенком. То

¹⁴ По правде говоря, это мое утверждение слишком решительно. Шведский путешественник и писатель Э. Лундквист очень удивляется тому, что маленькие индонезийцы зовут своих матерей «мамма», точь-в-точь, как шведские ребятишки. А в языке мексиканских индейцев пуэбло слово «тата» значит «отец», почти как у нас. Тем не менее ничуть не меньше и противоположных случаев: одно слово выражает совершенно разные понятия.

же самое наблюдается и на Западной Украине¹⁵. И опять-таки удивляться не приходится: как слово «мама» может получить в понимании взрослых то значение «мать», то смысл «материнская грудь», так и «папа» иной раз понимается как «отец», а иной — как «еда», «питание». Все дело в том, что так называемый «детский язык» на самом деле придумывают и растолковывают вовсе не сами грудные ребята, а их взрослые воспитатели, те люди, которые **уже умеют говорить**, понимают, что такое язык и для чего он нам нужен.

Так в наши дни люди **говорящие** «помогают» объясняться тем, кто говорить еще не умеет. Без этой помощи у них бы ничего не вышло.

Но ведь тысячелетия назад, когда люди впервые овладевали речью, на земле еще вовсе не было говоривших живых существ, ни больших, ни малых. Никаких «учителей», никаких «помощников» у древнего человека не было. И конечно, он никак не мог «начать говорить», «овладевать языком», тем способом, каким сейчас овладевают им наши ребята, учась у других. Безусловно, детский язык не мог быть и никогда не был основой, началом «большого» человеческого языка.

Есть и другие доказательства справедливости этих возражений.

Некоторые слова и словечки, которые обычно считаются «детским лепетом», на самом деле имеют свою очень долгую и сложную историю и свое, совершенно недетское, происхождение.

Вот, например, уютное, сонное слово «бай-бай», — от одного его звука глаза слипаются. Кто, казалось бы, мог его выдумать, кроме засыпающего в теплой кроватке ребенка?

Однако, заглянув в словарь «взрослого» русского языка, мы рядом с «бай-бай», рядом с «баиньки», «баюшки», рядом с выражением «баюшки-баю» встретим самый настоящий, да еще старинный, русский «взрослый», глагол «ба'ять», подлинно русское существительное «байка». «Баять» значит: «рассказывать»; «байка» — «сказка». А сочетание слов «баюшки-ба'ю», несомненно, значит: «я тебе сказываю сказочки». И конечно, оно родилось вовсе не в речи малышей, а в устах матерей и бабушек, которые «убаюкивали» своих любимцев, рассказывая над их колыбельками бесконечные дремотные сказки-байки¹⁶.

Точно так же лингвист скажет вам, что детское словечко «ладушки» (мы его теперь неверно понимаем как «ладошки») на самом деле очень древнего и любопытного, но совершенно «взрослого» происхождения. Детская песенка «Ладушки, ладушки, где были? — У бабушки!» распевалась тогда, когда нашего слова «ладонь» еще и не существовало на свете: наши предки вместо «ладонь» употребляли слово «долонь»¹⁷. Слово же «ладушка» было в те времена словом не только «детского», но и самого что ни на есть взрослого языка. В «Слове о полку Игореве» несчастная и милая Ярославна горько взывает к ветру, Днепру-реке и солнцу:

¹⁵ И даже в Подмосковье. Один из моих читателей записал возле Кунцова такую колыбельную:

Как уж я тебе, коту,
Новы лапотки сплету;
Дам тебе папы
В серенькие лапы:
Ешь, котик, не ворчи,
Больше папы не проси!

Любопытно также, что в английском языке словечко «рар» означает соску, детскую кашку. И в Голландии «рар» — густая каша.

¹⁶ Крайне любопытно отметить здесь одно не вполне понятное обстоятельство. В словарях английского языка приводится английское же детское выражение «ту гоу бай-бай», означающее в Англии «идти спать». Выражение это, видимо, не имеет прямой связи с прощальным приветствием «гуд бай». Интересно было бы выяснить, откуда оно взялось в английской детской речи и как получилось такое странное сходство его с нашим «бай-бай». Слово за «англистами»!

¹⁷ Это «долонь» значило: «сторона кисти, обращенная долу», то есть «вниз, к земле».

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник прибрежный долу клонишь?
А. С. Пушкин

"О ветер-ветрило!.. Зачем мечешь ханские стрелы на воинов моего *лады* ?

...О Днепр-словутич! Принеси моего *ладу* ко мне, дабы я не оплакивала его по зорям!

...Светлое и пресветлое солнце! Зачем ты палишь горячими лучами воинов моего *лады* ?"

Тут везде слово «лада» означает «любимый», «муж». Но оно и вообще значило «милый сердцу». У А. К. Толстого в одном из стихотворений говорится:

Порой веселой мая
По лугу вертограда,
Среди цветов гуляя,
Сам-друг идут *два лада* .

Толстой стилизует речь, подражая языку Киевской Руси, и у него здесь «лада» значит «влюбленные», «милые», «жених и невеста». Так удивительно ли, если любящие матери нашей древности называли своих маленьких «чад» «ладами» или «ладушками»? А тогда ясно, что детская песенка, доставшаяся нам от тех времен, означает просто: «Милые детушки, где вы были? — У бабушки!» Вот, оказывается, из какой глубины прошлого дошли до нас ее слова: а мы-то думали, что их чуть ли не сегодня изобрели младенцы, научив заодно им и своих родителей!

Ясно, что теория, по которой человеческий язык создан из детского лепета, не заслуживает большого внимания. Кое-какие детские словечки («ням-ням», «бяка», «мама», «папа») живут в каждом «взрослом» языке. Но их в нем очень немного, и родились они не до создания «взрослого языка», а после него. Их создали, приспособляясь к ребяческому лепету, родители и воспитатели; малыши очень редко говорят друг другу «пойдем тпру-а» или «будем баиньки». Это не детский, а скорее мамин и бабушкин язык.

Значит, и «вау-вау» теория и «ням-ням» теория не удовлетворили нас. Осталось познакомиться с третьей такой теорией. Ее, равняясь по первым двум, можно было бы насмешливо окрестить, скажем, «ух-ух» или «брр-брр» теорией. Но в науке она носит важное название «теории произвольных выкриков».

ТЕОРИЯ НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫКРИКОВ

О чем она говорит?

Человек неожиданно коснулся накалившегося предмета. Отдернув руку, он **непроизвольно** вскрикнул: «Ой!» Вскрикнет русский, вскрикнет негр, таджик, чукча, англичанин или полинезиец. Закричат обязательно, помимо воли.

При этом вряд ли кто-нибудь из них разразится хохотом или произнесет нечто вроде «тюрю-тюрю!». Все одинаково выкрикнут: «Ой!», «Ах!», «Ох!», «Уф!» Очевидно, именно эти восклицания **естественны**, свойственны всем людям, где бы они ни жили.

От чрезмерного холода все мы содрогаясь: «бррр!». Жара вызывает возглас наподобие «фффу!». Это не зависит от нашего **намерения**, приходит на язык **само собой**, у всех одинаково.

Так, может быть, следует думать, что примерно такие же **непроизвольные выкрики** и послужили тысячелетия назад первой основой нашего языка?

Древний человек кинулся в реку и вдруг закричал? «бррр!». Остальные, **слыша это**, поняли: «Эге! Вода-то холодновата!» — и уже осторожнее лезут в нее. Очевидно, возглас «бррр!» **что-то значит**. Так почему же не воспользоваться им, чтобы **всегда** сообщать другим свое ощущение холода? Почему **непроизвольный выкрик** не превратить в **слово**, употребляемое уже **произвольно**?

Если было так, язык, вероятно, и родился бы из подобных полувздохов-полустонов, из тех «ахов» и «охов», от которых человек, безусловно, не мог удержаться, даже когда был еще «безъязычным» существом. Но так ли это?

Этому можно было бы поверить, если бы нам доказали, что слова, обозначающие сильные непроизвольные чувства, одинаковы во всем мире, у всех людей. Но этого как раз и нет.

Даже наиболее обыкновенные междометия, те самые, которые прямее всего эти чувства

выражают, и они в различных языках совершенно не похожи друг на друга.

Наше обыкновеннейшее «ну» будет звучать:

По-французски
э-бьен!

по-английски
уэлл! (или: уай!)

у турок
хайли́ (или я!)

в киргизском языке
койчу́ (или: бол!)

Смех — один из самых произвольных выкриков человека: попробуйте-ка не смеяться, если вас смешат!

Однако наш глагол «смеяться», «хохотать» на другие языки переводится так:

по-французски
рир

по-немецки
ла́хен

по-английски
лаф

по-турецки
гюльме́к

по-киргизски
каткыруу́

по-японски
бара́у

по-фински
на́ураа

и так далее

Попробуйте отыщите в этом пестром разнообразии следы первоначальных, будто бы общих у всего человечества «выкриков»!

Сто́ит заметить и еще одно интересное обстоятельство: понятие «смех» будет на разных языках передаваться такими словами:

по-русски — смех
по-французски — ри
по-польски — съмех
по-итальянски — ри́за
по-чешски — смих
по-румынски — рыс
по-болгарски — смях и смех
по-испански — ри́са

Почему-то у одной группы народов эти слова между собой схожи. Схожи они и у народов

другой группы. А вот между этими группами ничего общего нет.

Как это объяснить? Может быть, русские, чехи и поляки смеются похоже друг на друга, но совершенно иначе, чем румыны, французы или испанцы? Но ведь это неверно: смех действительно одинаков у всех народов земли!

Значит, дело вовсе не в этом. Просто у одних, близких между собою по языкам, народов слово «смех» образовалось от одного корня, у других — от совершенно иного. А к звукам самого «непроизвольного выкрика» — хохота — ни то, ни другое слово не имеет ни малейшего отношения. Между звуками «ха-ха-ха» и словами «ри́за», «смех», «каткыруу́» связи не больше, чем между словом «лев» и рыжей шкурой этого зверя или его хвостом с кисточкой.

Нет, видимо, и эта «теория» ничего не объясняет нам в важном вопросе — откуда люди взяли свой язык.

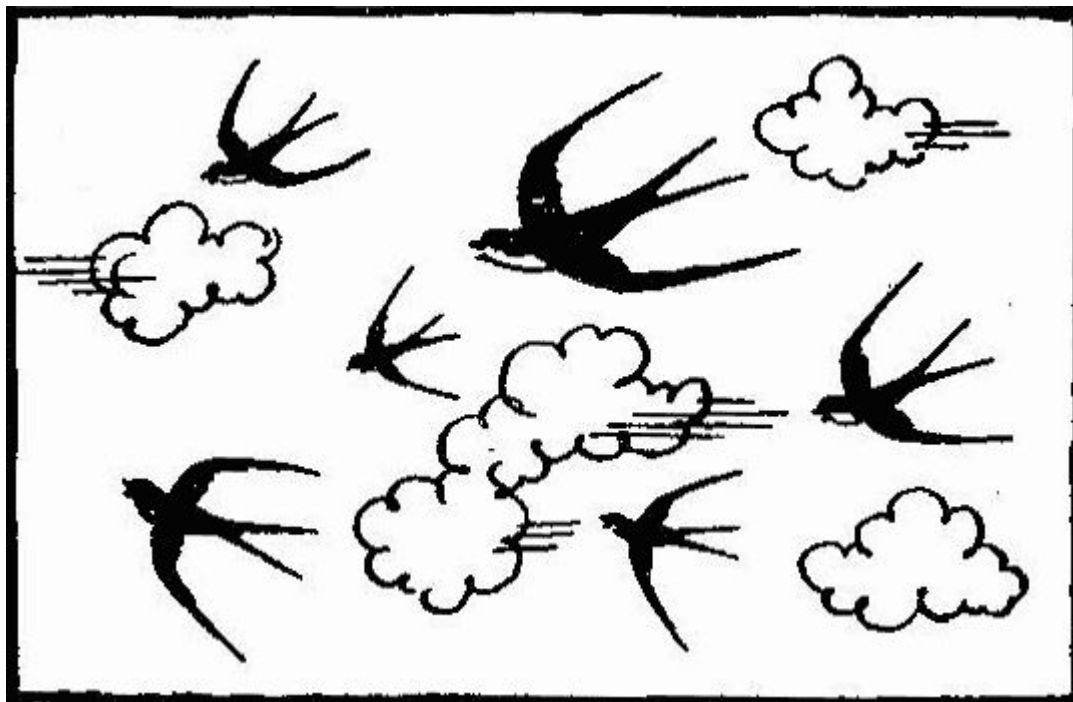
Да и на самом деле, все три теории, с которыми мы познакомились, стоят на том, что язык создан **самой природой человека** или взят им из **природы**, его окружавшей. Это **природные** теории языка.

Но «природа» везде и всюду одна. Птицы и звери кричат всюду одинаково; малыши «гу́лят» и «ува́кают» в Азии, как и в Европе; люди смеются, плачут, отфыркиваются и на мысе Доброй Надежды точно так же, как на Новой Земле. А говорят они везде по-разному. Почему же это?

Звуки природы слышат и звери. Их детеныши тоже бормочут что-то по-своему. От боли издают «непроизвольный выкрик» и кошка и лягушка. Так почему же из всех живых существ только один человек сумел превратить эти «дразнилки», «ахи», «охи», детский лепет и плач в нечто величавое и могучее, в свой язык?

Видимо, самого главного все эти теории не объясняют. Они идут к решению загадки по неверному пути. А правильный путь известен нам: его еще в прошлом веке наметили перед нами великие мыслители и ученые Маркс и Энгельс.

Глава 3. ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНОЕ



ЛЮДИ И ЛАСТОЧКИ

*Сболтнул бы коток,
Да язык короток...*

Пословица

Землю населяет множество живых существ. Из них только человек обладает даром речи. Человек может мыслить, то есть логически рассуждать. Другие животные — нет. Почему между ними такая разница?

Видимо, млекопитающее «человек» чем-то отличается от остальных своих сородичей. Есть какое-то существенное различие, которое сделало его существом особенным, говорящим и думающим; возвысило его над всеми, позволило стать господином природы. В чем же оно заключается?

Выяснив это, мы поняли бы, почему **только** человек создал для себя язык. И мы можем понять это, потому что наши великие учителя, основатели марксистской науки, указали нам правильный путь в решении этой задачи.

Перенесемся на юг, в украинские степи, во времена Тараса Бульбы или Богдана Хмельницкого. Уже тогда люди сооружали там из глины, смешанной с соломой и навозом, беленые украинские хатки. Те самые, которые потом прославил Гоголь, воспел Шевченко, увековечили на своих картинах многие художники.

Люди строили эти хатки, а под застрехами соломенных крыш милые птички ласточки из той же глины, с примесью такой, же соломы лепили полукруглые ковшички своих гнезд. Люди и птицы работали рядом и, на первый взгляд, трудились совсем одинаково.

Прошло три-четыре века. Правнуки и праправнуки тех, кто терпеливо смазывал над старым Днепром жилища из глины, возводят в тех же местах гигантские корпуса из железа и бетона. Люди остались людьми, а их труд и то, что они создают при помощи этого труда, изменились до неузнаваемости.

А ласточки? И сейчас, как четыреста, как тысячу четыреста лет назад, они носятся вокруг человеческих построек. И сегодня они прилепляют к их карнизам свои гнёзда — точь-в-точь такие, как во времена Бульбы. Ничто не изменилось ни в самом их «труде», ни в его результатах. Ничто — решительно ничто! — не стало другим и в самих веселых птичках. И не станет другим, пока ласточки остаются ласточками или пока натуру их не начнет властной рукой преобразовывать человек. Почему это так?

Ласточки бывают разные. Касатка, знакомая всем, прилепляет глиняную корзиночку под стрехами деревянных изб.

Береговушка вырывает, как крот или землеройка, глубокие — рукой не достанешь дна — норы в глинистых обрывах по берегам рек.

Обе птички — великие мастерицы в своем ремесле: одна — «скульптор», другая — «землекоп», «шахтер».

Но вот что любопытно. Поселите береговую ласточку там, где нет крутых речных берегов. Она не выведет птенцов, перестанет размножаться. Тысячи раз на дню проносясь мимо удобных гнезд, которые построили из «подручной» глины ее сестры-касатки, она никогда, ни в коем случае не попытается подражать им, не поступит так, как они.

И наоборот: деревенская касатка, лишенная мягкой и липкой грязи, погибнет без дома, но ни за что не попробует перенять у сестры-береговушки ее умение рыть теплые норы-пещеры; в лучшем случае она поселится в одной из готовых.

А человек? Человек — дело другое.

Жители степного юга веками строили себе домики из глины. Но, переселившись в таежные сибирские места, они тотчас наловчились рубить здесь деревянные избы. Можно сказать, что из ласточек-касаток они как бы превратились в дроздов и малиновок, которые вяют гнезда из стеблей и прутьев.

Перебросьте степняка в гористую местность, и он выроет себе пещеру, как береговушка. Поселите его среди льдов Арктики — он начнет возводить чумы из снега и будет прятаться в них от бурь, как полярная куропатка. Совершенно ясно, что между работой человека и деятельностью животных есть существенная разница. В чем же она заключается?

Различий тут, по меньшей мере, три: одно — сравнительно простое, два других — много сложнее.

Почему касатка строит гнезда, применяя глину, смешанную со слюной? Потому, что **сама природа** снабдила ее нужными для этого слюнными железами. Копать норки она не в состоянии: ее лапки и клюв не годятся для «шахтерских» работ. Если бы ей даже очень захотелось порыться в земле, из этой попытки ничего не вышло бы.

Береговая ласточка, напротив того, без труда может высверлить пещеру метровой глубины, но не имеет ни капли клейкой слюны, чтобы сцементировать ею глину гнезда. Если бы какой-нибудь гениальный береговик и построил такую глиняную чашку, она раскисла бы и развалилась от первого же дождя. Выходит, что обе птицы получили необходимый им инструмент от природы и никак не могут заменить его ничем другим. Переучиться, переквалифицироваться они не могут, пока не изменится их природа, пока они не перестанут быть самими собою.

Человек же сегодня шьет кружевное платье тончайшей иглой, а завтра колет полено тяжелым колуном или плющит железо кузнечным молотом. Не природа снабдила его и тем и другим орудием; он сам приготовил их для себя при помощи единственного природного орудия — своей руки.

Вот очень важное отличие труда человека от тех «работ», которые выполняются животными. Человек трудится при помощи орудий, которые изготавливает сам себе по своему усмотрению и потребностям, а животные действуют только теми органами, какими их снабдила природа.

Поэтому человек может сегодня вырыть яму, завтра срубить дерево, потом замесить тесто. А береговая ласточка способна только копать. Очень хорошо копать, но только копать. Вчера и сегодня, завтра и всегда. Ни — одного орудия она изготовить не умеет, и никакое иное дело выполнять не способна. Ее «труд» уже тем отличается от труда человека, что не меняется, не совершенствуется даже за миллионы лет, пока не изменится сам организм животного.

Вот если под влиянием внешних условий сама природа данного животного станет другой, тогда у животного этой новой породы могут появиться и новые инстинкты. Оно начнет вести себя по-новому, и в естественных условиях будет вести себя так новые тысячелетия, пока для него не настанет пора следующих перемен.

Правда, мы знаем теперь, что даже самые прочные врожденные побуждения — те, которые заставляют котенка гоняться за клубком, щенка долго кружиться на месте перед сном, ласточку заниматься лепкой, а береговушку превращаться в птицу-шахтера, — что даже они не неизменны, не вечны. Перемена внешних условий, среды, созданная природой или властным вмешательством человека, может постепенно переделать и их.

Мы наблюдаем такую переделку при приручении животных. Дикий кот, попав в капкан, умрет с голоду, не издав ни звука; всякий шум с его стороны привлек бы к нему внимание более сильных хищников. А домашний, застряв в узкой щели, будет громко вопить, призывая на помощь: и он и его предки давно уже перестали бояться хищников, привыкли к людской защите. Поведение прирученной кошки резко изменилось.

Но даже тут, под этой мощной защитой, на такое изменение потребовались тысячелетия: и сейчас кошки дичают очень легко. Насколько же медленнее, и то только лишь при очень благоприятном стечении обстоятельств, такая перестройка врожденных побуждений может произойти в условиях дикой природы! А ведь в жизни животных именно эти побуждения — в науке их именуют инстинктами — определяют очень многое.

Что же они собою представляют?

ИСКУСНЫЕ НЕУЧИ

Видали ли вы когда-нибудь только что вылупившегося из яйца утенка? На него очень сто́ит посмотреть.

Вот птенец, высиженный к тому же не уткой-матерью, а машиной — инкубатором, только что разбил скорлупку яйца. Его посадили в теплое место. Он обсох и слегка попискивает.

Возьмите таз или ванночку, налейте туда тепловатой воды и осторожно пустите на ее поверхность пушистого крошку, которому от роду полчаса.

В тот же миг он заработает перепончатыми лапками, точь-в-точь как взрослая утка,

пускающаяся в свое тысячное путешествие. Точно как она, он отхлебнет клювиком немного воды, вильнет хвостиком, которого почти и увидеть нельзя, и поплывет. Кто учил его этому? Никто. Вот счастливец!

Припомните, как вас самого учили плавать. Труда и неудач было очень много.

Я учился плавать так:
Первым делом снял башмак;
Сел на камешек сырой,
Посидел и снял второй...
Нынче только окачусь, -
Плавать завтра научусь!
Вот люблюсь на закат...
Вдруг идет мой старший брат.
И кричит мой старший брат:
«Прыгай в воду, говорят!»

В. Лифшиц

Описано довольно точно.

Лишь мало-помалу, переходя со ступени на ступень, вы под руководством старших овладели этим искусством. Сначала вы барахтались в воде «по-собачьи», потом поплыли саженками, а вот теперь зато демонстрируете в бассейне и кроль, и брасс, и баттерфляй. И через год рассчитываете побить множество рекордов, превзойти других пловцов.

Прирожденный же пловец, тот утенок или гусенок, стал уже давно умудренной жизнью птицей, отцом целого водоплавающего, перепончатопалого племени. Но и сегодня он плавает точно тем же способом, как в первый день своего существования. Тогда он плыл не учась и с тех пор ничему действительно новому не научился. И не научится¹⁸. Он искусный неуч. Его руководителем был инстинкт, вашими учителями — ваш разум и другие люди.

Появившись на свет, я не умел ни вязать рыболовные снасти, ни лепить из глины кринки для молока. Но если мне это понадобится, я, как Робинзон Крузо, научусь и тому и другому. Сначала я буду, конечно, работать хуже моих учителей, потом могу сравняться с ними и, может быть, даже перегнать их. Кто знает: возможно, я даже усовершенствую их мастерство!

А вот паук-дитя, вчера появившись на свет, уже умеет плести сети не хуже самого опытного паучища, съевшего на своем веку множество мух. Пчела, выйдя из куколки, начинает лепить ячейки или готовить воск не менее искусно, нежели престарелые крылатые мастерицы ее улья.

Но сколько бы они ни прожили на свете, юная пчелка и начинающий паучонок, **никогда они не перегонят старших**. Никогда ни один из них не придумает в своей работе ничего существенно нового. Никогда не начнет делать «то же самое, да не так».

Животные — искусные неучи. Их «трудом», который даже не заслуживает этого гордого названия, управляет в основном не тот разум, что руководит нашей трудовой деятельностью, а совсем другая природная способность. Это и есть **инстинкт**.

Не следует думать, что в жизни человека инстинкт не играет никакой роли. Когда вы родились, вас тоже не надо было учить сосать

¹⁸ Если он родился нырком, он, будет нырять при первой же надобности. Если пеликаном, даже смертельная опасность не заронит его под воду: этого он не может, хотя, казалось бы, научиться мог довольно легко.

соску или вопить, чувствуя боль. Каждый умеет это делать инстинктивно, то есть без обучения, и притом ничуть не хуже, чем делали то же самое далекие наши предки. Нехуже, но и не лучше. Точь-в-точь как они!

Но всему остальному мы **учимся** у других, учимся при помощи разума. Именно потому мы можем не только сравняться с нашими учителями, но и намного перегнать их. Советский молодой летчик летает сейчас много лучше, чем умели, это делать ветераны авиации 1915 года. Современный инженер строит водопроводы куда искуснее, нежели все талантливейшие строители Древнего Рима. А ведь именно они были учителями его учителей.

Значит, второе важное отличие нашего труда от того, что мы называем «трудом» животных, состоит именно в этом: они «работают» инстинктивно, а мы, люди, разумно. Им. незачем **учиться**, а нам необходимо. Учиться же возможно, только **общаясь со своим учителем**, получая от него указания и понимая их. Вот это как раз для нас особенно важно.

ПОЧЕМУ НЕ ГОВОРЯТ МУРАВЬИ?

Паук живет и, если хотите, «трудится» в нелюдимом одиночестве. Он сам, один, сердито плетет сеть, — сам ловит мух. И ест их он тоже один, без сотрапезников. Если паук-крестовик встретит какого-нибудь домового паука, разговаривать между собою им будет не о чем: просто один из них постарается схватить и съесть второго. Да и с ближними родичами крестовик поступает столь же некрасиво. «Пауки очень неуживчивы, — пишет Брем. — Мало того: мелкий паук хорошая добыча для более крупного. Исключение не делается даже самкой для самца...»

Довольно понятно, что этим свирепым отшельникам язык совершенно не нужен, сколько бы они ни «трудились». С кем будет делиться крестовик теми злыми «мыслями», которые приходят ему в голову, пока он сидит в центре своих тенет? У него нет языка. Нет у него, конечно, и никаких «мыслей».

Не нужен язык и много более развитым животным-одиночкам: зверю льву, птице орлу. Охотятся, строят гнезда, защищают детенышей они **инстинктивно**, ни о чем друг с другом не совещаясь и не сговариваясь. Учить друг друга, вразумлять один другого им тоже не приходится. Их простые естественные чувства — гнев, боль, нежность — легко выражаются ревом, стоном или мурлыканьем без всяких слов, без какого-либо языка.

Да, но ведь есть же животные, ведущие **стадный образ жизни**. Миллиардными стаями летает и ползает саранча, плавают сельдь, бегут по тундре пеструшки-лемминги, путешествуют антилопы, совершают свои перелеты птицы. Им как будто не помешало бы овладеть языком. Им переговоры были бы полезны: ведь они живут дружными обществами.

Нет, это только кажется. Понаблюдайте за колонией ворон в весенней роще или за ласточками, поселившимися под одной кровлей, и вы убедитесь, что они живут **рядом, но не вместе**. Никто не видел, чтобы две вороны сговорились и притащили совместно хотя бы один прут размером побольше себя на гнездо. Никогда не бывало, чтобы две или три серые пары вздумали совместными усилиями соорудить одно общее, более удобное жилище¹⁹.

Иногда невнимательный наблюдатель ошибается. Вот в тропиках живет птичка — «общественный ткачик», Колонии ткачиков строят себе нечто вроде гигантского города, на сотни гнезд под одной крышей. Но орнитологи давно установили: ткачи — истые одиночники: каждая пара строит только свое гнездо; эти гнезда сливаются в общее сооружение не по воле птиц, а просто от тесноты.

¹⁹ Я неоднократно видел, как тонули в болотах попавшие в трясины коровы или лошади. Несчастное животное гибнет, а все стадо в десяти метрах равнодушно щиплет траву или тупо переваривает жвачку... Какая уж тут взаимопомощь!

Вот лепит гнездышко пара наших ласточек. Кажется, они работают по умному сговору, по точному плану. Иначе как же получается у них обязательно чашка слетным отверстием в одном боку? А на поверку оказывается, что это ничуть не зависит от воли и сознания птиц. Самка и самец начинают и кончают работу в одно время; но более беспечный самец никогда не успевает принести столько глины, сколько самка. Она заканчивает свою половину и уже приступает к кладке яиц, а этот лентяй еще не довел дело до конца, но один уже не способен трудиться. Вот и остается кусок недоделанный — как раз на вход в гнездо.

Есть, наконец, совсем особые существа, каких на земле очень немного: пчелы, муравьи, термиты. Эти как будто непрерывно работают: недаром и пчелу и муравья издавна люди считают образцами трудолюбия. Трудятся же они всегда **вместе** и только **вместе**; пчела, выселенная из улья, погибает, даже не попытавшись построить для себя «частную» восковую ячейку. Вот уж кому, казалось бы, необходим язык²⁰.

Но это неверно. Зачем он им, если каждая пчела и любой муравей с минуты рождения и вплоть до смерти великолепно делают именно то, что они должны делать, и никогда не пытаются делать ничего другого? Они просто не способны **ошибаться**.

Молодой пчеле не сто́ит советовать: «Лепи, милая, ячейку вот так-то». Это столь же бессмысленно, как уговаривать озябшего: «Дрожи, дружок, больше спиной». Без вашего совета каждый, кому холодно, будет дрожать, как все. Вот и пчела будет лепить свой воск точно так, как нужно: иначе она **не может его лепить**.

Муравей, увидев травяную тлю впервые в жизни, ни у кого не станет спрашивать, что́ с ней полагается делать, а сейчас же начнет «доить» ее сладкий сок так, точно он прочитал много лучших книг «по доению тлей». **Он не способен не доить** тлей. Он не может доить их как-нибудь иначе. Никогда не попытается проделать то же с каким-либо другим насекомым. Все муравьи миллионы лет доят только тлей, и притом совершенно одинаково. Так о чем же им друг с другом сговариваться?

В совершенно ином положении находимся мы, люди.

С тех пор как косматые, обросшие шерстью обезьяноподобные предки наши впервые спустились с вершин деревьев на землю, встали на задние лапы, освободили передние конечности для работы и, собравшись целой ордой, убили совместными усилиями первого крупного зверя, поймав его в яму-ловушку, — с тех древнейших пор человек живет и трудится **совместно с другими людьми**.

Вырыть западню для клыкастого мамонта, натаскать на берег брёвна и устроить помост для своей свайной деревни, срубить часть леса и распахать землю, выжечь и выдолбить ствол громадного дерева на ладью-однодеревку — все это можно совершить не **в одиночку**, а только **совместно**.

Этого мало: какой-нибудь «муравьиный лев», причудливое насекомое наших сосновых лесов, тоже роет в песке ловушки для муравьев, и роет их весьма искусно. Но он делает это инстинктивно, как делал всегда. А ведь предки человека **раньше не рыли** никаких ловушек, а потом **начали их рыть**. Никакой прирожденный инстинкт не мог подсказать им, как это надо делать. Нужно было, чтобы один из людей **задумал** такое нововведение, а другие **узнали его мысли**, поняли их и научились помогать ему.

Для этого необходимо **общаться**. Чтобы сегодня охотиться на зверей, завтра собирать запас корней, а через две недели отвалить огромную скалу, закрывающую вход в новую пещеру, надо **всякий раз по-новому** согласовывать и сочетать действия многих людей.

Совместность, или, как говорят точнее ученые, **социальность**, человеческого труда и

²⁰ Наука о пчелах за последние десятилетия обнаружила очень интересные явления. Возвращаясь со взятка, пчелы исполняют в улье своеобразный танец со сложными и изменчивыми фигурами. По этому танцу остальные работницы улья точно узнаю́т, куда и как далеко надо лететь за медом. Казалось бы, вот вам особый язык, язык жестов. Казалось бы, вот явное проявление «ума» животных. Но автор отличной книги о пчелах И. Халифман совершенно справедливо пишет: «Пчелы выглядят... очень „умными“, впрочем... немного больше, чем собака, страдающая от глистов и инстинктивно поедающая глистогонное растение черныбыльник, которое она находит среди множества других». Нет, танцы пчел не язык: никаких «мыслей» они не передают. Это инстинкт, слепой и бессознательный, хотя в то же время очень сложный и точный.

является тем важнейшим третьим условием и свойством, которое отличает его от «работы» всех остальных животных. Люди работают не только рядом, но и объединенно. Более опытные поучают начинающих: одни просят поддержки, другие, узнав об этом, приходят им вовремя на помощь. Цели и условия труда меняются; каждый раз приходится действовать по-иному. Возникают стремления, которых совершенно не знают даже записные работяги из мира животных: облегчить труд, ускорить его выполнение, улучшить качество того, что выделяется или сооружается. А все это возможно лишь в том случае, когда каждый работник знает, что хотят сделать и что делают его товарищи.

Общение во время труда, необходимое для человека, и отличает более всего остального его труд от «труда» животных. А для общения необходим язык. Совершенно ясно поэтому, что **язык** и должен был появиться у человека в связи с его трудом, который, начавшись с самого простого, медленно, но неуклонно усложнялся и как бы вырастал. И у нас есть все основания думать, что язык родился из тех необходимых для работы восклицаний, из тех возгласов и отрывочных звуков, которыми люди с самых ранних пор обменивались, занимаясь своими тяжелыми в те времена трудами. Возгласы эти никак нельзя смешивать с «непроизвольными выкриками», о которых шла речь выше. Каждый из нас «ахает» от испуга или стонет от боли и на людях и наедине с собой. Это происходит действительно «непроизвольно». Но никто не закричит в полном одиночестве «эй-эй», никто не шепнет скрипучему дереву «тсс», не крикнет «тпрр» стремительному потоку. Все это восклицания, заранее предполагающие собеседника, слушателя, соучастника в совместном деле, который должен их услышать и на которого они должны так или иначе подействовать. Их выпускают только для того, чтобы слышащий сделал что-то, в чем-то изменил свое поведение. Они и дали начало языку.

Подведем итог всему, что сказано.

Среди всех животных мира одно-единственное — человек — в свое время резко перестроило свою жизнь. Обезьяны остались жить на деревьях, а предки наши спустились с ветвей на землю. Они выпрямились, приняли новое, вертикальное положение. Их передние ноги превратились в свободные от грубой работы — ходьбы — руки, в первое орудие труда, способное служить для изготовления других, уже искусственных орудий. Изменилась и грудная клетка человека; иной стала и его гортань; они как бы подготовились к своей будущей особенной работе; они получили возможность постепенно стать не только органами дыхания, но и органами речи.

После того как это произошло, человек смог заняться не тем **единственным** делом, к которому его **предназначила природа** (как обезьяны занимаются только сбором всего съедобного), а многими разными делами, любыми, по его желанию и надобности.

Меняя орудия, которые ему служат, он теперь мог свободно менять и характер своего труда: из землекопа становиться рыболовом, из рыболова — дровосеком или каменщиком. Он начал сам себе создавать по мере надобности то «лапы» крота, то «клюв» дятла, то «когти» скопы-рыболова, то «клыки» льва или запасливые «защечные мешки» крысы-сенооставца.

Этого мало: дятел или скопа не могут усовершенствовать свой клюв-долото или свои лапы-остроги. А человек получил возможность улучшать результаты труда, совершенствуя искусственные органы — орудия. Он приобрел способность учиться новым видам труда, употребляя новые орудия. Сразу, одним ударом, он захватил в свою власть все то богатство работ, которые могли выполнять животные самых различных видов, семейств и пород. Одновременно он научился быть и пауком, плетущим сети, и осой, лепящей из глины сосуды для меда, и древоточцем, гравирующим хитрые ходы на древесине, и тигром, убивающим буйволов, и термитом, возводящим огромные и сложные постройки своих «городов». Он стал человеком.

И если до этого ему, как и его остальным родичам, все еще неплохо служил инстинкт, теперь потребовался новый наставник. Инстинкт не поможет тому, кто всю жизнь рубил топором, овладеть пилой или буравчиком. Сделать это способен только **разум**.

И разум родился. Он родился, конечно, не в голове у того или другого из людей. Он вырос за долгие тысячелетия в головах множества представителей человеческой породы. Люди создали свой разум тем, что трудились. Труд немыслим без руководства разума, но и разум не может родиться без труда.

В то же время оба они, разум и труд, не могли бы стать тем, чем они являются сейчас, без третьего соучастника этого великого дела — **без языка**.

Ненужная зверю способность — язык — оказалась необходимой человеку. Вот ее и создал человеческий, совсем особенный, осуществляемый не в одиночку, а целым обществом, совместный труд.

«Сначала труд, а затем и вместе с ним — членораздельная речь...» — так точно и сильно выразил эту замечательную истину великий мыслитель Фридрих Энгельс.

ГОЛОС ИЛИ РУКА?

Вот только что мы с вами старались представить себе, как в мире родился человеческий язык. Мы узнали: он был создан трудом. Но можно задать себе новый вопрос: а какой именно язык?

Станный вопрос! Очевидно, тот, которым и мы сейчас пользуемся: «уменье, издавая звуки (помните Куприна?), выражать свои мысли: способность, слушая эти звуки, понимать мысли другого». Разве есть еще какие-либо иные формы или виды языка? Разве они существовали когда-нибудь? Разве, наконец, они возможны?

Двести лет назад М. В. Ломоносов писал:

«...кроме слов можно было бы мысли изображать через разные движения очей, лица, рук и прочих частей тела, как пантомимы на театрах представляют...» Соглашаясь, что такой мимический язык был бы неприменим в темноте, неудобен во время работы, когда руки заняты, Ломоносов всё же считал его существование теоретически возможным.

Казалось бы, очень логично. Но лет сорок назад известный советский лингвист Н. Я. Марр выступил с теорией прямо противоположной. По Марру человечество начало именно с жестового («ручного», как он его называл) языка; много тысячелетий люди и не знали другого, и звуковая речь появилась на целые эпохи позднее, когда «ручной язык», превратившийся уже в сложную и развитую систему, начал не способствовать людям в их движении вперед, а, наоборот, затруднять его. Звуковая речь как бы заменила своего старшего брата, «ручной язык»; впрочем, его можно было бы с этой точки зрения счесть и ее отцом: звуковая речь как бы постепенно выросла из языка жестов, сохраняя в себе многие его черты.

Одно время эта гипотеза Марра пользовалась успехом. Позднее она была подвергнута резкой критике. Теперь лингвисты нашей страны твердо убеждены, что «дело началось» не с «кинестического» («ручного») языка, а непосредственно со звукового. Язык жестов никогда не был самостоятельной системой передачи мыслей от человека к человеку. Как и сегодня, даже в самой глубокой древности движения рук, мимика лица только сопутствовали речи звучащей, были ее верными, но скромными помощниками.

Возникает вопрос: а почему это так произошло? Что, какие-нибудь нерушимые законы природы делают вовсе невозможным возникновение не связанных со звуками способов сообщать друг другу внутренние переживания и мысли? Или можно допустить — пусть на какой-либо другой планете, в иных условиях — существование живых и разумных существ, общающихся не с помощью звуковых волн, а иначе, действуя не на слух, а на зрение, осязание или даже обоняние «собеседника»?

Вопрос не очень простой. Мне случалось встречать товарищей, считавших самую его постановку чем-то неправильным и антинаучным. «Где нет звуковой речи, — утверждали они, — нет и не может быть никакого разговора о „языке“. Даже писатель-фантаст не вправе воображать себе такое!»

В то же время другие недоумевали: почему, собственно, невозможен хотя бы тот же марровский «ручной» язык? Даже мы сейчас постоянно жестикулируем говоря, из желания придать своей речи выразительность и яркость. Есть народы, особенно из числа южан, которые вообще не умеют разговаривать, не размахивая руками: в одном романе двадцатых годов молодой египтянин или сириец Гоха, впервые столкнувшись с европейцами, составил себе о них очень нелестное представление: его раздражало, что те, даже споря, совсем не производили никаких жестов; ему было тяжело, неудобно беседовать с ними, — эта неподвижность казалась ему противоестественной. Так нам с вами кажется неприятной брюзгливая манера говорить не

разжимая губ...

А впрочем, что́ рассуждать о пустяках: каждый из нас видел сто раз, что глухонемые по целым часам объясняются друг с другом, не произнося ни единого слова; и ведь они прекрасно понимают друг друга. Если это не «ручной» язык, то что же это такое?

Вопрос запутался; необходимо разобраться в этих противоречиях.

Прежде всего; когда советские лингвисты осудили гипотезу Марра, их не интересовал вопрос — мог ли или не мог теоретически быть созданным незвуковой, — допустим, «ручной» (или какой угодно другой), язык. Они утверждали, что в реальной, фактической истории человечества он никогда не был создан как таковой, как целая,вершенная, самостоятельная система. Что говорить о том, что могло бы быть, если на деле этого не было? А всё, что нам известно о прошлом людского рода, доказывает: никогда язык жестов не существовал и не существует сам по себе; всегда он является, как и являлся, лишь скромным помощником другого языка, звукового. Могло ли случиться иначе? Может быть — да, может быть — нет; важно лишь то, что этого не случилось в действительности и, утверждая обратное, Марр ошибался.

Если поразмыслить, не увидишь в этом ровно ничего странного. Человек, еще не став существом говорящим, обладал, кроме рук, ног, глаз, еще ушами и голосовыми связками. Руки, ноги и глаза были ему нужны поминутно для важнейших дел, для труда. И когда возникла надобность найти среди органов человеческого тела такие, на которые можно было бы возложить обязанность **связны́х**, очень понятно, что ее пришлось передать сравнительно более свободным кандидатам.

Хорош бы был наш далекий предок, если бы, возводя свайные постройки, оббивая кремневые голыши для наконечников или охотясь на бурых гигантов — мамонтов, он поминутно отрывался бы от своего — ручного! — дела, размахивал этими самыми руками, мотал головой, гримасничал, да еще отворачивался от добычи, чтобы увидеть, что ему нажестикулируют его собраты! Уже Ломоносов великолепно понимал нереальность такого предположения. *"Однако, — заканчивает он мысль, приведенную в начале главы, — таким образом (то есть жестами. — Л. У.) без света было бы говорить невозможно, и другие упражнения человека, особливо дела рук наших, великим были бы помешательством такому разговору..."*

К этому можно добавить, что сам подобный способ разговаривать оказался бы еще худшим «помешательством» для любого дела, для каждой работы.

Очевидно, мы не можем не видеть того, что заметил великий помор два века назад.

Но значит ли это, что современная наука отрицает начисто самую возможность существования «незвукового» языка? Неужели, если бы люди по воле природы не обладали ни голосом, ни слухом, то им бы так и не удалось стать людьми, пришлось бы навек остаться жалкими безязыкими существами, неспособными так или иначе «сказаться душой»?

Вовсе нет. Само собой, обладай человек не одной парой рук, а двумя или тремя, имей он, кроме своих пяти человеческих органов чувств, еще одно-два (роскошествуют же рыбы, летучие мыши, некоторые насекомые, пользуясь какими-то загадочными для нас «локаторами», так называемым «шестым», «седьмым», каким угодно чувством), будь его природа еще более щедро наделенной, — он, весьма возможно, пошел бы по совершенно иному пути, создавая свое орудие общения. Можно представить себе мир, где у высокоразвитых существ имеется где-либо на лбу участок кожи, способный, как кожа хамелеона (но по приказу сознания), менять свою окраску. Никак нельзя ручаться, что такие существа не воспользовались бы этим своим свойством, чтобы создать при его помощи уже не звуковой, а «цветовой» язык, воспринимать «слова» не ушами, а глазами. Можно измыслить десятки других дикушинок, но какой в этом смысл?

Леонардо да Винчи сказал: «Мир полон возможностями, никогда еще не осуществленными!» — а мы с вами заняты не чтением фантастического романа. Мы заняты наукой. Так давайте же исходить в наших рассуждениях не из того, что «могло бы быть, если бы...», а из простых и реальных фактов. Мог или не мог возникнуть самостоятельный и независимый незвуковой язык — дело десятое. Важно то, что на земле, в человеческом обществе, он никогда создан не был.

«Как не был? — скажете вы. — А глухонемые? Разве они не пользуются жестовой, „ручной“, речью? Разве она не единственный, не исключительный способ общения между ними? И ведь при этом ясно, что до нее у них не могло быть речи звуковой; значит, она первая по порядку возникновения, по крайней мере у этой группы людей!»

Можно ли сказать про глухонемых, что они пользуются марровским «языком жестов»? Нет, нельзя; те из них, которые объясняются при помощи рук, обычно не жестикулируют, а как бы пишут в воздухе букву за буквой, слово за словом свои предложения. Из каких же слов эти предложения состоят? Из каких-нибудь особенных, так сказать «глухонемых»? Да нет, из самых обычных русских слов, только изображенных не нашим алфавитом, не нашим письмом, а другой азбукой, состоящей из разных комбинаций пальцев. Но ведь и мы с вами порою прибегаем к тому же: моряки на расстоянии, на котором звучащая речь не доходит, сигнализируют флагами, пускают в ход семафорную азбуку... Телеграфисты постоянно пользуются так называемой азбукой Морзе... В этом нет ничего удивительного и необычного.

Удивительно, скорее, другое: как и откуда могли глухие люди узнать наши слова, слова людей говорящих и слышащих? Да и знают ли они их?

Безусловно, знают: теперь огромное большинство граждан нашей страны, страдающих глухонемой, — вполне грамотные люди. Без всякого затруднения читают они наши газеты и книги, пишут письма, и пишут их не какими-нибудь особыми «своими», а нашими, общеизвестными, «звуковыми» словами. Очевидно, при благоприятных условиях они вполне способны научиться нашему языку. А как?

Они могли бы научиться ему только от людей говорящих. Значит, для того чтобы могло создаться то, что нам кажется «жестовым языком» глухих, необходимо, чтобы до него уже существовал где-то язык звуковой: первый вырос только из корня второго.

Правда, если в жизнь глухонемого ребенка не вмешивается никто, если он вынужден общаться только с себе подобными, то в конце концов он вместе с товарищами создает себе нечто вроде примитивного языка жестов, на котором кое-как можно объясняться в кругу самых простых вопросов: высказывать повседневные желания, делиться самыми несложными радостями и горестями, формулировать какие-то свои, крайне ограниченные мысли. Но «мысли» эти не могут идти ни в какое сравнение с тем, что мы подразумеваем под словом «мысль»; они гораздо беднее, проще, примитивнее; они не способны выразить никаких общих идей, ничего мало-мальски отвлеченного. Недаром учителя глухонемых, так называемые сурдопедагоги, стараются как можно быстрее и решительнее отучить своих питомцев от жестикуляции или, по меньшей мере, свести ее, как и у нас, говорящих, к чисто вспомогательной второстепенной роли, заменив ее совсем другим видом доступного им языка.

В прошлом веке главной задачей сурдопедагога было научить воспитанников пользоваться простейшей «пальцевой азбукой». Многие думают, что и сейчас дело сводится к тому же.

Между тем это далеко не так. Теперь люди овладели искусством передавать глухонемым умение читать наши слова, слова людей говорящих, глазами: по движениям губ того, кто говорит. И не только читать, но и понимать. И не только понимать, но и, в свою очередь, произносить эти слова так, чтобы их понимали другие. Произносить, несмотря на то, что сам ты их не слышишь!

Кроме того, как только это становится возможным, глухонемых у нас обучают обычному нашему чтению и письму. Это несколько труднее, чем обучение нормальноговорящих людей, но все же это отлично удается.

Я думаю, в вопросе о глухонемых основное теперь ясно. Настоящих глухонемых, которые никак, совсем бы, не были приобщены к общечеловеческой звуковой речи, у нас в стране уже не осталось. Они в той или иной форме овладевают ее различными более или менее удобными заместителями, прочно связанными с нею. В своих специальных школах они проходят ту же программу, что и говорящие дети. Иные из них затем успешно поступают в общие вузы и спокойно обучаются в них наряду со всеми.

Они читают в общих библиотеках, смотрят кинокартины (никогда не жалуясь на то, что «звук плохой», если только изображение достаточно ясное); они слушают лекции, которые для них либо читают несколько медленнее, чем обычно, либо переводят на ручную азбуку

специальные переводчики. Советский закон справедливо считает их такими же полноценными гражданами нашей страны, как меня или вас. Но все это, разумеется, только потому, что человечество нашло способы приобщить их к основному орудию нашей культуры, к звуковому человеческому языку.

Мне могут сказать: ну, с языком так. А как же обстоит дело с мышлением таких людей? Отличается оно от нашего или полностью совпадает с ним? О чем думают они? В какие удивительные и причудливые формы отливается, может быть, оно?

Я не могу здесь подробно и ясно отвечать на этот трудный вопрос. Можно сказать одно: конечно, по форме своей, да и по самому характеру своему, мышление глухонемых не может не отличаться от нашего. Нам, говорящим, нелегко представить себе, каким рисуется им мир, даже в тех случаях, когда они сами пытаются поведать нам об этом.

Разве не поразительно, например, что глухонемые, которые отлично понимают вашу речь по движению губ и членораздельно отвечают вам, не имеют в то же время ни малейшего представления, скажем, о музыке или о пении? Скажу больше: вероятно, зал, переполненный благоговейно неподвижными людьми, перед которыми на эстраде еще один человек, не производя никакого заметного эффекта, быстро-быстро перебирает зачем-то пальцами клавиши рояля, а другой странно трет волосатым смычком по безмолвным струнам, представляется им крайне нелепым, может быть, даже неправдоподобным, зрелищем.

Диким кажется глухонемому и занятие насвистывающего мальчугана, мычащей коровы или поющего петуха; понять невозможно, для чего все они делают такие странные и ни к чему не приводящие телодвижения! Зато моментальные фотокарточки, заснятые во время разговора людей, могут произвести на них такое же нелепое впечатление, но уже по прямо противоположной причине: **там мы слышим** звуки, которых они не воспринимают, а **тут до них доходят** те совершенно незаметные для нас звуки, которые фотоаппарат запечатлел навсегда на совершенно немой, с нашей точки зрения, пластинке: сидит человек, и на губах у него застыло вечное, никогда не умолкающее «у-у-у-у» или «м-м-м-м-м». Все это, на наш взгляд, почти непредставимо...

Как же будешь судить о внутреннем мире людей, у которых болезнь отняла почти целиком одну пятую часть воспринимаемого нами внешнего мира?!

Впрочем, мы очень далеко ушли от наших основных тем, и то, о чем я рассказывал вам сейчас, имеет к ним только косвенное отношение.

Однако мы нашли все же точный ответ на основной наш вопрос: противоречие во взглядах науки на вопрос о «незвуковых формах языка» оказалось несуществующим, а теории Марра безусловно ошибочными.

Да, теоретически можно представить себе различные другие виды языка, помимо звукового. Но на практике человечество создало для общения именно этот один полноценный и точный язык — звуковой. Именно он был первым создан в процессе труда и помог труду привести к «очеловечиванию обезьяны». Он сделал людей в полном смысле слова людьми. Он обеспечил создание человеческой культуры со всем, что в ней есть хорошего и что еще остается плохого.

О нем, и только о нем, мы и будем говорить на всех дальнейших страницах этой книги. О звуковом языке. И о человеческом, тесно с ним связанном, мышлении.

КАК ЖЕ ЭТО ИЗУЧАТЬ?

Человек создал язык, а язык отплатил своему создателю сторицей. Он позволил ему развить человеческий мозг, облагородил его, дал возможность думать, бороться и развиваться. Он во много раз облегчил и сделал более плодотворным неустанный человеческий труд.

В конце концов можно сказать без особых преувеличений, что именно он, сын труда — язык, вывел человека в люди.

Случилось это очень давно, бесконечно давно. Нельзя отсчитать известное число лет, даже весьма большое, и определить дату, после которой люди, став существами говорящими, из животных превратились в людей. Невозможно отпраздновать десяти тысячулетьний или стотысячулетьний «юбилей» языка. Нет возможности и почтить памятником его «изобретателя».

Этих изобретателей были миллионы, и работали они над своим замечательным делом огромное число лет. И нам сейчас, как только мы обращаемся к вопросам, связанным с прошлым языка, приходится углубляться в такую даль, и глубь времен, где все теряется в тумане, на первый взгляд непроницаемом.

В самом деле, трудно, но возможно дознаться, как говорили наши предки тысячу лет тому назад. От этого времени остались кое-какие письменные документы. Сохранились записи, сделанные людьми из других стран — византийцами, арабами; они описывали в те самые времена чуждый им, но интересовавший их язык «руссов». Наконец, вполне возможно, что и сам наш народ мог сберечь с того времени — даже не в записи, а в своей памяти — отдельные древние слова, пословицы, прибаутки, сказки, песни... Мы увидим вскоре, что это и на самом деле случается, — ведь между предками нашими и нами тянется вековая, никогда не прерывавшаяся связь.

А вот подумайте: как вы будете восстанавливать язык людей, живших за сотни тысячелетий до нашего времени?

Они не умели писать; ни единой буквы после себя они нам не оставили. У них не было никаких грамотных современников, которые могли бы рассказать что-нибудь про их язык: все их ровесники были такими же, как они, лохматыми, низколобыми варварами. На таких плоха надежда!

Трудно представить себе, чтобы что-то существенное могло дойти от их времени до нас и в самой памяти народов: слишком уж долог, бесконечно долог пройденный с тех пор человечеством путь. Так неужели мы обречены навсегда остаться в неведении относительно всего, что лежит за пределами эпохи письменной речи?

Это было бы крайне печально: самые древние, самые несовершенные письменные знаки, какие известны нам и могут быть прочитаны нами, не древнее пяти — шести тысячелетий. А ведь человек существует на земле как человек уже сотни тысяч лет. Значит, мы можем изучать только ничтожную долю истории языка, жалкие проценты всего этого отрезка времени? По счастью, положение оказывается не таким уж безнадежным, если к нему приглядеться внимательнее.

Прежде всего, о многом мы имеем право заключать по аналогии. Что это значит?

Если я могу наблюдать, как растут и развиваются деревья сегодняшнего леса, как из желудя выбивается росток, как из ростка возникает могучее дерево, как постепенно оно начинает приносить плоды, стареет и, наконец, умирает, я могу положительно утверждать, что так же росли и развивались деревья и в лесах Ивана IV или Владимира Киевского. Вряд ли я сделаю при этом значительную ошибку. Найдя в каких-либо руинах чурбан, срубленный в год крещения Руси, и подсчитав на нем пятьсот годичных колец, я смело буду настаивать: этому дереву тогда было полтысячи лет. И придется признать мою уверенность обоснованной.

Примерно так же обстоит дело и с языком. Мы никогда не видели и никогда не увидим наших прапращуров, людей каменного века. Однако история позволила нам наблюдать в наше время жизнь племен и народов, находящихся примерно на той же стадии развития, которую когда-то проходили эти наши предки. В Австралии, в Африке, в Южной Америке сохранились еще уголки, жители которых до последнего времени не вышли из каменного века. Они стоят или только что стояли на ступени развития, близкой к тому, что наука называет «палеолитом» и «неолитом».

Наблюдая их, мы можем с достаточной долей вероятности переносить эти наблюдения в далекое прошлое, в глубь времен и думать: примерно так жили, говорили, думали, заблуждались и нащупывали истину наши бесконечно давно существовавшие предки.

Конечно, это не очень точный и не вполне бесспорный путь. Но за отсутствием лучшего к нему постоянно приходится прибегать в науке о языке, когда речь идет о самых отдаленных от нас временах. Когда же речь заходит о более близком времени, на помощь выступает удивительное открытие прошлого столетия, то, что называется «сравнительно-историческим методом» в языкознании.

Что это такое? В двух словах этого не объяснишь.. Нам придется посвятить этому методу по меньшей мере несколько глав этой книги. Но предварительно я попытаюсь простым примером, сравнением, может быть, грубоватым, дать понять, о чем пойдет речь.

Ученые, наблюдающие мир животных, находят в нем целый ряд живых существ, то более, то менее близко напоминающих друг друга. Это обезьяны разных видов и семейств, полуобезьяны, или лемуры, и, наконец, человек.

Изучая всех их, зоологи приходят к мысли об их близком родстве. Становится вполне вероятным, что все эти непохожие друг на друга животные произошли от каких-то общих предков; такое заключение возникает, когда сравниваешь между собою различные органы их потомков. Между ними так много общего, что простым случайным совпадением этого сходства никак не объяснишь.

Однако, установив общее происхождение многих видов, мы не можем указать нигде в живой природе их общего предка: его нет. Существа, давшие начало и обезьянам и человеку, давным-давно вымерли, исчезли. Значит, мы не в состоянии и представить себе, какими они были?

Наука показывает, что это не так. На основании тщательного сравнения организмов, животных-потомков, подмечая у них общие черты, наблюдая, как они развиваются, ученые нашли возможным «теоретически восстановить» образ их никогда никем не виданного предка. Мы теперь более или менее ясно представляем себе, каким он был, какой образ жизни вел, какую имел внешность, чем походил на обезьяну и чем на человека. И у нас есть все основания считать, что мы правы в своих заключениях, полученных таким «сравнительно-анатомическим методом».

Метод этот позволяет палеонтологам по найденной кости с достаточной точностью установить, каким было все давно вымершее животное, где оно жило, чем питалось, какими обладало особенностями. И обычно последующие, более полные находки постепенно подтверждают эти сравнительно-анатомические «предсказания».

Но если все это возможно в зоологии и палеонтологии, то почему же нельзя применить подобный же, только уже не «сравнительно-анатомический», а «сравнительно-исторический» метод в науке о человеческих языках?

Да, это в какой-то мере возможно, если только мы установим точно, что, во-первых, между языками людей существует какая-либо связь по происхождению, и, во-вторых, найдем те законы, по каким они живут и развиваются.

Вот об этом-то я и хочу говорить в следующих главах моей книги.

ОБ ИВАНАХ, ПОМНЯЩИХ РОДСТВО

В дореволюционные годы существовало ходячее выражение «Иван, родства не помнящий». В переносном смысле так называли людей без всяких традиций, ко всему равнодушных. Пошло же это выражение от каторжан. Бежавшие с каторги люди, попадая без документов в руки полиции и желая скрыть свое прошлое, все, как один, именовали себя «Иванами», а на вопросы о родичах отвечали, что «родства своего они не помнят». Так, «Иванами, родства не помнящими» и записывали их в полицейские протоколы.

Имя Иван избиралось при этом не совсем случайно: издавна оно считается типичным, характерным русским именем, любимым в нашем народе.

Но ведь в отличие от таких имен, как Борис, Глеб, Всеволод, Владимир, имя это — не русское по своему происхождению. Иваны имеются и в других странах. Правда, наш русский Ваня, встретив своего, скажем, французского «тезку», тоже Ивана, не сразу узнает в нем себя, и наоборот. По-французски Ваня будет Жанно́, а Иван — Жан. Недаром А. С. Пушкин называл Ванюшей известного французского баснописца Жана Лафонтена:

Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!

Странно: между словами Иван и Жан нет как будто ничего общего. Почему же мы должны считать, что именно Жан является переводом на французский язык нашего Ивана? Чтобы понять это, придется попросить Ивана припомнить его родство, и притом очень далекое.

Тысячелетия назад среди малоазиатских иудеев было распространено имя Йехохана́н. На их языке оно означало примерно: «милость божья», «дар бога».

Когда в Палестине возникло, а затем широко распространилось по всему миру новое религиозное учение — «христианство», имена древних «пророков» и «святых людей» стали переходить к другим народам. Вместе с христианской верой имя Йехоханан проникло в Грецию.

Однако звуки этого чуждого грекам слова (особенно его второе "х") оказались трудными для греческого языка. Постепенно греки переделали Йехохана́н в Иоа́ннэс, выбросив неудобные для них звуки и снабдив его окончанием «эс», свойственным греческим существительным мужского рода (имена Перикл, Ахилл греки произносили, как Пери́клес, Ахи́ллес и т. п.).

От греков, через римлян, имя Иоаннэс распространилось по всей Европе, когда она стала христианской. Но если бы вы начали искать его теперь в тамошних справочниках, вы бы не сразу опознали его. Вот как звучит оно на разных языках:

по-греко-византийски — Иоа́ннэс
 по-немецки — Ио́ганн
 по-фински и по-эстонски — Юхан
 по-испански — Хуа́н
 по-итальянски — Джова́нни
 по-английски — Джон
 по-русски — Ива́н
 по-польски — Ян
 по-французски — Жан
 по-грузински — Иванэ
 по-армянски — Ованэ́с
 по-португальски — Жоа́н
 по-болгарски — Он

Вот и угадайте, что Йехоханан, имя, содержащее девять звуков, в том числе четыре гласных, совпадает с французским Жаном, состоящим всего из двух звуков, среди которых гласный лишь один (да и тот «носовой»!) или с болгарским «Он»!

Тем интереснее выяснить, почему это слово в каждом из языков менялось именно так, а не иначе. Что оно случайно у испанцев превратилось в Хуана, а у англичан в Джона, или за этими метаморфозами стоят какие-то основательные причины?

Чтобы судить об этом, проследим историю еще одного, тоже вышедшего с Востока имени, — Иосиф.

Там оно звучало как Йосэф. В Греции это Йосэф стало греческим Иосифом: у греков не было двух письменных знаков для "й" и "и", а древний знак "э", «эта», за последующие века в греческом языке стал произноситься как "и", «ита». В таком виде это имя Иосиф и было греками передано другим народам. Вот что с ним случилось в европейских и ближних к ним языках:

по-греко-византийски — Ио́сиф
 по-немецки — Йо́зеф
 по-испански — Хосэ́
 по-итальянски — Джузе́ппе
 по-английски — Джо́зэф
 по-русски — Осип
 по-польски — Йо́зэф (Юзэф)
 по-турецки — Йосу́ф (Юсу́ф)
 по-французски — Жозе́ф
 по-португальски — Жузе́

Теперь я попрошу вас повнимательнее взглядеться в обе наши таблички, и вы сами убедитесь: изменения, происшедшие с именами, по-видимому, не случайны.

Обратите внимание на начальные звуки этих слов. В обоих случаях исходные имена начинались с «йота» и следующего за ним гласного: «йе», «йо». И вот на месте «йота» мы имеем, тоже в обоих случаях, в немецком языке "й" (Йозэф), в испанском — "х" (Хуан, Хосэ), в английском и итальянском — «дж» (Джон, Джозэф, Джованни, Джузеппе), у французов и португальцев — "ж" (Жан, Жозэф, Жоан, Жузэ).

Если бы такие замены произошли только однажды, мы ничего не могли бы утверждать. Раз они повторились, возникает некое «подозрение». А начни мы проверять его на других именах, результат неизменно оказывался бы тем же самым.

по-латыни — Йулиа Йэронимус

по-испански — Хулиа Хэронимо

по-итальянски — Джулиа Джеронимо

по-французски — Жюли Жеро(ни)м

и так далее. Видно, дело не в слепой случайности, не в «капризе», а в каком-то **законе** : он действует в этих языках, заставляя их во всех случаях одинаково менять приходящие из других языков одинаковые звуки.

Я привел в качестве примера имена собственные, а не какие-нибудь иные слова, только для простоты. Относительно христианских имен легче установить, откуда они пришли и какой путь проделали, переходя из языка в язык. Как же обстоит дело с другими, обыкновенными словами?

Совершенно так же. Звуки, входящие в них, тоже изменяются от языка к языку по определенным и точным законам.

Жила, например, в древнеитальянском (латинском) языке основа «йур» (jur), которая означала «право». Слово «йус» (jus), в родительном падеже «йу'рис» (juris), так и значило — «право». Слово «йура'рэ» (jura'te) — «клясться», «присягать».

Эта римская основа перешла во многие языки. При этом с ней случилось точно то же, что и с именами. Возьмите французское слово «juri» (жюри), испанское «jurar» (хурар, присягать), итальянское «джурэ» — «право», английское «дждж» (judge — судья, эксперт), и вы убедитесь в этом. Видно, нами подмечено постоянно действующее правило, некий закон.

Но ведь это очень существенно. Если только слова **всегда** , переходя из языка в язык, **меняются одинаково** , по одним правилам, из наших наблюдений следуют выводы, крайне важные для науки. Возьмем один живой пример.

Я знаю, что во французском языке есть глагол «жуэндр» (joindre). Он в переводе значит «соединять».

Заглянув в словарь латинского, древнеримского языка, я вижу там слово «йунго» (jungo). Это тоже глагол, и значит он также «соединять», «присоединять». Нет ли между ними родственной связи? Как проверить это предположение? Может быть, французское «жуэндр» только новый вариант старой латинской основы «йунг»?

Если это так, тогда та основа, которая из латыни проникла во французский язык, легко могла пробраться и в другие родственные латыни языки, скажем — в испанский.

Но ведь мы уже видели, что слова, начинавшиеся по-латыни с «йу», в испанском принимали другую форму: «ху». Значит, есть основания искать в испанском словаре какие-то такие слова, значение которых связано с понятием «собираания», а первым слогом является слог «ху».

Ищем и действительно находим. Вот глагол «ху'нтар» (juntar) — «собира́ть», «соединя́ть». Вот существительное «ху'нта» (junta), означающее «собрание», «банда». Есть и другие родственные слова.

Вещь удивительная: не зная испанского языка, мы с вами на основании языковедческого закона «предугадали» наличие в нем определенных слов. И при этом не сделали никакой ошибки.

«Да, это и на самом деле замечательно!» — говорите вы. И все же, соглашаясь со мной, вы даже на десятую долю не можете оценить громадного значения сделанных нами наблюдений. Чтобы понять, каким могущественным орудием в руках науки может оказаться вчерне описанный мною языковедческий закон, нам нужно разобраться в вопросе о похожих и

непохожих словах в различных языках.

СХОДНОЕ И РАЗЛИЧНОЕ

Если бы все слова одного языка походили порознь на слова других языков, было бы совсем просто овладевать чужой речью.

Но на деле-то в разных языках и слова, конечно, разные; это знает каждый.

Однако случается порой в двух совсем различных языках обнаружить слова, очень напоминающие друг друга. Вот, скажем, в арабском языке имеется слово «кахуа». На русский язык его можно перевести как «кофе». Откуда такое совпадение?

Этот случай очень прост. Растение, дающее «кофейные бобы», происходит из палимой солнцем Аравии. Арабы научились использовать его много раньше, чем народы Европы. Впрочем, есть предположение, что кофе было открыто и употреблено в дело впервые в Каффе — одной из областей Эфиопии.

Если так, — тогда арабское «кахуа» есть в свою очередь только переработка этого названия. Соседи арабов (и соседи этих соседей) у них позаимствовали и самый напиток, изготовленный из плодов «кахуа», и его имя. Потом каждый народ несколько изменял арабское слово на собственный лад, и вот арабское «кахуа» превратилось во французское «кафе» (café), в немецкое «каффэ» (kaffee), в польское и чешское «ка́ва» (kava), в венгерское «кавэ» (kahve)²¹.

Так случается нередко. Встретив в двух языках слова, похожие по звукам и в то же время означающие сходные между собою понятия, мы постоянно говорим: вот плоды взаимного обмена между этими языками. Перед нами «заимствование». Само собой понятно, что слова заимствованные — в большинстве языков составляют меньшинство, исключение. Не они придают языку его основные черты²².

Реже, пожалуй, натывается лингвист на другие случаи. Бывает так, что в двух языках два слова совершенно точно совпадают по звукам, а смысл их совсем различный.

Как слово звучит:

Что это слово значит по-русски:

Что оно же значит на другом языке:

бура́к
свекла
бесплодная земля (*турецк.*)

буру́н
пенная волна
нос (*турецк.*)

дура́к
глупец
остановка (*турецк.*)

кула́к
сжатая кисть руки

²¹ Попад с другими восточными товарами в Голландию, оно получило там голландскую форму названия «koffie». С Запада, уже во времена Петра I, были занесены к нам в Россию новые слова: «кофий», «кофей», а затем и «кофе».

²² Бывают и исключения из этого правила. В современном персидском языке заимствованных слов больше половины. Очень много их в турецком и английском языках. А вот в китайском их почти нет.

ухо (*турецк.*)

таба́к
курительное снадобье
тарелка (*турецк.*)

ни́ва
пажить
двор (*японск.*)

я́ма
углубление
гора (*японск.*)

бок
сторона
козел (*голландск.*)

берег (*франц.*)

кот
самец кошки
хижина (*англ.*)

грязь (*немецк.*)

Как объяснить, что звуки этих **разноязычных** слов примерно совпадают между собою?²³

Можно допустить, что некоторые из них тоже могли проникнуть из языка в язык при помощи заимствования, которого мы пока еще не разгадали. Так, например, в Турции имеется один из видов растения *Nicotiana*, который так и называется по-турецки: «таба́к» (тарелка), за свои широкие округлые листья, в то время как всякий табак вообще в Турции именуется «тютю́н». Не исключено, что наше название «табак» как-то связано именно с этим сортом. Но это только предположение.

Громадное же большинство таких совпадений — результат чистейшей случайности. Ничего общего между русской и японской «ямой», как и между русским и французским словами «кот», нет. Каждое из них имеет собственную, отличную от его близнеца, историю и свое, совершенно особое, происхождение.

Возьмем французское слово «кот» — «берег» (c\^ote). Слово это состоит в ближайшем родстве с французским же «котэ́» — «сторона» или с испанским «коста». (costa) — «берег».

А наше русское «кот», как это ни неожиданно для вас, имеет общее происхождение вовсе не с ним, а с французским словом «ша», которое пишется: «кхат» (chat), и с древнелатинским «ка́тус» (catus). И «ша» и «катус» означают «самец кошки», «кот».

Изучение показывает, что и сходство между остальными словами нашего списочка в большинстве случаев на самом деле курьез языка, случайность.

Может быть, тогда можно просто сказать: если два слова в двух языках походят только по звучанию, но не связаны друг с другом по смыслу, между ними нет ничего общего?

Нет, сказать так было бы неосторожно.

Посмотрите еще один перечень русских и нерусских слов:

²³ Специалисты-языковеды скажут нам, впрочем, что «совпадение» это — ошибка неизощренного слуха. На деле звуки в разных языках разные. Так, если взять слово «кот», то звук "о" и звук "т" в нем совершенно неодинаковы во французском, английском и русском его вариантах. Но нам этим можно пока пренебречь.

*Как слово звучит по-русски:
Что оно значит у нас:
Как звучит на других языках:
Что на них значит:*

по-чешски:

де'ло
работа
дя'ло
пушка

позо'р
срам
по'зор
внимание! берегись!

пу'шка
орудие
пу'шка
ружье

чита'тель
тот, кто читает
чи'татель
числитель (дробь)

черствый
несвежий
че'рстви
свежий (прохладный)

да'вка
теснота
да'вка
налог

по-болгарски:

вери'ги
оковы
вери'ги
горные хребты

гроб
ящик для погребения
гроб
могила

бор
хвойный лес
бор
сосна

губа
губа
гу́ба
гриб²⁴

друг
товарищ
друг
иной, не этот

быстрый
скорый
бистър
прозрачный²⁵

по-польски:
Что значит по-польски:

череда́
порядок, очередь
чере́да
толпа, сброд

чин
разряд
чин
поступок, дело

годи́на
время, пора
годзи́на
час (60 минут)

час
60 минут
час
время, пора

смета́на
кислые сливки
сьмета́нка
сливки вообще

Проглядывая этот список, можно прийти к выводу, что и тут перед нами такие же

²⁴ Слово «гу́ба» в значении «гриб» известно и у нас в некоторых районах страны, на ее севере и западе. Там «губничать» значит «грибничать»; там существует выражение «по губки, по ягодки». Станным это кажется лишь на первый взгляд: ведь повсеместно «губками» именуются грибы-трутовики, растущие на деревьях. Можно полагать, что сама морская «грецкая губка» — и животное и его скелет, употребляемый вместо банной мочалки, — названа «губкой» именно по сходству с этим видом сухих пористых грибов.

²⁵ Название болгарской реки Бистрица означает вовсе не «стремительная», как нам, русским, кажется, а «прозрачная» река.

«капризы» языков, игра случайных совпадений.

Но, вдумываясь в каждую из словесных пар, приходишь к иному выводу: между значениями слов, входящих в эти «пары», существует известная связь, не всегда прямая и ясная, не бросающаяся в глаза, но все-таки несомненная.

Слово «пу́шка» в нашем языке означает огнестрельное орудие, а у чехов — оружие, но тоже **огнестрельное**. Между обеими этими предметами есть значительное сходство.

Слово «вери́ги» у нас означало всегда «железные оковы, цепи»; их изуверы прошлых дней навешивали на себя, чтобы «изнурять свою плоть». А у болгар «вери́гой» называется горный хребет. Казалось бы, что же тут можно найти общего? Но подумайте сами: ведь и мы «горные хребты» именуем «горными цепями». Очевидно, в обоих словах, русском и болгарском, это значение — «цепь» — и является основным, главным, а уж о каких цепях, железных или каменных, речь, — вопрос второстепенный.

Иногда одно и то же слово, встречаясь в двух языках, имеет в них значение не то что «несходное», а скорее прямо противоположное. Вот пример: мы говорим «черствый» о хлебе, который уже остыл и засох; «теплый», мягкий хлеб у нас противопоставляется холодному, «черствому». А у чехов слово «че́рстви» означает как раз наоборот: «свежий», «прохладный»²⁶. Каким же образом так разошлись значения этого слова?

Подумайте сами: в обоих языках есть и общий оттенок значения: «холодный», «остывший». Остывший хлеб — черствый хлеб. Человек, в груди которого «остыли чувства», — черствый, холодной души человек. Это у нас, в русском языке.

А чехи пошли по другой линии. У них «че́рстви витр» — «прохладный», то есть свежий, ветер. Одно и то же слово у двух народов имеет противоположные, но тесно связанные между собою значения.

Это совсем не похоже на то, что мы имели в случае с русским и турецким словами «кула́к»: там между значениями не было ни сходства, ни противоположности; они просто были никак не связаны друг с другом. Слово «позор» у чехов означает «осторожно», «берегись», у нас, русских, — «стыд», «срам». Казалось бы, что общего? Но легко сообразить: оба восходят к славянскому глаголу «позрети» — «посмотреть». «По́зор!», то есть: «осмотришься, будь зорок, бдителен!», «Позор!», то есть: «какое зрелище!». Пушкинисты, например, указывают, что в стихотворении Пушкина «Деревня» слова «невежества губительный позор» означают не «стыд невежества», а «губительное зрелище невежества», «Позорище» некогда и просто означало «зрелище»²⁷.



Значит, верно: из слов двух или нескольких языков мы имеем право считать связанными друг с другом такие слова, у которых сходны звуки и значения имеют между собою нечто общее. Но только общность эту не всегда легко обнаружить. Чтобы судить о ней, приходится проделывать большую работу, доискиваться, какой смысл имеют в обоих языках другие, явно родственные данным, слова, исследовать, как в далеком прошлом менялось их понимание... Надо все время обращаться к **истории** и данных **языков** и тех **народов**, которые на них говорят.

ОТ «ВОЛКА» ДО «ЛУ»

²⁶ В польском языке это же слово значит и «черствый» и «бодрый», «крепкий». Вот еще одна линия развития значения.

²⁷ У сербов и сейчас «позориште» — зрелище; в польском языке «по́зор» — внешность, наружный вид.

Теперь мы знаем, как обстоит дело, когда перед нами слова, сходные по звукам, но несходные по смыслу, по значениям,

Однако нам уже известно: сплошь и рядом в языках наталкиваешься на обратное положение: значения почти совпадают, а в звуках слов как будто нет ничего общего.

Примеры этого мы видели. Русское «кот» ничуть не более похоже на французское «ша», нежели английское «Джон» на древнегреческое «Иоаннэс». А ведь мы установили, что эти слова имеют общее происхождение.

Таких внешне непохожих друг на друга, но родственных слов языковеды обнаруживают в различных языках огромное количество, и человеку, не осведомленному в языкознании, иной раз может показаться, что его просто хотят одурачить. Ну, скажите на милость, что может быть общего между такими словами, как:

русское «живой» и латинское «вивус» (vivus), которое тоже значит «живой»;

русское «сто» и немецкое «хундерт» (hundert), тоже означающее «сто»;

русское «волк» и французское «лу» (loup) — тоже «волк»?

А вот языковеды утверждают, что слова каждой из этих пар родственны между собой.

Пока вы не встречались с теми законами, по которым меняются звуки слов в различных языках, вы, вероятно, никогда не поверили бы подобным утверждениям. Но теперь, когда вам стало известно, что такие изменения происходят, и притом не кое-как, а по твердым правилам, теперь вам уже легче будет выслушать мои доказательства. Возьмем для простоты и наглядности только одну из этих пар: русское «волк» и французское «лу».

Вот как звучит слово, означающее серого хищника, в ряде языков:

по русски

во́лк

по-литовски

ви́лкас

по-украински

во́вк

по-древнеиндийски

вр́кас

по-сербски

ву́к

по-древнегречески

лю́кос

по-чешски

влк

по-латински

лу́пус

по-болгарски

вук (или вѹлк)

по-итальянски

лу́по

по-немецки

во́льф

по-румынски

луп

по-английски

ву́лф

по-французски
лу

Очень любопытно. Каждые два соседних слова кажутся нам очень похожими друг на друга: «волк» и «вовк», «вовк» и «вук», «луп» и «лу»... А вот крайние в ряду — «волк» и «лу» — как будто не имеют между собой ничего общего.

ВОЛК
ВЗЛКЗ
ЛУКΩΣ

Но ведь это довольно обычное явление в мире. Наша современная лошадь совсем не похожа на своего далекого предка, маленького, собакообразного зверька фенако́дуса, жившего миллионы лет назад. Но между фенако́дусом и лошадью ученые открыли целую цепь животных, все меньше похожих на первого, все больше напоминающих вторую; эоги́ппуса, мезоги́ппуса, гиппарио́на и т. д.

И мы понимаем, что фенако́дус превратился в лошадь не сразу, а путем постепенных переходов. Нечто отдаленно подобное, по-видимому, может происходить порою и в удивительном мире слов.

Мы с вами теперь люди искушенные. На примере человеческих имен мы видели, как далеко могут уводить слово «законы звуковых соответствий» между отдельными языками. Если римская «Йу́лиа» превратилась во французскую «Жюли́» и английскую «Джа́лиэ», то удивительно ли, что древнеиндийский «вркас» мог у древних греков звучать как «лю́кос»? Ведь при переходе от языка к языку закон звуковых соответствий влияет не на один какой-либо звук слова, а на многие его звуки, и на каждый по-разному. Понятно, что иной раз оно может приобрести совершенно неузнаваемый вид. И все же языковед, вооруженный точным знанием этого закона, может, как мы видели, не только проследить, но и **предугадать** эти удивительные превращения.


ВОЛК

СУСИ

ОКАМИ

КЫРТ

Исследуя языки мира этим способом, языковеды и наткнулись на замечательное открытие. Среди них (языков) встречаются одни, которые очень похожи друг на друга по различным признакам; сходство между другими несравненно менее заметно; наконец есть и такие, в

которых сходных черт не обнаруживается, какие «законы соответствий» к ним ни применяй²⁸. Это сто́ит показать на примере.

Вернитесь к табличке удивительных превращений «волка». Легко заметить, что она распадается на две ясно отличимые части.

В первой части слово «волк» содержит в себе согласные звуки: "в", "л" ("р") и "к": «волк», «вълк», «вилкас» и т. п.

Во второй группе на их место являются уже другие согласные, в другом порядке: "л", "к" ("п"): «лю́кос», «лу́пус», «лу́по», «лу».

Мы уже согласились, что обе группы связаны между собой: между «вркас» и «лю́кос» тоже можно найти общее. Но бесспорно, что **внутри каждой из двух групп** слова различаются несравненно меньше, чем вся первая группа от второй. «Волк» более похож на «ву́ка» или на «вълка», нежели на «лу́по» или «лю́коса». Сходство **внутри** групп заметит каждый; общее между словами обеих групп сумеет доказать только лингвист.

По-видимому, между языками каждой из этих групп имеется более тесное сходство, более глубокая связь, чем между ними и языками другой группы.

А рядом с этим языковеды наталкиваются на такие языки, в которых слова уже вовсе не связаны ни с какими нам известными. По-азербайджански «волк» «кырт», по-фински — «су́си», по-японски — «ока́ми». Между этими словами и словом «волк» никакие законы звуковых соответствий ничего общего не обнаружат.

Сходство, как мы убедились, было основано на законе. Но, может быть, **несходство** зависит от чистой случайности?

Нет, это не так! Вот как звучат в различных языках слова, которыми народы называют три очень важных для них понятия:

по-русски

мать

дом

гора́

по-польски

ма́тка

дом

гу́ра

по-чешски

ма́тка

дум

хо́ра

по-болгарски

ма́йка

дом

гора́²⁹

Ясно, что между этими языками существует большое и близкое сходство. Если же мы возьмем другие языки, картина будет опять иной. Вот те же слова:

по-русски

мать

дом

²⁸ Языковеды, исследуя вопрос, пользуются, конечно, не одним этим законом, изучают соответствия не только в звуках слов, но и в грамматических формах. Я не говорю сейчас об этом простоты ради.

²⁹ Старая форма; теперь — «плани́на».

гора́

по-фински

а́йти

ко́ти

мэ́ки

по-турецки

ана́

эв

дах

по-японски

ха́ха

у́ти

я́ма

Бросается в глаза, что эти языки не имеют видимого сходства ни с языками первой группы, ни между собою. Подтверждают это первое впечатление (которому, как мы теперь знаем, нельзя слепо доверяться!) и лингвисты.

Четыре первых языка, говорят они, близки друг к другу; три последних далеки и от них и друг от друга.

Вот теперь, пожалуй, и выходит на сцену одно из самых основных **почему**. Почему же возникли эти группы схожих и несхожих языков? Почему в мире слов мы видим картину, напоминающую нам обычное положение в живой природе: злаки похожи между собою, но резко отделяются от крестоцветных или от хвойных? В то же время сами хвойные и крестоцветные, отличаясь друг от друга, имеют и некоторые сходные черты. Биологи выяснили, откуда взялись и сходство и различия между живыми организмами. Надо и нам установить это для нашего предмета наблюдения — языков.

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ

Вы встречаете человека, у которого нос как две капли воды похож на нос вашего хорошего знакомого. Чем вы можете объяснить такое сходство?

Проще всего предположить, что оно вызвано самой простой случайностью; каждый знает, такие случайные совпадения не редкость.

Если вам повстречаются двое людей, у которых есть что-то общее в их манерах говорить, в движениях или в походке, весьма вероятно, что это результат невольного или вольного подражания, так сказать, «заимствования»: ученики часто подражают любимым учителям, дети — взрослым, солдаты — командирам.

Но вообразите себе, что перед вами два человека, у которых похожи сразу и цвет глаз, и форма подбородка, и звук голоса, и манера улыбаться. Оба употребляют в разговоре одинаковые выражения, да еще имеют совершенно сходные родимые пятна на одних и тех же местах. Вряд ли вы будете и это все объяснять случайностями. Не разумнее ли предположить, что лица эти — родственники: похожие черты достались им обоим от общих родоначальников.

Тем более не приходится искать объяснений в случайном сходстве, если вы видите не двух похожих друг на друга существ, а целую их группу, состоящую из многих членов. Гораздо правдоподобнее допустить, что и здесь сходство вызвано общим происхождением, родством.

Как мы видели, в мире языков мы наблюдаем именно такую картину: существуют целые группы языков, почему-то близко напоминающих друг друга по ряду признаков. В то же время они резко отличаются от многих групп языков, которые, в свою очередь, во многом похожи между собою.

Слово «человек» звучит очень сходно в целом ряде языков, в тех самых, в которых похожи, как мы с вами видели, и слова, означающие понятия «мать», «дом», «гора»:

по-русски
— челове́к

по-украински
— чолови́к³⁰

по-польски
— чло́век

по-болгарски
— чове́к

по-чешски
— чло́век

Все это языки славянских народов.

Существуют и другие языковые группы, внутри которых мы замечаем не меньшее сходство, зато между их словами и словами славянских языков обнаружить общее гораздо труднее. Так, «человек»

по-французски
— (х) омм

по-латыни
— хо́мо

по-испански
— (х) о́мбрэ

по-итальянски
— (у) о́мо

по-румынски
— ом

Эти языки, как мы видим, принадлежат народам **романской** языковой семьи.

В то же время у турок, татар, азербайджанцев, туркмен, узбеков и других народов **тюркского** племени понятие «человек» будет выражаться словом «киши́» или другими словами, близкими к этому³¹. Слова эти не похожи ни на славянские, ни на романские, зато между собою эти языки имеют опять-таки большое сходство.

Приходится предположить, что такое сходство не могло возникнуть неведомо почему, так себе, случайно. Гораздо естественнее думать, что оно является результатом родства между сходными языками.

Действительно, языкознание и учит нас, что в мире существуют не только отдельные языки, но и большие и маленькие группы языков, сходных между собою. Группы эти называются «языковыми семьями», а возникли и сложились они потому, что одни языки способны как бы порождать другие, причем вновь появляющиеся языки обязательно сохраняют некоторые черты, общие с теми языками, от которых они произошли. Мы знаем в мире семьи германских, тюркских, славянских, романских, финских и других языков. Очень часто родству

³⁰ Хотя означает оно здесь — муж, супруг.

³¹ В тюркских языках живет еще слово «ада́м» (человек), но это заимствование из арабского, то есть семитического, языка. О нем мы тут говорить не будем.

между языками соответствует родство между народами, говорящими на этих языках; так в свое время русский, украинский, белорусский народы произошли от общих славянских предков.

Однако бывает и так, что языки двух племен или народов оказываются родственными, в то время как между самими народами никакого родства нет. Многие современные евреи, например, говорят на языке, очень похожем на немецкий и родственном германским языкам. Однако между ними и германцами нет никакого кровного родства. Наоборот, родичами еврейского народа являются арабы, копты и другие народности Передней Азии, языки которых ничем не напоминают современного еврейского языка, так называемого «и́диш». Вот **древнееврейский** язык, почти позабытый и оставленный нынешними евреями³², тот близко родствен и арабскому, и коптскому, и другим **семитическим** языкам.

Легко установить, что такое положение является скорее исключением из правила, чем самим правилом, и что чаще всего, особенно в древности, родство между языками совпадало с кровным родством между племенами людей. Но очень важно выяснить, как же именно возникали такие родственные между собою языки?

Нам известно лишь сравнительно небольшое число случаев, когда люди могли непосредственно наблюдать процесс такого появления новых языков из старых, но все-таки они бывали.

Все вы знаете, конечно, великолепный памятник языка древней Руси, знаменитое «Слово о полку Игореве».

Эту древнюю поэму мы, русские, считаем памятником нашего, **русского, языка** ; родилась она тогда, когда язык этот был во многом отличен от того, на котором мы говорим сейчас.

Но наши братья-украинцы с точно такими же основаниями гордятся «Словом» как памятником языка **украинского** . Конечно, их современный язык сильно отличается от того, на котором написана блестящая поэма, но тем не менее они считают ее образчиком его древних форм. И, до́лжно признать, равно справедливы оба эти мнения.

Не странно ли? Ведь сегодня никто не поколеблется отличить русские стихи или прозу от украинских. Стихи Пушкина никто не сочтет за написанные на украинском языке; стихи Шевченко, безусловно, не являются русскими стихами. Так почему же такие сомнения могут возникнуть относительно «Слова», родившегося на свет семьсот лет назад? Почему Маяковского надо переводить на украинский язык, а украинских писателей или поэтов — на русский, творение же неизвестного гения давних времен совершенно одинаково доступно (или равно непонятно) и московскому и киевскому школьнику? О чем это говорит?

Только о том, что разница между двумя нашими языками, очень существенная сейчас, в XX веке, семьсот лет назад была несравненно меньшей. В те времена оба эти языка были гораздо более сходны между собою. Очевидно, оба они происходят от какого-то общего корня и только с течением времени разошлись от него каждый в свою сторону, как два ствола одного дерева.

Примерно то же (только на протяжении несравненно меньшего времени, а потому и в гораздо более узком масштабе) можно наблюдать на истории английского языка в самой Англии и за океаном, в Америке. Первые поселенцы из Англии стали прибывать в Новый Свет почти в то самое время, когда жил и творил великий английский драматург Шекспир. С тех пор прошло примерно четыре столетия.

За этот недолгий срок язык англичан, оставшихся «у себя дома», изменился довольно сильно. Современным британцам читать Шекспира не очень легко, как нам нелегко читать произведения, написанные в дни Державина и Ломоносова.

Изменился и английский язык в Америке. Молодой американец тоже не все и не совсем понимает в драмах Шекспира.

Но вот вопрос: в одном ли направлении изменились обе ветви одного английского языка — европейская и заокеанская? Нет, не в одном. И лучшим доказательством этого является то, что в произведениях Шекспира нынешних юных американцев и англичан

³² За исключением тех, что живут в государстве Израиль; там он является государственным языком.

затрудняют одни и те же места текста. Те и другие не могут понять в них одного и того же. А вот, читая современных авторов, житель Нью-Йорка ломает голову как раз над тем в английской книге, что легко понимает лондонец. Наоборот, англичанин, взяв в руки американский текст, не поймет в нем именно тех слов, которые совершенно ясны обитателю Чикаго или Бостона.

При этом надо оговориться: разница между английской и американской речью очень невелика. В наши дни между людьми, даже живущими за тысячи километров друг от друга, связь не порывается. Между Англией и Америкой все время работает почта, телеграф. Английские газеты приходят в Штаты; в тамошних школах преподают английский язык. В свою очередь, американские капиталисты, забрасывают старую Англию своими книгами, кинофильмами; по радио и любыми другими способами они стремятся убедить англичан в превосходстве своей американской культуры. Происходит непрерывный языковой обмен. И всё-таки некоторые различия образуются. Мы можем говорить хотя, конечно, не о новом **американском языке**, но, во всяком случае, о новом диалекте **английского языка**, родившемся за океаном³³.

Так представьте же себе, насколько быстрее, глубже и бесповоротнее расходились между собою языки тысячелетия назад. Ведь тогда стоило народу или племени разделиться на части, а этим частям разбрестись в стороны, как связь между ними прекращалась полностью и навсегда.

А бывало так? Сплошь и рядом.

Вот какую картину рисует нам Фридрих Энгельс в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

В древности человеческие племена постоянно распадалась на части. Как только племя разрасталось, оно уже не могло кормиться на своей земле. Приходилось расселяться в разные стороны в поисках мест, богатых добычей или плодами земными. Часть племени оставалась на месте, другие уходили далеко по тогдашнему дикому миру, за глубокие реки, за синие моря, за темные леса и высокие горы, как в старых сказках. И обычно связь между родичами сразу же терялась, ведь тогда не было ни железных дорог, ни радио, ни почты. Придя на новые места, части одного большого племени становились самостоятельными, хотя и родственными между собою по происхождению, «по крови», племенами.

Вместе с этим распадался и язык большого племени. Пока оно жило вместе, все его люди говорили примерно одинаково. Но, разделившись, отсеченные друг от друга морскими заливами, непроходимыми пустынями или лесными дебрями, его потомки, обитая в разных местах и в различных условиях, невольно начинали забывать все больше старых дедовских слов и правил своего языка, придумывать все больше новых, нужных на новом месте.

Мало-помалу язык каждой отделившейся части становился особым наречием, или, как говорят ученые, диалектом прежнего языка, сохраняя, впрочем, коекакие его черты, но и приобретая различные отличия от него. Наконец наступало время, когда этих отличий могло накопиться так много, что диалект превращался в новый «язык». Доходило подчас до того, что он становился совершенно непонятным для тех, кто говорил еще на языке дедов или на втором диалекте этого же языка, прошедшем иные изменения в других, далеких местах. Однако где-то в своей глубине он все еще сохранял, может быть, незаметные человеку неосведомленному, но доступные ученому-лингвисту, следы своего происхождения, черты сходства с языком предков.

Этот процесс Энгельс называл «образованием новых племен и диалектов путем разделения». Получающиеся таким образом племена он именует «кровно-родственными» племенами, а языки этих племен — языками **родственными**.

Так обстояло дело в глубокой древности, во времена, когда наши предки жили еще в родовом обществе. События протекали так не только в индейской Америке, но повсюду, где царствовал **родовой строй**. Значит, эту эпоху пережили и наши предки-европейцы, — пережили именно в те дни, когда складывались зачатки наших современных языков.

Затем дела пошли уже по гораздо более сложным путям.

³³ Недаром мистер Филип в пьесе Э. Хемингуэя «Пятая колонна» говорит о себе: «Я могу говорить и по-английски и по-американски...» (Э. Хемингуэй, Избр. произв., М. Гослитиздат, 1959, т. II, стр. 505).

Там, где когда-то бродили небольшие племена людей, образовались мощные и огромные государства. Иные из них включили в свои границы много малых племен. Другие возникали рядом с землями, где такие племена еще продолжали жить своей прежней жизнью. Так, древний рабовладельческий Рим поглотил немало еще более древних народов — этрусков, латинов, вольсков и других, а потом много столетий существовал рядом с жившими еще родовым обществом галлами, германцами, славянами.

Языки при этом новом положении начали испытывать уже иные судьбы. Случалось иногда, что маленький народец, войдя в состав могучего государства, отказывался от своего языка и переходил на язык победителя. Культурно сильное государство, воюя, торгуя, соприкасаясь со своими слабыми, но гордыми соседями — варварами, незаметно навязывало им свои обычаи, законы, свою культуру, а порой и язык. Теперь уже стало труднее считать, что на родственных между собою языках всегда говорят только кровно-родственные племена. Этруски ничего общего по крови не имели с латинянами, а перешли на их язык, забыв свой. Галлы, обитатели нынешней Франции, много веков говорили на своем, галльском языке; он был родствен языкам тех кельтских племен, с которыми галлы состояли в кровном родстве. Но потом этот язык был вытеснен языком Рима — латынью, и теперь потомки древних кельтовгаллов, французы, говорят на языке, родственном вовсе не кельтским языкам (ирландскому или шотландскому), а итальянскому, испанскому, румынскому, то есть языкам **романского (римского) происхождения**.

Время шло, человечество переходило от ступени к ступени своей истории. Племена вырастали в народности, народности складывались в нации, образованные уже не обязательно из кровно-родственных между собою людей. Это очень осложняло взаимоотношения и между самими людьми разного происхождения и, тем более, между их языками. Но все-таки некоторые общие черты, которые когда-то принадлежали языкам народов и племен на основании их прямого родства между собою, выживали и даже дожили до настоящего времени. Теперь они продолжают объединять языки в «семьи», хотя между нациями, говорящими на этих языках, никакого племенного, кровного родства нет и быть не может.

Возьмем в пример русский язык, великий язык великой русской нации. Мы знаем, что нация эта сложилась, кроме славянских племен, еще из многих народностей совсем другого, вовсе не славянского происхождения. О некоторых мы уже почти ничего не знаем. Кто такие были, по-вашему, «чудь», «меря», «вепсы», «берендеи» или «торки»? А ведь они жили когда-то бок о бок с нашими предками. Потом многие из них влились в русскую нацию, но говорит-то эта многосоставная нация на **едином русском**, а не каком-нибудь **составном** языке.

Что же, может быть, и он точно так же сложился из множества различных, неродственных между собою языков — «чудского», «вепского» и других?

Ничего подобного: сколько бы различные языки ни сталкивались и ни скрещивались друг с другом, никогда не случается так, чтобы из двух встретившихся языков родился какой-то третий. Обязательно один из них окажется **победителем**, а другой прекратит свое существование. Победивший же язык, даже приняв в себя кое-какие черты побежденного, останется сам собой и будет развиваться дальше по **своим** законам.

На протяжении всей своей истории русский язык, который был когда-то языком одного из восточно-славянских народов, многократно сталкивался с другими, родственными и неродственными языками. Но всегда именно он выходил из этих столкновений победителем. Он, оставаясь **самим собою**, стал языком русской народности, а затем и языком **русской нации**. И эта нация, сложившаяся из миллионов людей совершенно разного происхождения, **разной крови**, говорит на **русском языке**, на том самом, на котором говорили некогда древние **русы**, славянское племя, кровно родственное другим славянским же племенам³⁴.

Вот почему наш язык оказывается и сейчас языком, родственным польскому, чешскому, болгарскому, хотя ни поляки, ни чехи, ни болгары не живут в пределах нашей страны и не

³⁴ Незачем разъяснять тут, что этот русский язык, оставшись до наших дней «тем же самым», далеко не остался «таким же самым». Он изменился очень сильно, настолько, что мы теперь с трудом понимаем древние письменные памятники. Но все же и там и здесь перед нами один язык — русский.

принимали непосредственного участия в формировании русской нации. В то же время он продолжает оставаться языком очень далеким, ничуть не родственным языкам тех же ижорцев (ингеров), карелов или касимовских татар, хотя многие из этих народов и стали составными элементами нации русской. Говоря о родстве языков, мы всегда принимаем в расчет не племенной состав говорящих на них сегодня людей, а их далекое — иногда очень далекое! — происхождение.

Спрашивается: а сто́ит ли заниматься языковеду такими глубинами истории? Чему это может послужить?

Очень сто́ит.

Возьмем в пример соседнюю нам Социалистическую Республику Румынию.

Румыны живут среди славянских народов (только с запада с ними соседствуют венгры, происхождение которых весьма сложно). А говорят румыны на языке, весьма отличном и от славянских и от угорского (венгерского) языков. Этот язык настолько своеобразен, что даже заподозрить его родство с соседями невозможно.

Языковеды установили, что румынский язык родствен итальянскому, французскому, испанскому и древнеримскому (романским) языкам; ведь даже само название «Румыния» («Romania» по-румынски) происходит от того же корня, что и слово «Рома» — «Рим» (по-латыни). И если бы даже мы ничего не знали об истории румынского народа, мы должны были бы предположить, что когда-то он испытал на себе сильное воздействие одного из народов романской языковой семьи.

Так оно и было. В свое время на берега Дуная прибыли римские (то есть «романские») переселенцы и основали здесь свою колонию. До нас об этом дошли точные исторические свидетельства. Но если бы их, по случайности, не оказалось, языковеды, без помощи историков изучая румынский язык, уже заподозрили бы нечто подобное и натолкнули бы остальных ученых на догадки и розыски в этом направлении.

Именно так случилось за последние полвека с давно вымершим малоазиатским народом — **хеттами**.

Хетты оставили по себе много различных памятников культуры: статуй, развалин и надписей на неизвестном нам и непонятном языке.

Пока эти надписи оставались неразобранными, ученые считали хеттов единым народом, близко родственным соседним с ними ассирийцам и вавилонянам, то есть народом семитического племени.

Но вот произошло событие поистине удивительное. Чешский ученый Беджих Грозный, крупнейший знаток семитических языков древнего Востока, заинтересовался хеттами. Судя по всему, хетты действительно были семитами: оставленные ими памятники написаны клинописью, похожей на письма старых любимцев Грозного, ассириян и вавилонян. Семитолог Грозный рассчитывал изучить еще одно семитское племя древности.

Тайна долго не давалась в руки, и внезапное ее решение грянуло, как громовой удар. При помощи непередаваемо трудных и остроумных приемов Грозному удалось прочесть первую в мире хеттскую фразу, первую через два тысячелетия молчания:

НУ



— ан ЭЗЗАТЭНИ ВАДАР МА ЭКУТЭНИ

Первое ее слово походило на наречие. Второе было обозначено клинописным значком, который у многих народов означал «хлеб»; по-вавилонски он читался «винда». Все предложение напомнило Грозному какую-то двучастную формулу, что-то вроде поговорки: «Хлеб-соль, ешь, правду — режь».

Так она **выглядела, так звучала** ... Но что она **значила** ? Остальные слова ее ничуть не походили на слова восточных, семитских языков...

Рассказ Грозного о том, как к нему пришла победа, увлекателен, как детективный роман.

Часами, сутками, неделями пытался он проникнуть в смысл звучащей абракадабры, и вдруг...

И вдруг мелькнула мысль, которой он сам испугался, до того она была неожиданной и нелепой.

Да это «вадар» ничем не напоминает семитические слова. Но оно до неправдоподобия похоже на слова совсем другого мира, на наши, европейские слова. На современное немецкое «вассер» — вода, на английское «уотэ» — тоже «вода», на древненемецкое «ватар» — еще одно имя «воды»...

Но ведь тогда и «эззатэни» можно сопоставить с русским «есть», с греческим «эдэйн», с древненемецким «эззэн»... Все они значат одно: «есть». И всю фразу можно прочесть хотя бы так:

НЫНЕ ХЛЕБ ВАШ ЕШЬТЕ И ВОДУ ВАШУ ПЕЙТЕ.

А это — очень обычное обещание нового древнего владыки его новым или старым подданным. Оно значит: «Я принесу вам мир и довольство...»

Но если так, — очевидно, хетты были не семитами, а нашими ближними родичами индоевропейцами и говорили на одном из родственных нашим индоевропейских древних языков.

Хорошо, конечно, что еще раз человеку удалось прочесть нечто написанное неведомыми знаками на неизвестном языке. Но еще большим чудом показалось другое: эти знаки заговорили не на восточном, не на семитском, нет, — на индоевропейском и до того совершенно неведомом языке. Хетты, жившие в Малой Азии, по своей речи оказались близкими родичами нам.

Со дня этого удивительного открытия прошло уже почти полвека. За это время создалась целая новая наука — хеттоведение. Было обнаружено: в хеттском государстве жили бок о бок народы различного происхождения, говорившие на самых разных языках — и на семитских и на близких к — языкам кавказских народов. Но хетты-неситы, оставившие нам иероглифические памятники, были самыми настоящими индоевропейцами. Сейчас ученые спорят уже не об их языке и даже не об их племенной принадлежности. Ученых сейчас волнуют вопросы другого порядка: как, через Балканы или через Кавказ, хетты прошли в Малую Азию? Какую они историю прожили, как была устроена их жизнь, их общество? До сих пор крупницы сведений об этом удавалось выуживать только из египетских папирусов; они были отрывочными и неполными. Теперь мы слышим голос самих хеттов: племя, жившее тысячелетия назад, властно требует от нас: «Пересмотрите историю древности! Внесите в нее важные поправки! Мы воскресли для того, чтобы полным голосом рассказать вам о безмерно далеком прошлом».

А о языке хеттов спорить действительно уже нечего. Взгляните на приведенную ниже таблицу — вы сами увидите, как близки многие хеттские слова к словам других языков индоевропейского корня, как много между ними общего, как спрягается в разных языках глагол «быть» в настоящем времени или какая разительная близость существует между многими другими словами хеттского и остальных индоевропейских языков.

Такова великая сила науки, таково вызывающее преклонение могущество человеческого разума. Может показаться, что ему доступно все, что для него нет никаких, непреодолимых препятствий. Но так ли это?

Древнеиндийский (санскрит)

Русский

Латынь

Греческий

Германский (древний)

Хеттский

1-е л. ед. ч.

асми

есмь
сум
эйми
им
эшми

2-е,,,,,,
аси
еси
эс
эйс
ис

3-е,,,,,,
асти
есть
эст
эсти
ист
эшти

1-е л. мн. ч.
асму
есмы
су'мус
эсмен
зийум

2-е,,,,,,
астху
есте
эстис
эсте
зийут
ашанци

3-е,,,,,,
эшти
асти
суть
сунт
эйси
зинд

Санскритский
Русский
Литовский
Латынь
Греческий
Хеттский
Германский

Глаголы
адми

ем
едми
эдо
эдомей
этми
эссен

асми
есмь (3-е л. ед. ч.: есть)
езу
сум (3-е л. ед. ч.: эст)
эйми (3-е л. ед. ч.: эсти)
эшми
им (3-е л. ед. ч.: ист)

Существительные

уда (х)
вода
ванду
унда (волна)
(х) юдор
уатар
вассер

набхас
небо
добезис (облако)
нэбула (облако)
нефос (туча)
непис
небель (туман)

хрд
сердце
ширдис
кор (кордис)
кардиа
кард
хайрто (херц)

Прилагательные

навас
новый
науяс
новус
нэос
нэуа
ной (письм.: нэу)

Пока речь идет о языках народов-соседей, живущих рядом и в одно время, имеющих общее историческое прошлое, а главное — разделившихся лишь сравнительно недавно, нашим ученым без особого труда удастся проследить родство между ними. То, что украинский и русский языки — братья, ясно не только языковеду: сходство между ними бросается в глаза, подтверждается и объясняется хорошо нам знакомой историей обоих народов. Не так уж

трудно представить себе и состав того языка-основы, из которого они оба когда-то выделились. То же можно сказать о несколько ранее, чем славянские, разошедшейся группе романских языков. Современный французский, испанский, румынский и другие родственные языки выросли и развились из латыни древнего мира. Казалось бы, не может даже возникнуть сомнения насчет возможности восстановить их язык-основу: латынь и сейчас изучают в школах, на ней можно писать, существует обильная литература на латинском языке...

Хитрость, однако, в том, что романские языки родились не из этой звенящей, как медь, латыни классических писателей и ораторов, Овидия и Сенеки, Цицерона и Ювенала. Их породил совсем другой язык, тот, на котором в Древнем Риме разговаривали между собою простолюдины и рабы. Он был и оставался устным, презираемым писателями языком. На нем не записывали речей, не сочиняли славных поэм, не высекали триумфальных надписей. От него почти не сохранилось ни памятников, ни описаний. Мы его слабо знаем.

Удивляться тут особенно нечему: много ли мы с вами знаем о народном устном языке, которым говорили московские стрельцы или тверские плотники в конце XVII века?

Поэтому для романских языков их источник, языкоснову, нельзя просто «вычитать из книг». Его приходится «восстанавливать» по тому, как отдельные его черты отразились в современных нам языках-потомках.

Надо признать, что языковеды-романисты научились решать связанные с этим задачи совсем неплохо.

Приведу только один пример. Во всех древнеримских книгах груша, плод грушевого дерева, именуется «пи́рум» (pīrum), а само это дерево — «пи́рус» (pīrus). Никаких, казалось бы, колебаний: по-латыни груша — «пи́рум»; это обозначено во всех словарях.

Беда одна: названия этого же плода в современных романских языках свидетельствуют о другом. Все они — испано-итальянское «пе́ра» (pera), румынские «па́ра» (para), «пе́ро», французское «пуа́р» (на письме — poire) — могли произойти не от «пи́рум» и не от «пи́рус», а только от римского слова «пи́ра»: в этом убеждает нас закон звуковых соответствий. А такого слова мы ни у Вергилия, ни у Лукреция Кара, ни в других источниках не встречаем. Что же, оно — было или не было?

«Не было!» — в один голос как бы утверждают все памятники римской литературы. «Должно было быть, а значит, — было! — сказали языковеды, работавшие сравнительным методом над романскими языками. — Было, если только наш метод правильный!»

После того как возникло это сомнение, протекло немного лет. И вот археологи извлекли из земли каменную плиту, по какой-то причине надписанную не на «благородной» латыни классиков, а на «вульгарном», то есть народном, языке плебеев. В этой надписи упоминалась груша, плод грушевого дерева; ее имя было передано как «пи́ра» (pira).

Разве это не удивительно? Когда-то в науке произошло великое событие: планета Нептун была открыта не астрономом через подзорную трубу, а математиком, при помощи сложных вычислений. Математик Леверье указал астрономам, где им надо искать доныне неизвестную планету, и едва они направили свои телескопы в тот пункт неба, который он наметил, им в глаза засияла пойманная на кончик ученого пера, никогда перед тем не виданная планета...

Это была небывалая, незабываемая победа разума, Но в своем роде история со словом «пи́ра» стои́т, если хотите, истории Нептуна Леверье.

Узнав обо всем этом, иной читатель окончательно решит: прекрасно! Все в языкознании уже сделано, и теперь ученым остается одно: по точно выработанным законам «восстанавливать» все дальше и дальше в глубь веков древние слова и сами языки.

Но в действительности дело обстоит далеко не так просто.

Середина XIX столетия. Только что, почти вчера, люди поняли, что языки мира делятся на замкнутые группы-семьи, что внутри каждой семьи между ними существует тесная связь **по происхождению**. Сходство между двумя или несколькими языками объясняется именно этим родством; объясняется им и, с другой стороны, свидетельствует о нем. Это сходство приходится искать между словами, между частями слов, между самими их звуками.

Обнаружилось то, чего до тех пор не подозревали: русский язык оказался похожим кое в чем на языки Индии, на таинственный и «священный» санскрит. Значит, между ними есть родство. В родственной связи друг с другом оказались и другие европейские языки — русский

и латинский, литовский и германские. Наше слово «дом» не случайно созвучно древнеримскому «до́мус», тоже означающему «дом». Русское «овца» не по капризу случая совпадает с латинским «о́вис», с литовским «а́вис» и даже с испанским, «ове́ха», — это слова-родичи: все они означают «овцу». Словом, то, что раньше представлялось разделенным и почти неподвижным, те языки мира, которые, казалось, росли по лицу вселенной, как травы на лугу, рядом, но независимо друг от друга, — всё это стало теперь походить на ветви огромного дерева, связанные где-то между собою.

Заметней всего, разумеется, был как бы ряд небольших деревцев или кустиков: пышный славянский куст-семья, широкая крона языков романских, узловатый дубок германской группы... Потом за этим начало нащупываться что-то еще более неожиданное: видимо, и всё то, что первоначально представлялось «отдельными деревьями», на деле лишь ветви скрытого в глубине веков ствола, имя которому «индоевропейский общий праязык». Может быть, лишь его отпрысками-сучками являются и наши европейские языки и оказавшиеся с ними в родстве языки древнего и нового Востока, от зендского до таджикского, от армянского на западе до бенгальского на востоке. Может статься, именно на нем говорили некогда предки всех этих разнообразных и разноликих народов. Мы его не знаем. Его давным-давно нет в мире. Он бесследно-угас. Бесследно? Нет, не бесследно! Им оставлены в мире многочисленные потомки, и по тем древним чертам, которые они в себе хранят, по тому, что между ними всеми есть общего, мы можем так же точно восстановить речь самых далеких праотцев, как восстановили лингвисты латинское слово «пи́ра» по словам «пера, пара, пуар», живущим в современных нам романских языках. Не так ли?

Осознав эту возможность, ученые всего мира были даже как бы несколько подавлены ею. Ведь если бы такая работа удалась для индоевропейского языка-основы — «праязыка», как в те времена говорили, так почему же останавливаться на этом? Можно проделать то же с семьями языков семитических и хамитских, тюркских и угро-финских. Тогда вместо нынешней пестроты и неразберихи перед нами возникло бы пять, шесть, десять ныне неведомых первобытных языков, на которых когда-то, тысячи и тысячи лет назад, говорили люди всего мира. Узнать их, научиться понимать их значило бы в большей степени вскрыть и воссоздать жизнь и культуру того времени.

Если римский простолюдин знал слово «пи́ра», нельзя сомневаться, что и самый плод «груша» был известен ему. Римляне, несомненно, ели эти самые «пи́ры»; язык свидетельствует о том.

Точно так же, если в праиндоевропейском языке мы найдем названия для злаков, таких, как рожь, овес, ячмень, мы получим в свои руки первые сведения о тогдашнем земледелии. Если будет доказано, что тогда звучали глаголы вроде «пахать», «ткать», «прясть», существовали названия животных — «лошади», «коровы», «козы», «овцы», — мы узнаем по ним о хозяйстве древности, а по другим словам — о политическом устройстве того времени... кто знает, о чем еще? Шутка сказать: изучить язык эпохи, от которой не осталось в мире ровно ничего!

Все это потрясло языковедов всего мира. Лучшие умы «для начала» ринулись на работу по «восстановлению» индоевропейского праязыка, а там, возможно, и еще более удивительного чуда — всеобщего прапраязыка всех народов земли, первого, который узнали люди...

К чему же привела эта титаническая работа?

ОВЦА И ЛОШАДИ

Как вам понравится такая басенка, точнее, такой нравоучительный рассказик в девять строк?

Стриженная овца увидела лошадей, везущих тяжело груженный воз,
И сказала: "Сердце сжимается, когда я вижу
Людей, погоняющих лошадь!" Но лошади ответили:
"Сердце сжимается, когда видишь, что люди
Сделали теплую одежду из шерсти овец,
А овцы ходят остриженными!"

Овцам приходится труднее, чем лошадям".

Услышав это, овца отправилась в поле...

Ну, какова басня? «Она ничем не примечательна!» — скажете вы. И ошибетесь. Басню эту написал в 1868 году знаменитый лингвист Август Шлейхер; написал **на индоевропейском праязыке**, на языке, которого никогда не слышал никто, от которого до нас не дошло ни единого звука, на языке, которого, очень может быть, вообще никогда не было. Потому что никто не может сказать: таким ли он был, каким его «восстановил» Шлейхер и его единомышленники.

Так вот. Допуская некоторое преувеличение, я бы, пожалуй, мог заявить, что только что прочитанная вами басня и есть единственный вещественный результат труда нескольких поколений языковедов, посвятивших свои силы восстановлению праязыка. Нельзя, конечно, утверждать, будто их работа оказалась совершенно бесцельной и бесплодной. Вернее будет признать, что она принесла огромную пользу науке. Она привела ко множеству замечательных открытий в самых различных и очень важных областях языкознания. Но основная задача, которую ученые XIX века ставили перед собой, — само воссоздание древнего языка-основы — оказалась решительно невыполнимой. И сегодня мы имеем перед собой лишь грудку весьма сомнительных предположений, более или менее остроумных гипотез и догадок, а никак не восстановленный на пустом месте подлинный язык.

Многим придет в голову вопрос: но почему же так случилось?

Вряд ли я мог бы познакомить вас сейчас с самыми важными и глубокими причинами неудачи: для этого мы с вами слишком еще недалеко ушли в языковедных науках. Но кое о чем я попробую вам рассказать.

Восстанавливая слова или грамматику языка-основы для любой современной языковой семьи, допустим для романской или славянской, лингвистам приходится думать о временах, отстоящих от нас самое большее на полторы или две тысячи лет: на «вульгарной латыни» говорили римляне времен Траяна или Теодориха; общеславянский язык жил, вероятно, около середины первого тысячелетия нашей эры или несколько ранее. Но ведь рядом с Римской империей существовали тогда другие страны, хорошо известные нам; на латинском языке тех времен существует дошедшая до нас довольно богатая литература. В самые книги тогдашних писателей, написанные на «классической латыни», латынь народа проникала то в виде насмешливых цитат, приводимых авторами-аристократами, то в виде ошибок и описок, нечаянно вносимых авторами-плебеями. Тут благодаря этому сохранялось невольно случайное словцо, там — даже целая фраза...

В то же время мы отлично представляем себе в общем тогдашний мир и его жизнь. Мы достаточно знаем, сколько и каких языков в те времена существовало, в каких областях Европы они были распространены, с кем именно соседствовали, на кого могли влиять... Все это помогает нам твердо и уверенно принимать или отвергать почти любой домысел языковедов, проверять данными истории самих народов каждое их предположение о жизни языка.

Что же до общеиндоевропейского языка-основы, если он и существовал в действительности, то не менее как несколько тысяч лет назад. Что мы знаем, что можем мы сказать об этом чудовищно удаленном от нас времени? Ничего или почти ничего!

Нам не известны ни точные места расселения многих тогдашних народов, ни число языков, на которых они говорили. Мы не представляем себе, на сколько и каких именно ветвей мог разбиться общий язык, с кем и с чем соприкоснулись отделившиеся от него начальные диалекты. От всего этого не осталось ни книг, которые мы могли бы расшифровать, ни надписей, ни каких-либо других членораздельных свидетельств. И поэтому каждое суждение о такой глубокой древности может либо случайно оправдаться, либо — чаще — превратиться в подлинное «гадание на кофейной гуще»; может подтвердиться когда-нибудь или остаться навеки замысловатой фантазией.

Приведу и тут только один пример.

Среди индоевропейских языков ученые XIX века давно наметили две резко различные по их особенностям группы: западную и восточную. Они отличались множеством ясных, связанных между собою черт и особенностей. Но наиболее характерным казалось вот что: у всех западных народов числительное «100» обозначалось словами, начинающимися со звука

"к", в той или иной степени похожими на то древнелатинское «ке́нтум» (centum, сто), которое позднее стало произноситься как «центум» (сравни такие слова, как «процент» — 1/100, как «центурион» — сотник в римских войсках и пр.). У народов же восточной группы то же числительное звучало сходно с индийским словом «са́там» (тоже означающим «сто»). Легко понять, что, скажем, французский язык, где «100» звучит как «сан» (причем слово это пишется: «cent»), принадлежит к группе западной, а русский («сто», «сотня») — к восточной. Лингвисты условились так и называть эти группы: «группа са́там» и «группа ке́нтум». Казалось, это деление твердо и бесспорно; ничто не должно было поколебать его.

И вдруг, уже в XX веке, в Китае были найдены древние рукописи, принадлежавшие до того неизвестному тоха́рскому языку. Когда их прочли, увидели: язык этот относится к языкам индоевропейским. Это было любопытно, но не так уж поразительно. Поразительным оказалось другое: он принадлежал к типичным языкам «ке́нтум», к западным языкам³⁵, хотя местообитание народа, говорившего на нем, лежало далеко на востоке, на самой восточной окраине индоевропейского мира. Ему полагалось быть языком «са́там», а он...

Открытие тохарского языка очень разочаровало многих «компаративистов», то есть лингвистов — сторонников сравнительного языкознания, особенно тех, которые все еще стремились добраться до тайн «праязыка». Один лишний язык — и сразу разрушилось так много твердо сложившихся выводов и объяснений! А кто скажет, сколько таких открытий принесет нам будущее? А кто поручится, что не существует десяти или пяти языков, исчезнувших навеки, о которых мы уже никогда ничего не узнаем? Между тем они были, жили, воздействовали на своих соседей, и, не зная их, нечего и думать о том, чтобы точно воспроизвести картину языкового состояния людей в таком далеком прошлом.

Так выяснился основной недостаток сравнительного метода в языкознании — его приблизительность, его неточность. Он является прекрасным помощником, пока его показания можно проверять данными со стороны — сведениями из истории, из археологии древних народов. Но едва граница такой проверки перейдена, это отличное орудие познания мгновенно превращается в жезл волшебника, если не в палочку фокусника, которая может вызвать самое неосновательное, хотя внешне правдоподобное представление о прошлом.

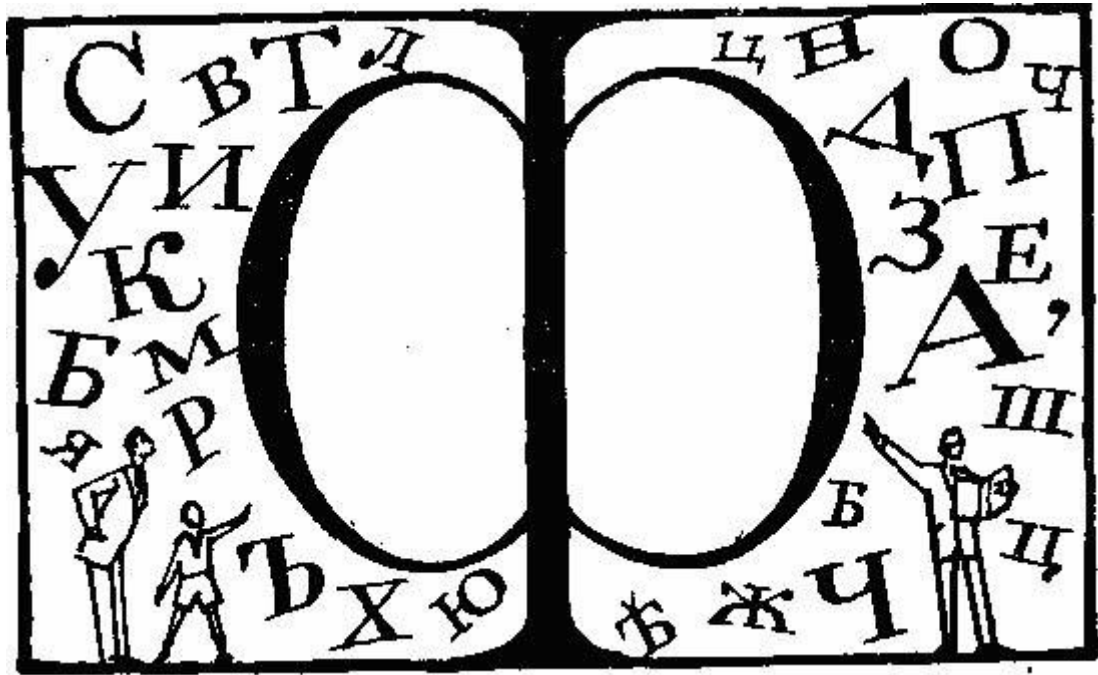
Наша современная наука, советская наука, давно уяснила это себе. Она трезво оценивает достоинства и недостатки сравнительного языкознания. Оно бессильно заново воскресить то, что было безмерно давно и от чего не осталось никаких реальных следов: так геолог не может воссоздать точные очертания горных цепей, превратившихся в песок и глину миллионы лет назад.

Но оно не только может оказать существенную помощь изучению истории действительно существующих и существовавших когда-то языков; оно является в настоящее время, пожалуй, важнейшим орудием этой работы.

Его надо только непрерывно улучшать, проверять другими науками, совершенствовать. Этим и занимаются сейчас наши советские языковеды.

Глава 4. ЗВУКИ И БУКВЫ

³⁵ Впрочем, не все ученые согласны с этим.



САМАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ БУКВА РУССКОЙ АЗБУКИ

Сейчас вы удивитесь.

Раскройте томик стихов А. С. Пушкина на известном стихотворении «Сквозь волнистые туманы...». Возьмите листок бумаги и карандаш. Подсчитаем, сколько в четырех первых его четверостишиях содержится разных букв: сколько "а", сколько "б" и т. д. Зачем? Увидите.

Подсчитать легко. Буква "и" в этих 16 строчках появляется 9 раз, "к" — 7 раз, "в" — 7. Другие буквы — по-разному. Буквы "ф" нет ни одной. А что в этом интересного?

Возьмите более объемистое произведение того же поэта — «Песнь о вещем Олеге». Проведите и здесь такой подсчет.

В «Песне» около 70 букв "п", 80 с чем-то "к", более сотни "в"... Буква "ф" и тут не встречается ни разу. Вот как? Впрочем, вполне возможно: случайность.

Прделаем тот же опыт с чудесной неоконченной сказкой Пушкина о медведе: «Как весеннюю теплою порою...»

В ней также 60 букв "п", еще больше "к" и, тем более, "в". Но буквы "ф" и тут **вы не обнаружите ни единой**. Вот уж это становится странным.

Что это — и впрямь случайность? Или Пушкин нарочно подбирал слова без "ф"?

Не сто́ит считать дальше. Я просто скажу вам: возьмите «Сказку о попе...»; среди множества различных букв вы "ф" не встретите, сколько бы ни искали. Перелистайте «Полтаву», и ваше удивление еще возрастет. В великолепной поэме этой примерно 30 000 букв. Но ни в первой, ни в третьей, ни в пятой тысяче вы не найдете буквы "ф". Только прочитав четыре-пять страниц из пятнадцати, вы наткнетесь на нее впервые. Она встретится вам на 378-й строке «Полтавы» в загадочной фразе:

Во тьме ночной они, как воры...

Слагают цифр универсалов...

«Универсалами» на украинском языке гех дней именовались гетманские указы, а «цифр» тогда означало то, что мы теперь называем шифром — «тайное письмо». В этом слове и обнаруживается первая буква "ф".

Дочитав «Полтаву» до конца, вы встретите "ф" еще два раза в одном и том же слове:

Гремит анафема в соборах...

Раз в год анафемой доньне,

Грозя, гремит о нем собор...

«Анафема» значит: «проклятие». Изменника Мазепу проклинали во всех церквях.

Таким образом, среди 30000 букв «Полтавы» мы нашли только три "ф". А "п", "к" или "ж"? Да их там, конечно, сотни, если не тысячи. Что же, Пушкин питал явное отвращение к одной из букв русского алфавита, к ни в чем не повинной букве "ф"?

Безусловно, это не так. Изучите стихи любого другого нашего поэта-классика, — результат будет тот же.

Буквы "ф" нет ни в «Когда волнуется желтеющая нива» Лермонтова, ни в «Вороне и лисице» Крылова. Неужто она ненавистна и им?

Видимо, дело не в этом.

Обратите внимание на слова, в которых мы нашли букву "ф" в «Полтаве». Оба они не русские по своему происхождению. Хороший словарь скажет вам, что слово «цифра» проникло во все европейские языки из арабского (недаром и сами наши цифры именуются, как вы знаете, «арабскими»), а «анафема» — греческое слово. Это очень любопытный для нас факт.

В пушкинской «Сказке о царе Салтане» буква "ф", как и в «Полтаве», встречается три раза, и все три раза в одном и том же слове «флот». Но ведь и это слово — нерусское; оно международного хождения: по-испански флот будет «flota» (флота), по-английски — «fleet» (флит), по-немецки — «Flotte» (флотэ), по-французски — «flotte» (флот). Все языки воспользовались одним и тем же древнеримским корнем: по-латыни «fluere» (флю'эре) означало «течь» (о воде).

Обнаруживается вещь неожиданная: каждое слово русского языка, в котором — в начале, на конце или в середине — пишется буква "ф", на проверку оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам из других языков, имеющим международное хождение.

Так, «фокус» означало «очаг» еще в Древнем Риме.

«Фонарь» по-гречески значит «светильник».

«Кофе», как мы уже видели, заимствовано от арабов.

«Сафьян», «тафта», «софа» пришли к нам из других стран Востока.

То же и с нашими именами собственными: **Фока** значит «тюлень», по-гречески; **Федор** (точнее **Феодор** — **Теодор**) — «божий дар», на том же языке, и т. д. Просмотрев любой хороший словарь русского языка, вы отыщете в нем буквально десятков-другой таких слов с "ф", которые встречаются **только в русской речи**. Да и то, что это за слова! «Фыркнуть», «фукнуть» — явно звукоподражательные образования или искусственные и в большинстве своем тоже звукоподражательные, «выдуманные» словечки вроде «фуфлыга», «фигли-мигли», «фаля», «фуфаней».

Такого рода «слова» можно изобрести на любой звук, какого даже и в языке нет: «дзекнуть», «кхэкнуть»...

Вот теперь все понятно.

Великие русские писатели и поэты-классики писали на чистом, подлинно народном русском языке. В обильном и богатом его словаре слова, пришедшие издалека, заимствованные, всегда занимали второстепенное место. Еще меньше среди них содержащих в себе букву "ф". Так удивительно ли, что она встречается так редко в произведениях наших славных художников слова?

Не верьте, впрочем, мне на' слово. Раскройте ваши любимые книги и впервые в жизни перечтите их не с обычной читательской точки зрения, а, так сказать, с языковедческой. Присмотритесь к буквам, из которых состоят слова этих книг. Вглядитесь в них. Задайте себе, например, такой вопрос: те из слов, которые начинаются с буквы "а", таковы ли они, как и все другие, или им тоже свойственна какая-нибудь особенность?

Вы читаете «Бориса Годунова», бессмертную драму Пушкина. Смотрите: в тех ее сценах, где изображена жизнь русского народа, слов с буквой "ф" почти нет; только несколько имен содержат ее (царевич Федор, Ефимьевский монастырь, дьяк Ефимьев) да карта, которую чертит царевич, названа «географической».

Но вот мы в Польше или на литовской границе. Вокруг иностранцы — Розен, Маржерет, с их нерусской речью. И лукавая буква-иноземка тут как тут. На страничке, где действуют эти наемные вояки, она встречается **семь** раз подряд! Разве это не говорит о том, с каким удивительным искусством и вниманием выбирал великий поэт нужные для него слова?

Редкость буквы "ф" в нашей литературе не случайность. Она — свидетельство глубокой

народности, высокой чистоты русского языка у наших великих писателей³⁶

БУКВА И ЗВУК

Что же получается? Видимо, русский язык по какой-то причине вовсе не знает и не употребляет звука "ф"?

Ничего подобного. Я говорил не о звуке, а о букве. Звук "ф" в нашем языке ничуть не менее обычен, чем во многих других.

«Позвольте! — вероятно, удивитесь вы. — Но разве звук и буква — не одно и то же, не два названия одного явления?» Помните стихотворение «Бродвэй» В. Маяковского?.

Янки подошвами шлепать лениВ:
Простой и курьерский лифт.
В семь часоВ человеческий прилиВ,
В семнадцать часоВ — отлиВ.

Вслушайтесь внимательно: какой звук произносите вы в тех местах, где в напечатанных строчках стоят буквы "В"?

Никаких сомнений: всюду в концах слов и перед глухими согласными вы ясно и определенно выговариваете "ф" вместо письменного "в".

В = Ф

Смотрите: поэт без колебаний счел слово «лифт» рифмующимся со словами «прилив», «отлив», «ленив». Да это и неудивительно: недаром иностранцы, которые не знают русского правописания, наши фамилии, оканчивающиеся на «ов», изображают нередко при помощи окончания «офф»: «Ивановфф», «Владимировфф» и т. д. Они в этих случаях пишут так, как мы их выговариваем.

Значит, в русском языке звук "ф" встречается очень часто (например, и в слове «фстречается», и даже в сочетании слов: «ф слове»). А буква "ф", как мы видели, — редкая гостья у нас.

Да, редкая! Но почему же тогда все-таки она существует у нас? Почему не так давно было даже целых две буквы для звука "ф" — «эф» и «фита»³⁷. Откуда они взялись? Кому пришло в голову их выдумать, если обе они были нам, видимо, не нужны?

Вспомним историю русской письменности. Она импортирована к нам, как и ко многим восточнославянским народам, с Балканского полуострова. Там она была создана, во-первых, под сильным влиянием и по прямому образцу греческого, византийского, письма, а во-вторых, с основной целью сделать возможным перевод на славянские языки книг, написанных именно погречески.

Греческая азбука по своему составу во многом отличалась от той, которая была нужна славянам. У греков существовали такие, скажем, слова, как «ксения» (гостеприимство), «Ксеркс» (имя персидского царя), «ксерос» (сухой). В эти слова входил сложный звук: «кс» Греки передавали его на письме одной буквой ξ, которую называли «кси».

Была у них и вторая буква: «пси» (Ψ). Она фигурировала в словах вроде «псеудо» (обманываю), «псюхос» (холод, стужа), «псюхэ» (душа) и т. п. В славянских языках ни в той, ни в другой не было ни малейшей надобности: все эти слова можно было великолепно изображать

³⁶ Тут однако, стоит сделать довольно существенную оговорку. Если взять произведения современных нам поэтов и писателей, в них мы встретим, вероятно, гораздо больше "ф", чем в классической литературе. Как это понять? Разве советские авторы меньше заботятся о чистоте и народности своего языка?.

³⁷ Вот, например, слово «анафема» в старых изданиях «Полтавы» всегда напечатано через "Θ": АнаΘема".

при помощи сочетания букв «п+с», «к+с». Но составители славянской азбуки предпочли точно сохранить то, что они видели в Византии. Обе буквы просуществовали в России до начала XVIII века.

Точно так же без особой надобности были введены в славянские алфавиты и две сестры-гречанки «фи» и «фита». У греков их существование имело смысл: каждая из них означала свой особый звук. Буква «фи» выражала звук «ph» (пх), «фита», или «тэта», — звук «th» (тх); греки их одну с другой не путали.

Такие слова, как «Филипп», «фарос» (парус), писались у них через «фи»; зато такие, как «Феодор» или «математикэ» (во втором слогe), — через «фиту».

Славянам для изображения их собственного звука "ф" это было совершенно не нужно, но составителям славянской азбуки показалось очень важным точно передать написание греческих имен или отдельных слов (тут многое было связано еще с религиозными соображениями). Поэтому они и не решились отказаться ни от «фи», ни от «фиты».

Вот почему в русском языке очень долго держалось двойственное, неясное правописание (и даже произношение) заимствованных с греческого слов и корней.

Греческое слово «тео́с», означавшее «бог», писалось с «тэтой» в начале. Наше имя «Федор» означающее «божий дар», стало, хоть оно и происходит от этого греческого слова, писаться через "ф", в то время как на Западе оно скоро превратилось в «Теодор». Это произошло потому, что имя «Федор» быстро стало на Руси родным, **русским** именем, потеряло всякий привкус чужеземности. А вот, скажем, другое, более редкое греческое слово «атеос» (безбожный), происходящее от того же корня, долго передавалось у нас как «афей»; «афеизм» (так оно выглядит еще в переписке А. С. Пушкина), то есть через «фиту». Лишь к концу XIX века установилось наше нынешнее его произношение и правописание: «атеизм», «атеистический» и т. п.

Точно так же мы встречаем у нас рядом два слова: «Афанасий» (имя, которое по-гречески значит «бессмертный») и «танатефобия» (медицинский термин, означающий «страх смерти»). Они хоть и пишутся различно, но связаны по происхождению с одним греческим словом «танатос» (смерть).

Не приходится удивляться, что русские «орфографы»³⁸ специалисты по правописанию, при первой же возможности постарались освободить наш алфавит от совершенно лишней «фиты».

Буква же "ф" сохранилась. Она выполняет и сегодня свою совсем особую функцию — является своеобразной «переводчицей с иностранных языков» в русской азбуке.

Теперь, я думаю, вам стало окончательно ясно, что звук и буква — далеко не одно и то же, и путать их никак нельзя.

Так для чего же придумано такое неудобство? Давайте лучше писать так, как мы слышим и говорим!

Вряд ли, однако, подобное изменение правил было бы более удобным. Впрочем, судите сами.

ОДИН ЗА ТРЕХ

Как по-вашему: одна буква должна означать один звук или несколько разных? Одному звуку должна соответствовать одна буква или тоже несколько?

Вопрос не из новых: еще в XVIII веке его задавал себе известный наш ученый и поэт Василий Тредьяковский.

Знание орфографии, так писал он как раз по поводу букв «эф» и «фиты», «несравненно легчайшее будет, когда каждая буква свой токмо звон (звук — Л. У.) означать имеет: сие вам само собою вразумительно. Буде же один и тот же звон... означаетя двумя или тремя знаками, то как не быть сомнению и, следовательно, затруднению в писателе?»

Вы, полагаю я, присоединитесь к этому разумному мнению. Было бы, ей-ей, ужасно, если

³⁸ Слово «орфография» до революции также писалось с «фитой».

бы буква "о" читалась то "о", то "з", то "р" или ежели бы звук "с" мы писали то в виде "и", то как "я", то через "к"... Да такого и быть не может!

А ведь неправда: иной раз мы поступаем как раз таким образом.

Возьмите простое русское слово: "я". Мы его пишем при помощи одной буквы "я". Что же, оно так и состоит из одного звука?

Слово "я" есть и у других народов. У финнов "я" значит "и", у латышей и немцев — «да». Произносят они его почти в точности как мы. А пишут **при помощи двух букв** : «ja». Зачем им понадобились две буквы? Почему нам достаточно одной? Сколько же в этом слове звуков?

Возьмем русские слова «май» и «гусь» и попробуем склонять их.

Пишется:

Произносится:

Так же, как:

Именительный падеж:

май

гусь

май

гусь

дом

Родительный падеж:

мая

гуся

май + а

гусь + а

дом + а

Дательный падеж:

маю

гусю

май + у

гусь + у

дом + у

Творительный падеж:

маем

гусем

май + эм

гусь + эм

дом + ом

и т. д.

Все эти падежи образуются одинаково: **к основе слова** («дом», «май», «гусь») прибавляются звуки окончаний "а", "у", «эм», «ом» и прочие.

И тут-то уже становится очень ясным, что в слове «мая» буква "я" означает вовсе не один звук, а два: «й + а».

я = ѣа

Только изображает их на письме **одна** буква — "я".

Но, с другой стороны, что же? И в слове «гусь» буква "я" означает два звука? Ничего

подобного: никто не читает это слово так: «гусь + йа». Все произносят его в родительном падеже: «гусь + а».

Значит, в слове «мая» (или в словах "я", «яма», «яд») буква "я" передавала нам два звука — "и" и "а", а в слове «гуся» (так же как в словах «шляпа», «мять», «Ляля») она же выражает только один звук "а", но такой звук "а", который идет только вслед за любым мягким согласным звуком.

Сравните-ка слова:

сад и сяду
мать и мять
раса и ряса

Выходит, что есть в нашей азбуке такие буквы, которые могут означать то один звук, то другой и порою даже не один звук, а два звука сразу.

ТРИ ЗА ОДНОГО...

Теперь прислушаемся к звуку "й".

(Кстати, "й" вовсе не **гласный** звук, как привыкли думать многие, потому что он **обозначается** буквой, похожей на "и", да и носит неправильное название в азбуке — «и-краткое»; "й" — **согласный звук**, куда ближе, чем к "и", стоящий к "х"; так говорят ученые звуковеды — фонетики, или фонологи. Но это нам пока неважно.)

Звук этот мы часто изображаем при помощи буквы "й" и в русских словах: «мой», «дай», «буй», и в иностранных: «Нью-Йорк», «Йеллоустонский парк».

В то же время обозначаем мы его и через посредство различных других букв³⁹.

я
ю
е

йад — яд
йула — юла
йэда — еда

рейа — рея
пойу — пою
пойэзд — поезд

буйан — буян
ийуль — июль
вдвойэ — вдвое

ё
и

йож — ёж
йих — их

бойок — боёк
ручйи — ручьи

³⁹ Это значит, что каждая из этих букв: "я", "ю", "е", "ё", "и" — в определенных случаях (в начале слов, а также в середине и в конце слова после гласных звуков) означает слог, состоящий из звуками" плюс какой-либо гласный ("а", "у", "э", "о", "и").

мойо — моё
ульи — улы

Однако это еще не все способы. Сравните такие слова, как
пять
и пьяный

он лют
и они льют

веду
и въеду

Они различаются между собой опять-таки лишь тем, что во втором столбце между согласными и тем гласным, который идет за ним, слышен звук "и". А как мы обозначаем это на письме? Третьим и четвертым способом: при помощи букв «мягкий» или «твердый» знак.

Значит, наоборот: бывает, что **один и тот же звук у нас может выражаться самыми разными буквами**, а вовсе не всегда одной и той же.

Почему это важно? Нужно раз и навсегда запомнить твердое правило языкознания: **никогда не путайте две совсем разные вещи — букву и звук**.

Верно: они связаны друг с другом. Но связь эта не так проста и не так пряма, как мы обычно думаем.

Именно поэтому люди и не могут **писать так**, как они **говорят и слышат**. Именно поэтому и нужны нам уроки **правописания**.

ЕЩЕ ОДНА «РЕДКОСТНАЯ» БУКВА

Я говорю теперь о русской букве "а".

— Скажите, пожалуйста, — пожмете вы плечами, — вот нашел редкость!

Да, но ведь я говорю о букве "а" в начале слов, когда она стоит в них первой.

— Ну и что же из этого?

— А вот что...

Обыкновенно мы думаем, что нашему устному языку, так сказать, все звуки, а письменному все буквы равны, что у них никак не может быть среди букв любимиц и заброшенных падчериц. А на самом деле язык относится к своим звукам — а через них и к выражающим их буквам — далеко не беспристрастно. Одними он пользуется на каждом шагу, к другим обращается очень редко. Одни одинаково встречаются и в начале слов и в их конце, и посередине, других же вы никогда не найдете: этой в начале, той в конце.

— Подумайте сами, много ли есть **русских** слов, которые кончались бы на "э"? Боюсь, что вы их не найдете⁴⁰. А таких, которые начинались бы на "ы"?

На первый взгляд кажется, что если даже так, никакого значения в нашей жизни эта особенность языка не имеет. Неверно! Бывают случаи, когда людям приходитсяделиться на группы по «буквам», — скажем, по «инициалам их фамилий». Во время выборов в Советы депутатов трудящихся, например, все избиратели подходят за получением выборных бюллетеней к столам, над которыми укреплены буквы, соответствующие этим «инициалам».

Сходите в пункт голосования при ближайших выборах и понаблюдайте. Над некоторыми столами надписаны одна, много — две буквы: "б", "п" или "к". Над другими же укреплены таблички с несколькими буквами на каждой: у ф х ц ч ш щ э ю я. Здесь к одному столу спешат сразу и Унковские, и Федотовы, и Цветковы — граждане, фамилии которых начинаются с разных букв. Казалось бы, у таких столов всегда должна стоять толпа народа. Оказывается,

⁴⁰ «Кашнэ», «пенснэ» и т.п. — это всё, конечно, заимствованные слова. «Cache-nez» по-французски значит «прячь кос», «ripse-nez» — «зашеми нос». Впрочем, в этих словах уже давно никто "э" не пишет.

наоборот: там людей всегда меньше, чем у столов с отделенными друг от друга буквами "е", "к" или "о". Почему это?

Потому, что фамилий, начинающихся с "у" или "щ", **всегда** гораздо меньше, чем фамилий с "б" или "в". И это не случайность, это закон языка.

Вот я беру обычный городской телефонный справочник. Фамилии на букву "к" занимают в нем 15 с лишним страниц. Фамилии на "п" — 9, на "б" — почти 10 страничек. Фамилий же на "у" набралось всего на 0,9 одной странички, на "ц" — на одну, на "щ" — около полстранички. Их в тридцать раз меньше, чем начинающихся с буквы "к"!

Может быть, так обстоит дело только с фамилиями? Ничуть. И «слова вообще» подчиняются тому же свое-, образному закону. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией профессора Д. Н. Ушакова буква "п" (то есть слова, начинающиеся с буквы "п") заполнила собою 1082 столбца, — 541 страницу, почти три четверти третьего тома. А сколько же в нем досталось на долю тех слов, в начале которых стоит буква "щ"? Всего 5 страничек! Их уже в 108 раз меньше, чем их «многолюдных», многословных собратьев. Закон выражен еще более резко.

Казалось бы: ну, а что нам за дело до этого закона? Не все ли равно, в конце концов, каких слов меньше и каких букв меньше в словах?

Все кажется безразличным, пока не займешься этим делом вплотную. Своеобразные капризы языка имеют немалое чисто практическое значение.

Х В наборных цехах типографий из-за них никак нельзя запастись одинаковое количество металлических литер "п" и "щ"; с такой кассой невозможно будет набрать ни одной книги: если "п" иссякнет при этом на сотой странице набора, то "щ" останется еще на 9900 страниц! Так работать нельзя: приходится приспосабливаться к требованиям языка, запастись одних букв гораздо меньше, других много больше. И надо знать, во сколько раз больше.

Приглядитесь к любой пишущей машинке. Буквы "п", "р", "к", "е" и другие, чаще встречающиеся, расположены на ее клавиатуре поближе к центру, так сказать «под рукой» у машинистки. Буквы же вроде "э", "ы" или нашего знакомого "ф" загнаны на самый край; не так-то уж часто они понадобятся!

Значит, закон языка пришлось учесть и инженерам-конструкторам этих полезных машин; его применение облегчает труд машинисток. Если вам попадется в руки блокнот-алфавит, перелистайте его. Вы увидите, что закон наш принят и тут во внимание: под буквы распространенные отведено по несколько страничек, а под "щ" да "я" — по одной-единственной. Кто бы ни записывал какие-либо фамилии в свой блокнот, кем бы ни были его знакомые — носители этих фамилий, непременно среди них "людей с буквы „к“" окажется в конце концов много больше, чем тех, чьи фамилии начинаются на "у" или "э".

Руководствуясь этим же законом, выборные комиссии рассаживают за столами работников, военные учреждения назначают сроки явки призывников. Законы языка и языковедения проявляются в самых неожиданных областях жизни. Недаром и народная поговорка про язык гласит: «Не мед, а ко всему льнет!»

До сих пор мы говорили только о нашем, русском языке. Что же, и в других языках действует этот самый закон?

Да, и в других. Но всюду по-своему. Те звуки, которые «нравятся» одному языку, в другом находятся «на задворках»,-и наоборот. Те, которые русский язык охотнее применяет в конце слов, в других языках могут чаще всего стоять как раз в их начале.

Возьмите наш звук и нашу букву "ы". **Звук "ы"** мы иногда, сами того не замечая, произносим в начале наших слов (например, в таких сочетаниях, как «дуб, ыва и береза» или «сон ы явь»), но **букву "ы"** никогда не пишем на этом месте.

Турецкий же язык и особенно языки народов нашего далекого северо-востока бесстрашно помещают ее всюду, в том числе и в самом начале многих слов.

Наше слово «шкаф» в Турции звучит «ышкаф», «Теплый» по-турецки будет «ылы», «честь» — «ырц», Страну Ирак в Турции называют «Ырак». Для турка "ы" — самая обычная первая буква слова. Но все это пустяки по сравнению с языком чукчей или камчадалов. Чукотские слова буквально пестрят звуком "ы": «ытри» — «они»; «рырка» — «морж». Мне, автору этой книжки, повезло: один мой рассказ — «Четыре боевых случая» — перевели в свое

время на чукотский язык. Он называется там так: «Нырак мараквыргытайкыгыргыт».

Пять "ы" в одном слове! Вот это действительно «предпочтение»!

Теперь мы можем вернуться к той, также довольно странной и редкой букве русской азбуки, с которой начали разговор, к букве "а".

Русскому языку очень свойственны слова, где эта буква встречается в середине и на конце, означая там звук "а". Самым распространенным окончанием существительных женского рода является, как все хорошо знают, именно "а": «рука», «нога», «банка», «удочка». Очень часто встречаем мы звук и букву "а" и в середине слова: «баран», «катать», «купанье». Вероятно, вам кажется, что и начало слова не запрещено для нее.

Но вот оказывается, что русский язык почти совершенно не терпит слов, начинающихся со звука и буквы "а"⁴¹. Опять возьмите в руки «Толковый словарь русского языка» — книгу, добраться до которой должен каждый начинающий лингвист! — и просмотрите первые страницы первого тома. Здесь довольно много слов на "а". Но почти около каждого из них указано, что это слово либо пришло к нам (часто вместе с тем предметом, который оно обозначает) откуда-нибудь со стороны, от какого-нибудь, иной раз довольно далекого, народа (например, слово «ананас»: ведь этот фрукт раньше не был известен нигде, кроме Южной Америки; понятно, что многие народы усвоили себе индейское название его); либо же оно взято из древних, давно ставших мертвыми языков — латинского и греческого (из этих языков все нации Европы давно уже черпают новые слова для своей научной речи, например: «авиация», «автомобиль», «анемон» и тому подобное).

Вот примерный перечень тех слов, с которых начинается каждый русский словарь:

Абазур — франц. слово.

Абаз (монета) — персидск.

Абака (род счетов) — греческ.

Аббат — из сирийск. яз. (**абба** — отец, батюшка).

Аберрация (астрономический термин) — латынь.

Абзац — немецк. (satz — фраза).

Абитуриент (оканчивающий учебное заведение) — латынь.

Я выписал первые семь слов, но их очень много. На восемнадцати первых страницах словаря из русских по своему корню слов попадают только «авось», «ага», «агу», «аз» и «азбука» (да и то последние два — старославянские).

Что же это значит? Иной подумает, пожалуй, что такое обстоятельство является своеобразным недостатком нашего языка.

Это, конечно, было бы величайшей нелепостью. Русских слов на "а" мало не потому, что мы их не сумели выдумать, а потому, что здесь действует закон, о котором я вам уже говорил: наш язык «не любит» начинать свои слова с такого «чистого», «настоящего» "а", — только и всего. И дело лингвистов — не горевать по этому поводу, а постараться выяснить, почему так получилось, почему наметилась в языке такая многовековая привычка.

То же самое мы замечаем, впрочем, и в других языках. Так, например, во французском словари почти нет собственных слов, которые начинались бы на буквы «х, у, з» или на сочетания букв «th».

Может быть, вас не удовлетворит такое объяснение? А почему у русского языка образовалась именно такая, а не какая-нибудь иная «привычка»? Пока далеко не всегда возможно такое объяснение дать. Но, несомненно, лингвисты будущего постараются разгадать до конца и эту загадку.

Любопытно было бы, кстати, если бы вы взяли на себя труд проверить состав тех слов на "а", которые стоят в наших словарях. Вы, я думаю, убедились бы в довольно любопытной вещи: огромное большинство среди них — существительные. Прилагательных и глаголов почти вовсе

⁴¹ Я намеренно подчеркиваю, что речь идет о «букве», которая обозначает этот звук. Существует множество русских слов, которые начинаются со звука, очень похожего на "а": «абычай», «асока», «атава». Но ведь мы пишем такие слова через "о": «обычай», «осока», «отава». Сейчас у нас нет речи о таких словах, как бы они ни произносились.

нет. Почему?

Да именно потому, что все это слова-пришельцы. А хотя наш язык, как и все языки, охотно пополнял свой словарный состав за счет словарного состава других языков, все же «пополнял» он его очень осторожно, разборчиво и не слишком щедро⁴².

Наш язык брал себе те слова, которыми называли за рубежом различные предметы, не встречающиеся в нашей стране: фрукты ананас и апельсин, зверя аллигатора, птицу альбатроса. Что же до названий различных **качеств** предметов или всевозможных **действий** над ними, то русские люди знали искони почти все главные качества вещей, какие мы наблюдаем в мире, умели выполнять все нужные человеку действия. Для них язык издревле имел свои слова, — надобности в чужом словаре не встречалось.

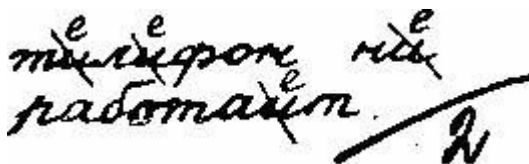
Вот к каким выводам приводит внимательное рассмотрение некоторых букв нашей речи и выражаемых ими звуков ее.

ОЧЕНЬ ЛИ ТРУДНО РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ?

Звук — это одно, а буква — это другое. Такой, казалось бы, безобидный языковедный закон, а сколько огорчений он вызывает у школьника!

Написано «борода», а читать надо «барада».

Хочется написать: «тилифон ни работаит», а изволь писать, как никто не говорит: «телефон не работает».



И вот возникают ошибки. А за ошибками разные неприятности... Зачем же было заводить в нашей орфографии такую никому не нужную сложность?

Вопрос этот надо разбить на два.

Во-первых, легче ли было бы писать, не будь наша орфография сама собою, то есть если бы каждый писал «в точности так, как выговаривает»? Во-вторых, действительно ли так уж трудна наша грамота? Интересно, легче орфография других языков или труднее?

На первый вопрос дается ответ в больших учебниках и научных работах, которые подробно рассказывают, как и почему именно так решено писать по-русски. Я здесь сейчас попытаюсь только осветить положение вещей одним простейшим примером.

Вспоминается мне маленький, почти разбитый снарядами городок в дни Великой Отечественной войны, дорога от наших постов к его окраинам и столб возле дороги. На столбе стрела и странная надпись «**Оптека**».

Я и еще несколько офицеров стояли под этим столбом и крепко ругали чудака, который такую надпись сделал. Как нам теперь было понять: что́ находится там, за углом, на улицах городка, по которым уже свистели фашистские пули? Если там и верно «аптека» — дело одно; надо немедленно послать туда бойцов, не считаясь с опасностью, вынести все лекарства, какие там могли остаться, бинты, йод. Все это было нам очень нужно. Если же «оптика», — так ни очки, ни фотоаппараты нас в тот момент не интересовали.

«И как только грамотный человек может это такое написать?» — ворчал майор.

⁴² Любопытно отметить: есть случаи, когда, как бы вразрез со всем, что я сказал, слова, заимствованные нами, в своем родном языке вовсе не начинались на "а" и приобрели это начальное "а" именно уже на русской почве. Таково, например, наше слово «арбуз». Оно взято из иранского языка; однако там дыня называется «хярбюзэ́». Слово это, всего вероятнее, проникло с юга сначала в украинский язык, где и осталось жить в форме «гарбуз», а оттуда уже переселилось к нам и приобрело здесь свой нынешний, явно нерусский вид. Занятно, что в турецком языке иранское «хярбюзэ́» превратилось в «карпу́з» (арбуз), из которого, весьма вероятно, родилось наше «карапуз» (маленький, кругленький человек).

Тогда среди остальных возник спор. Одни утверждали, что неизвестный нам автор надписи был, несомненно, или из Ярославской области, или из Горьковской. В этих местах люди «окают», — говорят на "о", четко произнося не только все те "о", которые написаны, но иногда, по привычке, выговаривая этот звук даже там, где и стоит "а" и надо сказать "а". Тому, кто родился на Волге или на севере, отделаться от этой привычки нелегко. Валерий Чкалов говорил на "о", Максим Горький заметно «окал». Так произошла и эта ошибка: человек, конечно, хотел написать «аптека». Но произносил-то он это слово — «опте́ка». Так он его изобразил.

Однако многие не согласились с этим. По их мнению, все было как раз наоборот. Есть в нашей стране области, где люди «акают», «екают» и «и́кают». Одни говорят так, как в пословице: «С МАсквы, с пАсада, с калашнАвА ряда», произносят «пАнИдельник», «срИда», «мИдвИжонАк». А другие, наоборот, выговаривают «пАнедельнЕк», «белЕберда». Ну и пишут, как **произносят** ! Может быть, тот, кто это писал, был именно человек «екающий». Он слово «оптика» слышал и говорил как «о́птека», да так его и написал на столбе. Значит, аптеки там нет.

Спор наш тогда ничем не кончился. Но это и неважно.

Действительно, в нашей огромной стране много областей; в нашем языке немало различных диалектов, местных говоров. Даже такие близкие города, как Москва и Ленинград, и те говорят не совсем одинаково: москвичи выговаривают «скуШНА», а ленинградцы — «скуЧНА»; в Москве известный прибор для письма называют «ручка», а в Ленинграде — «вставочка»... Одна и та же фамилия — ну, скажем, Мусоргский — в Ленинграде произносится «Му́соргский», как пишется; в Москве — как нечто среднее между

Мусорг-ской

Мусорг-скай

Мусорг-скій

Мусорг-ский

Есть области, где даже сейчас вы услышите такие странные окончания, как «испей кваскю», «кликни Ванькю»... Есть места, жители которых все еще произносят вместо сочетания звуков «дн» совсем другое — «нн»: «онно» вместо «одно», «на нно» вместо «на дно».

Областей и говоров много, а русский язык один. И для того чтобы все русские люди могли свободно понимать речь друг друга, чтобы наши книги и газеты могли читаться с одинаковой легкостью и под Ленинградом, и в Горьком, и около Астрахани, — необходимо, чтобы всюду действовало одно и то же **общерусское** правописание, одна единая грамота и орфография. Иначе, что́ бы сказали вы, если бы в собрании сочинений Пушкина прочли такие строчки:

Бахат ы славин Качюбей,
Иво луха ниабазримы...?

Понять их было бы вам довольно затруднительно. И можно сказать твердо, что «писание по слуху», а не по правилам орфографии не облегчило бы ваш труд, а сделало бы изучение грамоты почти невыносимым: приходилось бы вместо одного русского правописания заучивать десятки областных — для каждого места в отдельности. Недаром же старинная белорусская поговорка говорит: "Что весь⁴³, то и речь. Что сельцо, то и словцо"! Так уж давайте лучше остановимся твердо на одной общей орфографии.

Так наука отвечает на первый вопрос.

БУКВА-ПУГАЛО И ЕЕ СОПЕРНИКИ

⁴³ Весь — деревня, селение.

Значит, писать так, как каждый слышит, невозможно, Гораздо удобнее писать как принято, как требуют правила орфографии.

Так ли это? Так! Но не всегда!

Все, наверное, слышали про букву-страшилище, букву-пугало, про знаменитый «ять», облитый слезами бесчисленных поколений русских школьников. Однако далеко не все теперь знают, что́ это было такое.

В нашем нынешнем письме существуют два знака для звука "е": "е" и "э", или «э обратное».

Это более или менее понятно; сравните произношение таких слов, как «монета» и «Монэ» (фамилия известного французского художника Клода Моне), «стэк» и «текст». «Додэ» (фамилия французского писателя) и «доделал». Сопоставьте слова вроде «эхать» и «ехать», «электричество» и «еле крутится», — вы поймете, для чего нам нужны эти две буквы⁴⁴.

Но до 1918 года в русской азбуке была и еще одна буква "е", этот самый «ять», похожий по своему внешнему виду на значок планеты Сатурн, изображенный на этой странице.



По причинам, которые вам сейчас покажутся совершенно неясными, слово «семь» писали именно так: **«семь»**, а слово «смя» совершенно иначе, **через «ять»**.

Всмотритесь в этот небольшой список примеров.

В мелком пруду,

и

Пиши мелком.

Ели высоки.

Мы ели суп.

Это не мой кот.

Этот кот немой.

Начался вечер.

Поднялся ветер.

Туда прибрел и вол.

Я приобрел вола.

⁴⁴ Строгое соблюдение резкой разницы между звуком "е" и звуком "э" в дореволюционные времена считалось признаком образованности, хорошего воспитания, культурного лоска, «Електричество» вместо «электричество», «екзамен», «екипаж» произносили простолюдины. Это забавно отразилось в творчестве одного из поэтов того времени, Игоря Северянина: в погоне за «светским тоном» своих стихов он простодушно нанизывал слова, содержащие "э" («Элегантная коляска в электрическом биении эластично шелестела:..») или даже заменял букву "е" буквой "э" «просто для шика»: «Шоффэр, на Острова!» Это было понятно: Северянин боялся простонародности. Более странно, что сейчас многие у нас, неведь почему, допускают такую же «элегантность» в произношении. Не редко слышишь, как молодые люди выговаривают «рэльсы» вместо правильного «рельсы», «пионэр» вместо «пионер» и даже «шинэль» вместо «шинель». Вот уж это напрасно!

В примерах правого столбца вместо буквы "е" прежде всегда писался «ять».

Попробуйте, произнося эти предложеньца по несколько раз подряд, расслышать разницу в звуках "е" в левом и правом столбцах. Вы ровно ничего не услышите: звуки в тех и других случаях совершенно сходны. А писались до 1918 года эти слова совершенно по-разному. Почему? Зачем?

Причина, конечно, была, и даже довольно основательная. Было время, когда звук "е" в словах правого и левого столбцов являлся отнюдь не одинаковым, причем разницу эту мог уловить на слух каждый нормальный человек. Доказать, что так было, не столь уж трудно.

Поступим, как языковеды: сравним некоторые русские слова, в которых имеется звук "е", с близкими к ним, похожими на них словами украинского и польского языков.

По-русски:

По-украински:

По-польски:

Степь

Степ

Степ

Верх

Верх

Верх

Без

Без

Без

Беда

Бида

Бяда

Лес

Лис

Ляс (до лясу)

Вера

Вира

Вяра

Белый

Билый

Вялый

Место

Мисто⁴⁵

Място⁴⁶

⁴⁵ В украинском и польском языках слово это означает «город». Здесь украинское и польское правописание не воспроизведено.

⁴⁶ В украинском и польском языках слово это означает «город». Здесь украинское и польское правописание не воспроизведено.

В последних пяти русских словах до 1918 года стоял «ять».

Очень легко заметить: там, где по-русски **всегда** писалась буква "е", в украинском и польском в родственных словах тоже стоит "е". Зато там, где у нас раньше был «ять», украинцы и поляки часто произносят другие звуки, обозначая их иными буквами. Это может говорить только об одном: звук "е" и в наших словах в этих случаях был когда-то далеко не одинаковым.

Так было. Но было это давным-давно, столетия назад, В XX веке уже ни один русский не мог при всем желании на слух заметить столь тонкую разницу: язык постепенно изменился. В словах «ветер» и «вечер», «мелок» и «мелко» звук "е" произносится совершенно одинаково. Сами подумайте, легко ли тогдашним школьникам было **на память** заучивать, что «мелко» и «вечер» пишется через "е", а «мелок» и «ветер» — через «ять», что через «ять» почему-то надо писать имя австрийского города Вены, тогда как итальянский город Венеция прекрасно обходится обыкновенным "е"⁴⁷.

Конечно, нелегко. Да и ни к чему! А вышло так по простой причине: живая человеческая речь, устный язык меняется очень понемногу, постепенно, незаметно. Правила же письменной речи надо менять вдруг, и менять сознательно, искусственно, везде одинаково, сразу по всей стране. Это не так-то просто; решаются на это не часто; поэтому письменность каждого языка обычно **отстает** на много лет от более быстрых и постепенных изменений устной речи; так ребенок вырастает из сшитой на него год назад шубейки.

Знаменитый «ять» был не одинок в русской грамоте прошлых лет.

Вот дореволюционный справочник «Весь Петроград», В нем люди с фамилией Федоров помещаются в двух совершенно различных местах: одни — на странице 396-й, а другие — на 805-й. Почему? А потому, что фамилия эта могла писаться двояко: и через "ф" и через «фиту», кто как хотел; буквы же эти значились в разных местах алфавита.

Звук "ф" всюду произносили одинаково; но «фигура», «филин» или «финал» писались через "ф", а «арифметика» или «анафема» — через «фиту». В те времена и в «Полтаве» Пушкина была только одна буква "ф" — в слове «цифр». Мы знаем теперь, как это и почему получилось.

Имелось тогда у нас три слова, которые выговаривались совершенно сходно (в первом слог):

мир (тишина, спокойствие), **мир** (вселенная), **миро** (душистое вещество).

Писались же они все три совсем различно. Звук "и" изображался в них тремя различными буквами:

мир — тишина,

мір — вселенная,

мро — благовоние.

Правда, слов, пишущихся через «ижицу» (і), в русском языке было не более десятка; но все же недаром, видно, с ней связалась у школьников прошлого довольно мрачная приговорка: «фита да ижица, — розга к телу близится».

Советская власть в первые же годы своего существования уничтожила буквы-ископаемые⁴⁸. Поэтому вам сейчас писать по-русски грамотно много легче, чем когда-то было вашим отцам и дедам.

Но, может быть, другим народам в других языках удалось создать еще более удобные и согласные с живой речью системы правописания?

⁴⁷ На самом деле для такого разного написания опять-таки были свои основания. Слово «Венеция» на европейских языках звучит то как «Вэниз», то как «Вэнэдиг», тогда как «Вена» по-немецки будет «Виин», по-французски — «Вьенн». Наши деды старались передать в русском письме эту разницу.

⁴⁸ «Фиту» и «ижицу» перестали употреблять на практике еще раньше.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА АЙВЕНОУ

Говорят, что некогда в Англию приехал один русский путешественник. Английский язык он отчасти знал, — мог немного разговаривать; фамилию носил самую обычную — Иванов. Когда в гостинице понадобилось записать эту фамилию в книгу приезжающих, он поразмыслил, как поточнее передать русские звуки английскими, латинскими буквами, и записал, как делал в других странах: «Ivanow».

Каково же было его удивление, когда утром коридорный приветствовал его: «Доброе утро, мистер Айвеноу!»

«Странно! — подумал Иванов. — Я же написал совершенно точно: „Ivanow“. Может быть, на английский слух это слово как-нибудь нехорошо звучит? „Айвеноу“ им кажется лучше? Ну что же, что город, то норов».

Сойдя в вестибюль, он спросил книгу и переделал вчерашнюю запись на «Ajvenou».

После прогулки он вернулся домой. Коридорный посмотрел на него как-то сомнительно. — Добрый вечер... мистер Эйвену!.. — не совсем уверенно проговорил он.

Иванов поднял брови. «Что такое? Сегодня им уже и Айвеноу не нравится? Нелепо! Ну ладно! Будь повашему: Эйвену так Эйвену!»

Он снова потребовал книгу, зачеркнул старое и, нахмутив лоб, написал: «Eivenu».

Наутро тот же служащий вошел в его номер с растерянным лицом. Потупясь в землю, он пробормотал:

— С добрым утром... мистер... мистер... Ивэнью...

Иванов бессильно откинулся на спинку кресла.

«Нет, — подумал он, — тут что-то не так! С чего они все время перековеркивают мою фамилию? Надо, прежде чем ее писать, посоветоваться с каким-нибудь здешним языковедом».

Он попросил принести справочник и, найдя там адрес лингвиста по фамилии Knife, направился к нему.

Интересно, как прошла их беседа? Всего вернее, вот так:

— Здравствуйте, мистер Книфе, — вежливо сказал Иванов.

— Хэллоу! — бодро ответил профессор. — Здравствуйте! Но моя фамилия не Книфе. Меня зовут Найф!

— Найф? Однако вот тут написано...

— О, — засмеялся Найф, — написано! Но ведь вы же в Англии! У нас пишется одно, а выговаривается нечто совсем иное! Мы пишем «Книфе», потому что это слово, обозначающее нож, пришло к нам из древнегерманских языков. Там оно звучало как «книф»: недаром даже французы именуют перочинный ножик «canif». Но буква "к" перед "н" у нас не выговаривается, а буква "i" выговаривается как «ай».

е
 |
 у—и—ее
 |
 i

— Всегда? — удивился Иванов.

— Что вы! Нет, совсем не всегда! — с негодованием вскричал профессор. — В начале слова она произносится как "и": «импотэд» (ввезенный), «инфлексибл» (несгибаемый).

— Но в начале — тут уж всегда так?

— Ни в коем случае! Например, слово «iron» (железо) произносится «айэн». «Ice» (лед) — «айс»... Я хотел сказать: в начале некоторых не чисто английских — заимствованных слов. Но

таких у нас добрая половина! Поняли?

— Более или менее... Как же у вас тогда обозначается звук "и"?

— Звук "и"? Да проще простого: тысячью различных способов. Иногда, как я вам уже доложил, через обыкновенное "и" (мы его называем «ай»), например «indigo» (индиго)... Иногда через "е" (букву "е" мы как раз зовем "и"). Вот слово «evening» (ивнинг) — вечер... В нем первое "е" означает "и", второе "е" ровно ничего не обозначает, а "и" в последнем слоге опять-таки читается как "и". Впрочем, иной раз вместо "и" пишется два "е". Слово «to sleep» (спать) надо читать «слип»; «спид» (скорость) пишется «speed». А то еще для этого прекрасно употребляется сочетание из двух букв — "е" и "а" (букву "а" мы для удобства называем «эй»): «dealer» — это «дилэ», купец. «Deacon» (дякон) читается как «дикон». Или, если нам этого недостаточно, через посредство буквы "у", которая в английском языке носит название «уай». Например, «prosperity» — «просперити», процветание. Ну, а затем...

— Довольно, довольно! — обливаясь холодным по́том, возопил Иванов. — Ну и правописание! Это же не орфография, а адский лабиринт!

Профессор Найф пожал плечами...⁴⁹

А если бы наш путешественник проявил большее терпение, он узнал бы от почтенного лингвиста много еще более удивительных и неожиданных вещей.

Есть древнегреческое слово, название одной из бесчисленных богинь эллинского Олимпа: «Псюхэ», или «Психэ». Оно означает «душа», «дух», «дыхание».

Почти во всех европейских языках привилось это словечко: мы встречаем его в русском языке в названии науки «психология» и в связанных с ним словах: «психиатр», «психика»... Самое имя греческой богини «Псюхэ» у нас передается как «Психея», во Франции — «Псишэ́», у немцев — «Псю́хэ». Оно и неудивительно: написанное латинскими буквами, оно выглядит как «Psyche».

У англичан это слово пишется почти так же, как у французов, — «Psyche», но выговаривается оно — «сайки». Да, именно «сайки», не более и не менее! В писаном слове нет ни "а", ни "и", ни "к", а в звучащем все это налицо. Наоборот: в писаном слове есть "п", есть «игрек», есть «це», есть "х", а в звучащем ничего этого нет — ни признака. Вот это правописание!

Впрочем, французам тоже не сто́ит гордиться легкостью их орфографии. Французское название месяца августа пишется так: «а + о + у + т» = «aout», а произносится... "у"! Да, "у" — один-единственный звук!

Как могла получиться такая дикая нелепость? Тем же способом, о котором мы уже говорили по поводу нашего «ятя».

Чтобы понять, что́ именно здесь произошло, мало знать историю одного лишь языка — французского. Надо обратиться к временам Древнего Рима.

Свое название августа французы взяли из древнелатинского языка. Там этот месяц назывался «аугустус» — «великий» (от глагола «аугерэ» — увеличивать) в честь одного из римских императоров — Августа. За сотни лет, прошедших с той поры, французская живая речь совершенно изменила облик слова, потеряв из него все звуки, кроме одного "у". А письменная речь, следуя за устной, но отставая от нее, и по сей день застряла на полдороге: она рассталась с окончанием «стус», она изменила и корень, но все же кое-какие, ставшие «немыми» буквы не решилась упразднить. Так и появилось орфографическое чудовище —

⁴⁹ Как известно, великий английский драматург и самый остроумный человек Англии за всю первую половину XX века, ирландец Бернард Шоу вел яростную борьбу за «исправление» английской орфографии. Он даже оставил крупную сумму денег на работы в этой области. Издеваясь над нелепостями английского правописания, он сообщил для примера, как, руководствуясь современной орфографией, лично он написал бы слово «fish» — рыба. "Букву "f" я бы лично заменил двойной литерой «gh», ведь в слове «laugh» (смех) она звучит именно как "ф". Вместо "i" я взял бы "o" из слова «woolen», в котором оно обозначает точно такой же звук. Для звука "ш" (sh) сошло бы сочетание «ti» — ведь в слове «nation» именно им передается это "ш". В результате вместо «fish» мы увидели бы чисто английское изящное написание «ghoti». Оно ничуть не менее логично, чем половина других английских написаний". (Цитирую по «Ин. литература», 1964, № 6, стр. 276, где высказывание Шоу дано в вольном изложении.)

слово, которое произносится в один звук, а пишется в четыре буквы: «аоут», равное "у".

Англичане и французы утешают себя тем, что «бывает и хуже». Плохо, если в английском языке словечко «до'тэ» (дочь) пишется «daughter»; но это пустяк по сравнению с ирландским «кахю», которое на письме изображается так «kathudhadh».

Это, конечно, утешение, но слабое. Однако заметим себе, что, очевидно, улучшать правописание не так-то просто; понадобилось могучее воздействие Великой Октябрьской социалистической революции, чтобы упразднить букву «ять» и другие нелепости нашей азбуки. А кроме того, надо сказать и вот еще что: языковеды, лингвисты втихомолку благословляют эти самые нелепости. Благодаря им письмо доносит до нас из далекого прошлого такие сведения о звуковом составе и всего языка и некоторых его слов в частности, которые ни за что бы до нас не дошли, если бы написание слов менялось тотчас же вслед за их произношением.



Чтобы подтвердить это примером, вспомним хотя бы о букве, которая, пожалуй, стоила нашему народу дороже, чем другие.

САМАЯ ДОРОГАЯ БУКВА В МИРЕ

Буква "ъ", так называемый «твердый знак», сейчас ведет себя тихо и смирно на страницах наших книг.

Как маленький скромный труженик, она появляется то тут, то там и выполняет всегда одну и ту же работу. Сравните такие пары слов:

обедать и объедать
сесть и съестъ

В чем разница между словами, которые в эти пары входят?

В слове «съестъ» звук "е" произносится не так, как мы его обычно выговариваем в середине слов, а так, как в начале: не как "е", а как «йэ». Ведь в начале слов буква "е" означает всегда не звук "е", а два звука: "й" + "е". Мы уже это видели на предыдущих страницах.

А раз это так, то у нас и создается впечатление, что слово с «ером» внутри произносится раздельно, как бы в два приема, с «двумя началами»:

Об + явление; суб + ект.

Поэтому говорят, что у твердого знака здесь роль разделителя. Но кроме того (и это мы уже отмечали), он просто заменяет собою «йот».

Что ж, работа не слишком заметная, но необходимая. Правда, у твердого знака-"ера" есть в ней некоторый соперник, его меньшой братец — «ерь», или «ерик», — мягкий знак. Но труды между ними поделены: мягкий знак выступает там, где согласный звук перед «разделением» якобы смягчается; твердый должен указывать на отсутствие такого «смягчения» после приставок (хотя, признаться, в живой, звучащей речи это различие просто не замечается):

вь + юга, но вь + явь;
убь + ёт и обь + ект.

Так или иначе, «ер» работает, трудится. Попробуйте убрать его с места, произойдет недоумение: читающий растеряется, не узнает самых обычных слов. Что значит «подезд»? Что

значит «вявь», если рядом стоит «вязь»?

Итак, спасибо полезной букве, твердому знаку!

Но это только сейчас он стал таким тихим, скромным и добродетельным.

Недалеко ушло время, когда не только школьники, учившиеся грамоте, — весь народ наш буквально бедствовал под игом этой буквы-разбойника, буквы-бездельника и лодыря, буквы-паразита.

Тогда о твердом знаке с гневом и негодованием писали лучшие ученые-языковеды⁵⁰. Тогда ему посвящали страстные защитительные речи все, кто желал народу темноты, невежества и угнетения. Может быть, я преувеличиваю? Судите сами.

Возьмите первую фразу предыдущего абзаца:

Тогда о твёрдомъ знаке съ гнвомъ и негодованіемъ...

Еще не так давно, в 1917 году, напиши я ее, мне пришлось бы поставить в ней четыре твердых знака: на конце слов «твердом», "с", «гневом», «негодованием». И во всех этих случаях он стоял бы там совершенно зря. С ним или без него каждый прочел бы эту фразу совершенно одинаково. Он ничему не помогал, ничего не выражал, решительно ничего «не делал».

Так вот теперь и прикинем: дешево ли обходилась нашему народу в те дни эта буква-лодырь?

Я читаю знаменитый роман Льва Толстого «Война и мир». Это старинное издание: оно вышло в свет в 1897 году и состоит из четырех одинаковых томов, по 520 страниц в каждом. Всего в нем 2080 страниц.

Интересно, нельзя ли подсчитать: сколько на таких 2080 страницах уместилось букв вообще и какую долю этого числа составляли тогда твердые знаки?

Это легко. На каждой странице в среднем 1620 букв. Из них — тоже в среднем — на страничку приходится — 54-55 твердых знаков. Здесь побольше, там поменьше, но в среднем так. Кто знает арифметику, подсчитает: эти три с небольшим сотых общего числа — 3,4 процента.

Теперь ясно: на 2080 страниц романа высыпала армия в три миллиона триста семьдесят тысяч букв. Каждая из них выполняет свою боевую задачу: каждая помогает вам усвоить мысль гениального писателя. И вдруг среди этих черных солдат замешалось 115 тысяч безоружных и никчемных бездельников, которые ровно ничему не помогают. И даже мешают. Можно ли это терпеть?

Ь Ъ Ъ Ъ
Ь Ъ Ъ Ъ
Ь Ъ Ъ Ъ
Ь Ъ Ъ Ъ
Ь Ъ Ъ Ъ
Ь Ъ Ъ Ъ

Если бы все твердые знаки, бессмысленно рассыпанные по томам «Войны и мира», собрать в одно место и напечатать подряд в конце последнего тома, их скопище заняло бы 70 с лишним страничек.

Это не так уж страшно. Но ведь книги не выпускаются в свет поодиночке, как рукописи. То издание, которое я читаю, вышло из типографии в количестве трех тысяч штук. И в каждом его экземпляре имелось — хочешь или не хочешь! — по 70 страниц, занятых одними никому не нужными, ровно ничего не означающими, «твердыми знаками». **Двести десять тысяч драгоценных книжных страниц, занятых бессмысленной чепухой!** Это ли не ужас?

Конечно, ужас! Из 210 тысяч страниц можно было бы сделать 210 книг, таких, как многие

⁵⁰ «Немой место занял, подобно, как пятое колесо!» — сердито говорил о твердом знаке М. В. Ломоносов еще в XVIII веке.

любимые вами, — по тысяче страниц каждая. «Малахитовая шкатулка» напечатана на меньшем числе страниц. «Таинственный остров» занимает 780 таких страничек. Значит, 270 «Таинственных островов» погубил, съел, пожрал одним глотком твердый знак!

Не смотрите как на пустяк на то, что я рассказал вам сейчас.

Постарайтесь представить себе ясно всю картину, и вы увидите, как буква может буквально стать народным бедствием.

Если на набор «Войны и мира» требовалось тогда, допустим, 100 рабочих дней, то три с половиной дня из них наборщики неведомо зачем набирали одни твердые знаки.

Если на бумагу, на которой напечатан этот роман, понадобилось вырубить, скажем, гектар хорошего леса, то целая роща в 20 метров длиной и 13 шириной пошла на те 210 томиков, в которых нельзя прочесть ровно ничего. Ни единого звука!

Становится прямо страшно. Но все это еще сущие пустяки. Разве в 1894 году была издана одна только «Война и мир»?

Нет, мы знаем: одновременно с ней вышло в свет еще около тысячи различных книг, толстых, тоненьких, разных. Будем считать, что каждая из них в среднем имела только 250 страничек и печатались они в те времена в очень небольшом количестве — по тысяче штук.

И тогда выйдет (а все это очень преуменьшенные цифры), что в старой, царской России в те дни ежегодно печаталось около **восьми с половиной миллионов страниц**, сверху донизу покрытых нелепым узором из сплошных твердых знаков. Целая библиотека — из многих тысяч томов, по тысяче страниц в каждом.

За этот счет можно было выпустить десятки увлекательных романов, десятки важных научных работ на той же бумаге. А ее съел твердый знак! Можно было напечатать на ней сотни букварей, тысячи полезнейших брошюр... Десятки тысяч человек стали бы читать эти книги, если бы они вышли в свет. Но всех их пожрал твердый знак!

Так было тогда, когда книги выходили в свет по тысяче, по две, по три тысячи штук каждая (и то только самые ходкие из них, самые популярные). А ведь теперь наши книги издаются в миллионах экземпляров; каждый год у нас в СССР в свет выходят десятки тысяч изданий под разными заголовками. Так сами подумайте, что произошло бы, если твердый знак не был в свое время разбит наголову, взят в плен, лишен всех своих старых прав и посажен за нынешнюю скромную работу...

Вам, наверное, все это покажется странным: ну, а неужели же люди до того времени не замечали и не понимали такой ясной вещи? Как же они мирились с подобной ахинеей?

Царские правители отлично видели все, что «творил» твердый знак. И тем не менее они всячески заступались за него. Почему? Да, пожалуй, именно потому отчасти, что он делал книгу чем-то более редким, более дорогим, отнимал ее у народа, прочным забором вставал между ними и знанием, черным силуэтом заслонял ясный свет науки. Им того и хотелось.

А Советская власть не могла потерпеть этого даже в течение года. Уже в 1918 году буква-паразит испытала то, что испытали и ее хозяева-паразиты, бездельники и грабители всех мастей: ей была объявлена решительная война. Не думайте, что война эта была простой и легкой. Люди старого мира ухватились за ничего не означающую закорючку "ъ" как за свое знамя⁵¹.

Правительство приказало уничтожить эту букву везде, где только она стояла понапрасну, оставив ее, однако, в середине слов в качестве «разделителя». Казалось бы, конечно. Но противники уцепились даже за эту оговорку.

В типографских кассах под видом разделителя было оставлено так много металлических литер "ъ", что буржуазные газеты и брошюры упорно выходили с твердыми знаками на конце

⁵¹ Может показаться, что я преувеличиваю. Так нет же: вот с каким истерическим визгом, на каких высоких нотах писал еще в 1917 году, ожидая неизбежной реформы правописания, в ретроградном журнале «Аполлон» некто В. Чудовский о букве «ять» (ее ожидала судьба, одинаковая с «твердым знаком»): «Убийство символа, убийство сути! Вместо языка, на коем говорил Пушкин, раздастся дикий говор футуристов... Могут законно отнять сословные, вотчинные, образовательные преимущества, — мы подчинимся законной воле страны; но букву „ять“ отнять у нас не могут. И станет она геральдичным знаком на наших рыцарских щитах...» (Журн. «Аполлон». 1917, № 4-5). Эти же неистовые вопли раздавались и по поводу твердого знака — «ера».

слов, несмотря на все запреты.

Пришлось пойти на крайние меры. Против буквы вышли на бой люди, действия которых заставляли содрогаться белогвардейские сердца на фронтах, — матросы Балтики. Матросские патрули обходили столичные петроградские печатни и именем революционного закона очищали их от «ера». В таком трудном положении приходилось отбирать уже все литеры начисто; так хирург до последней клетки вырезает злокачественную опухоль. Стало нечем означать и «разделительный ер» в середине слов. Понадобилось спешно придумать ему замену, — вместо него стали ставить в этих местах апостроф или кавычки после предшествующей буквы... Это помогло: теперь на всей территории, находившейся под властью Советов, царство твердого знака окончилось. Апостроф не напечатаешь в конце слова!

Зато повсюду, где еще держалась белая армия, где цеплялись за власть генералы, фабриканты, банкиры и помещики, старый «ер» выступал как их верный союзник. Он наступал с Колчаком, отступал с Юденичем, бежал с Деникиным и, наконец, уже вместе с бароном Врангелем, убыл навсегда в невозвратное прошлое. Так несколько долгих лет буква эта играла роль «разделителя» не только внутри слова, но и на гигантских пространствах нашей страны она «разделяла» жизнь и смерть, свети тьму, прошедшее и будущее...⁵²

По окончании гражданской войны все пришло в порядок. Мир наступил и в грамматике. Твердый знак смирился, как некоторые его покровители. Он «поступил на советскую службу», подчинился нам, начал ту тихую работу, которую выполняет и сейчас.

Бурная история самой дорогой буквы мира закончилась. По крайней мере, в нашей стране.

«ЕР» ВНЕ РОССИИ

Но когда наша Советская Армия вступила в 1944 году в освобожденную Болгарию, многие огляделись с удивлением.

Со всех стен, с вывесок, с газетных страниц, с обложек книг бросались в глаза бесчисленные твердые знаки, такое множество твердых знаков, о каком не могли мечтать даже самые свирепые грамматисты России столетие назад.



Даже люди пожилые, которые сами когда-то учились по правилам дореволюционной грамматики, представить себе не могли, как надо читать удивительные слова:

«бръснарница» (парикмахерская)

«бакърджия» (медник)

Заглавия детских книжек в витринах и те поражали своими начертаниями:

«Гълъбъ и пѣдпѣкъъ» (голубь и перепел)

«Кълвачъ и жълъдъ» (дятел и желудь)

Там, где он стоял на конце слов, твердый знак казался именно старым нашим знакомцем, буквой-паразитом. Там же, где он появлялся посреди того или иного слова, он, по-видимому, играл тут, в Болгарии, какую-то совершенно иную, незнакомую нам роль. Никак не похоже было, чтобы он мог выступать здесь и как «разделитель»: ведь он тут занимал положение **между двумя согласными**.

⁵² Можно было бы добавить к этому, что «ер» даже эмигрировал за границу вместе с разбитыми белыми. Так, на Западе кое-где и теперь (правда, все реже и реже) последыши прошлого издают еще книжки и газетки, в которых «царствует» старая орфография: с «твердым знаком», с «и с точкой», с «фитой» и «ижицей». Там до сих пор говорят о «мвропомазанных» самодержцах, вспоминают «святаго» Георгия и других «заступников».

Может быть, человек внимательный, не будучи ни лингвистом, ни «болгаристом», мог, понаблюдав за твердым знаком, своим умом дойти до истины? Вряд ли!

Вот болгарское слово «вълна». По-русски оно значит «волна».

Вот слово «вън». В переводе это будет «вон», снаружи. А рядом слово «външность», — означает: «внешность».

Вот еще несколько таких пар:

По-русски:

По-болгарски:

восхвалять
възхваля' вамъ

вопрос
выпро' съ

долбить
дълбамъ

кормилица
кърми' лница

Судя по этому, можно, казалось бы, предполагать, что «ер» просто заменяет у болгар наше "о".

Однако я могу привести другие слова, которые покажут, что это не совсем так:

По-русски:

По-болгарски:

суд
съд

рука
ръка

путник
пътник

трест
трѣст

пень
пън

зерно
зърно

торг
търг

рожь
ръж

собор, сбор
събор

ХОЛМ

ХЪЛМ

Получается, что один и тот же «ер» порою заменяет наше "у", иногда — наше "е" и часто — наше "о". Вопрос не упростился, а, наоборот, осложнился. Остается обратиться к болгарской грамматике.

Грамматика говорит нам: знак «ер» в болгарском языке очень часто означает вовсе не "о", и не "у", и не "е", как могло нам показаться. Здесь он отнюдь не бездельник, не безработная буква. Он выражает особый звук, похожий и на "о" и на "а" одновременно.

Нечего удивляться существованию столь странного, «среднего между двумя» звука. Мы, русские, и сами постоянно произносим примерно такие же звуки. Было бы, пожалуй, даже естественно, если бы мы в некоторых наших словах стали писать этот болгарский «ер»; тогда наши слова:

голова

стали бы выглядеть так:

гълава

колокольчик

кълъкольчък

Здесь ведь мы действительно произносим не "о" и не "а", а что-то среднее. Именно поэтому наши школьники часто и ошибаются «на этом самом месте» в подобных русских словах.

Мы тут ставим "о" по особым соображениям: если ударение упадет на этот слог при изменении слова, нам ясно услышится в нем "о": «го'лову», «ро'гом».

Болгары же предпочитают там, где они ясно слышат звук "о", писать "о"; там же, где слышится полу"о"-полу"а", ставить свой "ъ"⁵³.

Возьмем теперь слово, нам уже знакомое: «волк». По-болгарски «волк» будет «вълк». Еще очень недавно (до 1945 года) слово это писалось у них и так: «вълкъ». Но ведь это очень напоминает нам древнеславянское его написание. Удивляться нечему: древнеславянский язык и древнеболгарский язык — это одно и то же.

По-видимому, в старославянском языке слово «вълкъ» так и произносилось, как писалось: «в?лк?». Потом и у нас и в Болгарии конечный неясный гласный просто исчез. Что же до первого такого гласного, то у нас под ударением он постепенно превратился в несомненное "о", а у родственных нам по своему языку болгар сохранился в виде, очень напоминающем далекое прошлое⁵⁴.

Однако и конечный гласный много столетий напоминал о своем существовании в обоих языках через посредство буквы «ер», никак не желавшей уступать свое место в конце слов. Так червеобразный отросток нашей слепой кишки напоминает нам своим бесполезным (и даже

⁵³ В болгарском правописании есть свои трудности, связанные с буквой "о" и выражаемым ею звуком. Когда ударение падает на звук "о", он произносится совершенно ясно: "о". Безударное же "о" выговаривается неясно: как нечто среднее между "о", и "у". Болгарским школьникам приходится думать: что́ здесь надо произнести: «кислород» или «кислу́род», «грамотность» или «грамотну́ст»? У каждого свои затруднения. А конечный «ер» с 1945 года упразднен и в Болгарии.

⁵⁴ Любопытно, какое своеобразное влияние "ъ" и "ь" оказали в старину на русское вокальное искусство. В древности, когда «полугласные звуки» еще произносились, были сочинены церковные песнопения — молитвы. Некоторые ноты молитв приходились как раз на эти «полугласные». Затем полугласные исчезли в живой речи, а в пении их продолжали «тянуть»: вместо «спас» пели «сопасо» (ведь написано было «съпасъ»), вместо «днесъ» — «денесе» ("ъ" раньше выговаривался, как "е"). Понадобилось специальное постановление собора: «Гласовое пение пети на речь», — да и то старообрядцы-раскольники этому яростно сопротивлялись. Излюбленное ими пение именовалось «хомовы́м».

вредным) присутствием о тех эпохах, когда человек был еще травоядным животным. Врачи вырезают его без жалости; но ученые втайне радуются, что он еще сохранился в организме людей: он позволяет судить об анатомических особенностях наших древнейших предков.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ШТАБС-КАПИТАНА СЛОВОЕРСОВА

Я только что выразился очень кратко: «конечный неясный гласный исчез». Как так? Куда исчез? Разве такие пропажи наблюдаются в языке? Почему это происходит?

Думая о подобных вещах, я и вспомнил о горестной судьбе штабс-капитана Словоерсова. У писателя Достоевского один из его героев говорит весьма своеобразным языком; он рекомендуется так:

"Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с! Скорее надо было бы сказать: штабс-капитан *Словоерсов* , а не *Снегирев* , ибо лишь со второй половины жизни стал говорить *словоерсами* . Словоер-с приобретается в унижении!"

Почему штабс-капитан именует себя такой странной фамилией? Что означает выражение «слово-ер-с»? И как вообще надо понимать эти его жалобы?

«Словоерсами» назывались в старину те странные для нас «приговорки», которыми Николай Снегирев снабжает чуть ли не каждое третье из произнесенных им слов: «Вот и стул-с! Извольте взять место-с!» Или: «Сейчас высеку-с! Сею минуту высеку-с!»

Лет сто назад не он один, — очень многие русские люди вставляли в свою речь звук "с" там, где нам он представляется совершенно неуместным. Так выражаются, например, капитан Тушин у Льва Толстого, Максим Максимович в «Герое нашего времени» Лермонтова, многие герои Тургенева:

«Да-с! И к свисту пули можно привыкнуть!» (Толстой)

Или:

«Да, так-с! Ужасные бестии эти азиаты...» (Лермонтов)

Или:

«Хорошие у господина Чертопханова собаки?»

«Преудивительные-с! — с удовольствием возразил Недопюскин. -...Да что-с! Пантелей Еремеич такой человек... что только вздумает... всё уж так и кипит-с!» (Тургенев)

У М. Ю. Лермонтова есть даже один неоконченный рассказ, весьма замечательный во многих отношениях, где в сложную фабулу вмешивается путаница между немецкой фамилией «Штосс», названием карточной игры «штосс» (от немецкого «штосс» — толчок) и русским вопросительным местоимением «что» со «словоерсом» — «Что-с?»

В отрывке этом изображается странная встреча героя со стариком призраком, только что вышедшим из мрака:

"Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю! — проговорил Лугин.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штосс? Это? — у Лугина руки опустились..."

Вся сцена оказалась бы невозможной, если бы не наличие в языке того времени «словоерсов». Как видите, своеобразное присловье это было во дни Лермонтова вещью весьма распространенной. Держалось оно и позднее. По свидетельству современников, со «словоерсами» разговаривал славный наш флотоводец П. С. Нахимов. Пользовались ими и многие другие исторические лица. Да, пожалуй, даже сейчас еще можно услышать из уст человека постарше: «Ну-с, нет-с!» или: «Тэк-с, тэк-с, мой друг!» Что же все-таки значит и откуда взялось в нашем языке это непонятное "с"?

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО СОСЕДИ

«Словоер-с приобретается в унижении!» — горько говорит штабс-капитан Снегирев.

Раскройте «Евгения Онегина» — величайшее из произведений нашего великого поэта. Здесь в пятой строфе второй главы вы найдете рассказ о том, почему и за что обиделись и рассердились на столичного щеголя Онегина его простоватые деревенские соседи-помещики:

... Все дружбу прекратили с ним.
"Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все *да да нет* ; не скажет *да-с*
Иль *нет-с* ". Таков был общий глас.

Выходит, по мнению провинциалов-дворян, произносить «да-с», «нет-с» и тому подобные слова со «словоерсами» было признаком не унижения, а хорошего воспитания, вежливости. Столичный же аристократ Онегин никак не желал выражаться столь вежливо. По его мнению, разговор со «словоерсами» был и впрямь унизителен, показывал плохое воспитание и невысокое положение того, кто к нему прибегал.

Совершенно ясно, что приставка эта не только являлась в тогдашнем обществе чем-то весьма привычным и распространенным; ей еще придавалось особое значение в разных общественных слоях и классах. О ней судили по-разному, и притом довольно горячо.

Тем интереснее попытаться, как могло сложиться столь острое и различное отношение к маленькому присловью, «в одну буковку». Что выражало собой и о чем напоминало оно?

ПИР У ЦАРЯ ИВАНА IV

Есть у писателя и поэта А. К. Толстого роман из времен царя Ивана IV — «Князь Серебряный». Среди прочих сцен имеется там одна, которая разыгрывается во время пира в царской трапезной. Важные гости сидят за столами, а стольники и гридничьи отроки разносят им ви́на и сне́ди и, кланяясь в пояс, вежливо говорят каждому:

«Никита-ста! Царь-государь жалует тебя чашей со своего стола!»

Или:

«Василий-су! Отведай сего царского брашна!»

Словом, что-то в этом роде.

Любопытно узнать, каково значение незнакомых нам выражений: «Никита-ста» и «Василий-су»?

В те далекие времена приставки «су» и «ста» на самом деле придавали обращению вежливость и почтительность. Людей уважаемых, властных полагалось бы, собственно, «чествовать», добавляя к имени каждого либо словечко «старый», либо «сударь» (то есть «государь»). Такой обычай существовал в древности.

Но именно потому, что подобные обращения повторяли изо дня в день, постоянно, не заботясь о смысле, а только стараясь, чтобы приветствие было вежливым по форме, окончания почтительных слов, на которые не падает ударение, мало-помалу стали произноситься всё менее и менее ясно, сделались невнятными и, наконец, совсем отпали. Так засыхает и отламывается кончик ветки, к которому почему-либо перестал притекать — животворящий сок.

Удивляться этому нет причин. В нашем современном языке мы имеем множество близких примеров.

Скажите, что чаще приходится вам слышать:

«Анна-Ванна» или «Анна Ивановна»?

«Благодарю вас» или «блдарюсс»?

Мы сами доныне все еще, как царедворцы времен царя Ивана, говорим своим собеседникам: "Скушайте, **пожалуйста** !" А ведь это значит не что иное, как "Скушай, **пожалуй, старый** " (то есть: «пожалуй, награди меня такой милостью твоей»).

Сорок-пятьдесят лет назад можно было повсеместно услышать своеобразное обращение: «милсдарь».

"Пслушть, **милсдарь** !" — заносчиво цедил сквозь зубы какой-нибудь важный чиновник 1910 года, обращаясь к лицу незнакомому и не слишком, по всей видимости, значительному.

"Генерал медленно повернул ко мне свое лицо... и выговорил:

— Вы... тово?.. Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос? Осмеливаетесь шутить... *милостисдарь* ?" — Так в 1883 году передает разговор между начальником и подчиненным А. П. Чехов.

Еще примерно за пятьдесят лет до этого И. С. Тургенев записал то же обращение в несколько более полной его форме:

"Я, наконец, вынужденным нахожусь, *милостивый сдарь мой*, вам поставить на вид!" — говорил генерал Хвалынский, — обращаясь к лицам низшим, которых... презирает".

То, что в дни Тургенева звучало как «милостивый сдарь», то, что ко времени Чехова превратилось в «милостисдарь», то еще ранее существовало как полное обращение: «милостивый государь». Это наглядно показывает, как слово за долгую жизнь может потерять значительную часть составляющих его звуков.

ТАЙНА СЛОВОЕРСОВА РАСКРЫТА

После такого путешествия во времени тайна штабскапитана Снегирева может быть легко раскрыта. Ключ к ней лежит в истории нашего языка.

«Словоер» — последний остаток от того вежливого титула «сударь», которым в далекие времена сопровождалось каждое обращение **младшего по чину и сану к старшему**, более важному человеку. Это таинственное "с" — все, что язык сохранил от длинного слова «государь». «Государь» превратился в «сударь», «сударь» — в «су», «су» — в "с". Люди настолько забыли его происхождение, что к этой букве "с" (когда речь шла о письме) стали добавлять совершенно нелепый на этом месте "ь" — «ер», которому полагалось, по тем понятиям, стоять на **концах** слов. А так как буква "с" в старославянской азбуке носила наименование «слово» (как "а" — «аз», "б" — «буки» и т.д.), то сочетание из нее и «ера» и получило в народе имя «словоер». «Словоерс» буквально значит: «с да ер будет с». Ведь так тогда и вообще «читали по складам»: «аз-буки — аб; зело-аз — за; слово-ер — с...» Только и всего!

Вы спросите еще: почему же Николай Снегирев считал это «присловье» признаком унижения? Почему, напротив, соседи Онегина возводили его в признак «хорошего воспитания», а сам Онегин возражал против него?

Все очень понятно.

«Словоерсы» полагалось употреблять, как уже мы указали, только в обращении «младшего» к «старшему». У великих писателей наших говорят «со словоерсами» только «люди маленькие», робкие, «тихие» или иногда еще люди, вышедшие из низов, вроде адмирала Нахимова. И капитан Тушин в «Войне и мире», и Максим Максимыч Лермонтова, и робкий Недопюскин Тургенева — все это люди «смирные», «в малых чинах», скромные по характеру, а иногда и вовсе забытые.

Нельзя себе представить, чтобы со «словоерсами» заговорил Андрей Болконский, мрачный Печорин или даже неистовый тургеневский Чертопханов, покровитель Недопюскина. Это было бы «ниже их достоинства».

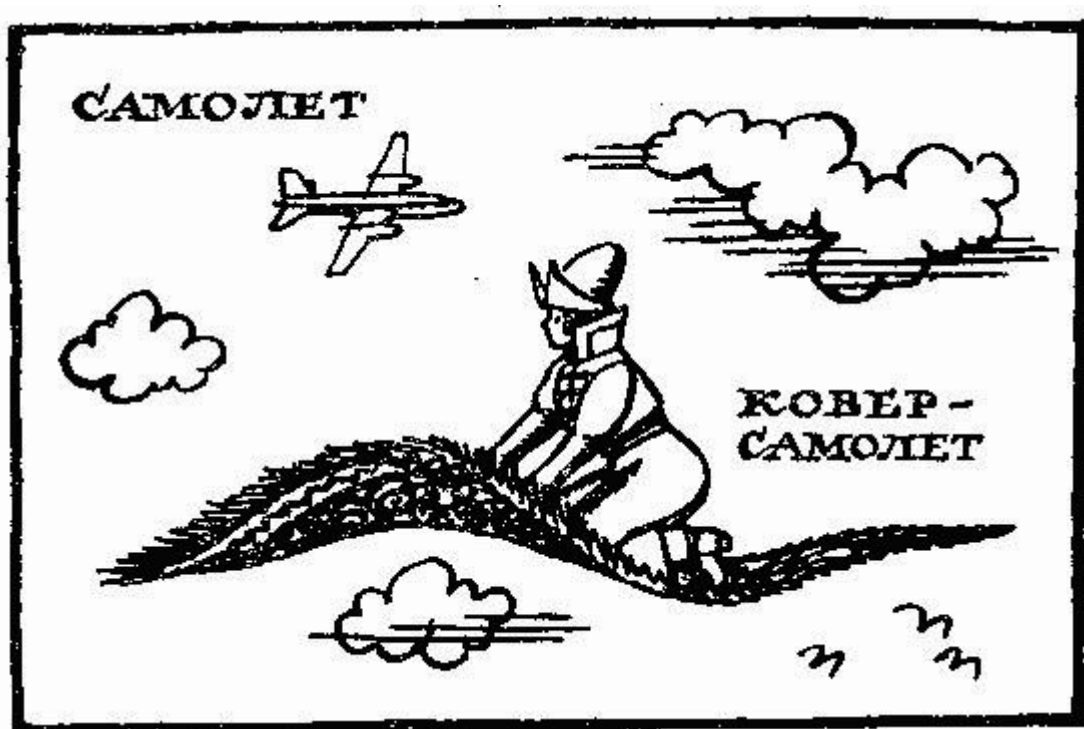
Было это ниже достоинства и совсем еще молодого человека — Онегина. Старики же помещики требовали от него почтительности и уважения. Вот почему их так раздражали его гордые «да» и «нет».

Так наш интерес к маленькой, совсем крошечной частице, участнице нашей речи, заставил нас развернуть целую широкую картину человеческих отношений за несколько веков.

Удивляться этому не приходится: нельзя изучать историю языка в отрыве от истории того общества и народа, которым он принадлежит. Что́ поняли бы мы в судьбе леса, если бы захотели составить представление о нем, забыв о почве, на которой он вырос? Так же обстоит дело и с языком.

Чуть раньше я задал вам «риторический вопрос»: «Наблюдаются ли в языке пропажи?» Теперь вы сами видели: наблюдаются! И порой можно выяснить, как они происходят. Например, так, как только что было показано на истории словоерсов.

Глава 5. СЛОВО И ЕГО ЖИЗНЬ



СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...

*Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль,
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль...*

Г. Гейне

Когда мы говорим «язык», мы думаем: «слова». Это естественно: язык состоит из слов, тут спорить не о чем.

Но мало кто представляет себе по-настоящему, каково оно, самое простое и обычное человеческое слово, каким неопишимо тонким и сложным творением человека оно является, какой своеобразной (и во многом еще загадочной) жизнью живет, какую неизмеримо огромную роль играет в судьбах своего творца — человека.

Если в мире есть вещи, достойные названия «чуда», то слово, бесспорно, первая и самая чудесная из них.

Услышав, что оно устроено сложнее и хитроумнее, чем наиболее усовершенствованный механизм, что оно «ведет себя» иной раз причудливее и непонятнее любого живого существа, вы, пожалуй, сочтете это поэтическим преувеличением. А на деле все сказанное во много раз бледнее действительности. Чтобы убедиться в этом, начнем с самого простого и вместе с тем, может быть, самого сложного — с «многозначности» слова. Стоит коснуться ее, и сразу открывается целый мир тайн и загадок, намечаются соображения и выводы, ведущие в неоглядные дали науки о языке.

Вот перед нами обыкновенное русское слово «вода». Это очень древнее слово. В нашем языке и то оно имеет не менее чем полуторатысячелетнюю историю. А ведь до ее начала оно жило еще в общеславянском языкеоснове. Но что в нем особенного и удивительного?

Слово «вода» — это четыре звука, сочетающиеся друг с другом. Математика учит: из четырех элементов можно образовать двадцать четыре различные комбинации: двоа, авод, одав, даво и т. п. Одна из таких комбинаций стала словом. Почему только одна, почему именно эта —

вода, люди пока что еще не знают. Мы не можем точно сказать, возникло ли такое соединение звуков и значения по случайным причинам или же выбор его предопределили неясные нам, но существенные законы. Мы видим, однако, что выбор произошел, да притом очень удачный: родившееся слово живет вторую тысячу лет, не меняя ни в чем существенном ни своей звуковой оболочки, ни значения. Это само по себе бесконечно интересно. Это делает словно заманчивым предметом догадок и изучения. Но сейчас меня интересует другое — не то, как и почему связались его звуки с его же значением, а что представляет собой само это значение? Что, собственно, узнаем мы, что **понимаем**, когда в наших ушах отзывается произнесенное другим человеком слово «вода»?

Казалось бы, нечто очень простое, хотя, может быть, и не совсем одинаковое в различные времена. Когда-то наши предки, слыша это слово, думали: «Вода? Ага! Это та необходимая природная влага, которую все пьют». Теперь в словарях говорится: «Вода — прозрачная бесцветная жидкость, в чистом виде представляющая собою химическое соединение кислорода и водорода».

Правда, в быту, в обыденной речи мы и сейчас придерживаемся скорее прежних простых представлений. Конечно, тот факт, что значение слова, видоизменяясь, оставалось и остается одним, любопытен; но, казалось бы, в целом это ничуть не сложно.

Вот именно «казалось бы»! Дело в том, что простое слово «вода», кроме этого своего основного и главного вещественного значения, заметного всем (иначе слово не могло бы стать словом!), несет в себе множество других, весьма важных, смысловых примет и отличек. Все они удивительно быстро и легко входят в наше сознание, как только мы слышим это слово, но чаще всего при этом мы даже не замечаем их.

О чем я говорю? А вот о чем.

Посмотрите на два столбика примеров:

гром
ухнуть

апельсин
семьсот

кошка
ага!

языкознание
близко

дочурка
полубелый

Что вам бросается в глаза? Прежде всего, конечно, видимая случайность подбора: и направо и налево слова самые разные, взятые наугад и явно не имеющие между собой ничего общего. А между тем, если у вас спросят, к какому столбику следует приписать слово «вода», вы не поколеблетесь — к левому! Там же все — существительные, названия предметов! В правом столбике — что угодно, только не они. А сказав «вода», вы не только нарисовали словом, звуками что-то существующее в природе, вы еще и отнесли это «что-то» к определенной группе вещей, к «предметам». Значит, в самый предмет вы внесли нечто уже не природное, а человеческое, выразили свое понимание его, свое отношение к нему: ведь в природе вещи не расставлены по полочкам, не носят на себе никаких ярлычков.

Этого мало. Внутри огромной группы слов-существительных можно найти множество меньших разрядов, в них зачастую это «человеческое» воплощено еще с большей ясностью.

Вот два других списочка слов:

передничек
вино

паренек
молоко

голубенький
керосин

быстренько
квас

девчурка
серная кислота

Если я еще раз предложу вам приписать нашу «воду» к наиболее подходящему столбцу, вы опять не затруднитесь: просто и уверенно вы припишете ее к правому перечню, — ведь в него входят всё названия разных жидкостей. Рассуждая так, вы будете исходить из «вещественного» значения слова, а значит, по существу, не из самого слова, или не столько из самого слова, сколько из свойств той вещи, которую оно называет.

Но представьте себе, что я вам задал не слово «вода», а почти ему равное слово «водичка». Тут уже вы впадете в легкое сомнение. Слово «водичка» тоже означает жидкость, как будто и ему место в том же правом столбце. А вместе с тем есть ведь полная возможность — пристегнуть его к левому списочку. Почему? По очень своеобразным основаниям: и «водичку», и «девчурку», и «паренька», и даже такие слова, как «быстренько» или «голубенький», сближает наше человеческое отношение к тому, о чем мы говорим, — отношение не то ласковое, не то пренебрежительное. Близкое же и даже родственное «водичке», слово «вода» в этом нашем левом списке выглядело бы совершенно не на месте: никакого отношения к другим входящим туда словам у него нет.

Вопрос, который я сейчас перед вами разбираю, по внешности прост и несуществен. Но он столь важен и сложен на деле, что у меня всё время возникает сомнение: поняли ли вы меня? Поэтому я приведу еще один пример. Он с еще большей ясностью должен будет показать, что любое слово является не просто обозначением чего-то существующего в мире. Нет, оно обязательно передает еще и наше отношение к тому, что существует. Ведь нарисовав или вылепив из глины лошадь, вы вряд ли сможете этим рисунком выразить разницу между «лошадью», «лошаденкой» и «лошадкой»; словами же это можно сделать очень легко. Между тем разница эта — разве она заключена в самом животном? Нет, только в моем отношении к нему. Я никогда не скажу: «Дуб — растение, а лошаденка — животное», но я спокойно могу одну и ту же клячу то нежно назвать «лошадкой», то сухо и строго «лошадью».

Вот еще две колонки слов:

зайчишка
собачка

крокодилище
воронища

брат
труба

пирожок
ложечка

бродяга
щука

И тут для вас будет нетрудным сообразить, что слово «вода» следует отнести к правой колонке: чего уж проще — оно ведь женского рода! Да, это бесспорно так. Но разве к

«женскому роду» принадлежит само вещество «вода»? Оно ничуть не более похоже на женщину, чем квас или одеколон, которые, однако, относятся к роду мужскому. Очевидно, к тому или иному роду принадлежат вовсе не вещи, — наши слова. А мы с вами, слыша то или иное из них, мгновенно не только понимаем его «вещественное» значение, но еще учитываем и этот его «род».

Таким образом, произнесено слово, одно-единственное слово, в четыре, пять, семь звуков. Оно дошло до нас, и мы сразу же воспринимаем все разнообразные отлички, в нем заключенные: принадлежность к разряду существительных или глаголов; принадлежность к словам, означающим живые существа или неживые предметы; принадлежность к группе слов, выражающих ласковое, презрительное или еще какое-нибудь отношение говорящего к называемой вещи; принадлежность к одной из трех странных категорий — слов мужского, женского или среднего рода... Все они заключены в тех же нескольких сцепленных между собою звуках. Разве это не удивительно? Разве не важно попытаться узнать, как это все достигается?

Языкознание и пытается разрешить эти задачи.

Есть у человеческого слова особенности, еще более поражающие и неожиданные. Одной из них мы уже частично касались в начале этой книги.

Там мы убедились: «представить», «вообразить» себе что-либо или «подумать» про это «что-то» — далеко не одно и то же.

Возьмем такую «вещь» (такой «предмет»), как вода. Воду совсем не трудно **представить себе мысленно** ; можно даже сделать рисунок, который бы изображал ее. Но спрашивается: какую именно воду? Морскую синюю, подернутую рябью волн? Или клокочущую, взлохмаченную воду, рвущуюся сквозь плотину Днепрогэса? Ведь это две разные воды! А может быть, ту, которая мирно мерцает в аквариуме, где живут золотые рыбки? Вот вам еще одна вода.

Невозможно вообразить себе воду «сразу всякой» или «никакой в частности», «вообще водой», и только. Воображая, чувственно представляя себе любой образ, мы, как бы ни старались, не можем избавиться от его второстепенных мелких черт и признаков. Не способны мы по собственному желанию и выделить в нем только самые основные, главные черты, сущность того, что мы себе представляем.

Допустим, я хочу мысленно нарисовать себе воду в виде прозрачного жидкого кубика, состоящего из однородного вещества. Но ведь это уже будет образом не воды, скорее — образом любой похожей на воду жидкости — перекиси водорода, соляной кислоты, спирта... Как их различить?

Беда, значит, в том, что в каждом нашем образном представлении всегда оказывается либо слишком много излишних, либо чересчур мало нужных нам черт и подробностей. Образ получается то узко частным (мутная, вспененная, голубая вода, вместо воды вообще), то, наоборот, чрезмерно общим (любая прозрачная жидкость, но уже не вода). Крайне сложное дело — приноровить его к той или иной моей потребности.

А стоит мне, вместо того чтобы с такими усилиями «думать образом», представлением, «подумать словом», как точно по волшебству на место этой лохматой, подвижной, взъерошенной и непокорной штуки — образа — становится точное слово и приводит за собой гибкое и вместе с тем ясное **понятие** ⁵⁵.

Трудно даже сразу представить себе, какое сложное содержание вложено человеком в простое слово «вода». «Вода играет огромную роль в природе», — читаете вы и знаете, что автор думает при этом сразу о любой воде, — о соленой и о пресной, о текучей и о стоячей, о замерзающей и парообразной... обо всякой!

«Вода вращает турбину электростанции»... Какая вода? Всякая? Нет, не морская, не дождевая, а на сей раз только речная, текучая. "Квас, **воды** , сиропы..." О каких водах идет речь? Только о газированных напитках, служащих для питья. "Вешние **воды** " — совсем другое

⁵⁵ В. И. Ленин сжато и точно описал это удивительное свойство речи, заметив: «чувства показывают реальность; мысль и слово — общее», (В. И. Ленин. Философские тетради. Сочинения, изд. 4-е, т. 38, стр. 269.)

дело!

Слово одно и то же, а значение у него одновременно и одно и не одно. Оно, по нашему желанию, то как бы раздается вширь, то суживается, приобретая один, другой, третий нужный нам оттенок. В одном себе оно соединяет все возможные образы, все представления о воде, любые признаки, ей свойственные. Оно способно приглушать или совсем сбрасывать одни из них, подчеркивать или сохранять другие. Оно позволяет мне без всякого труда думать, «думать словом „вода“» и вот об этой только ворвавшейся в мой сапог ржавой, припахивающей железом холодной воде лесного болотца и о безликой воде химиков, про которую ничего хорошего не скажешь, кроме того, что она «аш-два-о»! С какой из них ни пришлось бы мне иметь дело, слово впитает все эти воды в себя, ответит за каждую из них.

Представьте себе, например, что вам почему-либо нужно при помощи образа или нескольких образов передать уже знакомую нам разницу между «водой» и «водичкой» (задание редкое, но вполне возможное, говоря вообще). Не сомневаюсь, вы сдались бы перед непреодолимыми трудностями: как отличить ту от другой, как, наоборот, найти между ними общее? А выразить это различие при помощи языка, слова? Да нет ничего проще: все оно без остатка укладывается в крошечную часть слова, в три звука «-ичк». Самыми разными способами слово берет от предмета именно те его признаки, которые вам нужны, а все другие опускает. Именно потому оно и стало самым удивительным и важным орудием человека и человечества. Именно эти свойства слова, и как орудия общения и как оболочки мыслей, позволили человечеству разобраться в устройстве окружающего нас мира, рассортировать, разбить на группы, классы, отряды все составляющие его «вещи», а значит, найти и законы, управляющие его жизнью.

Я сказал: «позволили»... Но ведь это произошло не в один прием, не сразу вдруг, не в тот момент, когда человек слово создал. Слову пришлось прожить долгую жизнь, прежде чем оно приобрело все свои нынешние возможности. А было время, когда оно их еще не имело.

Само собой, мы не знаем, как именно пользовались словами наши отдаленные предки, жившие тысячи и тысячи лет назад. Но у нас есть право судить об этом косвенно, по примеру языков тех наших современников, которые до последнего времени обретались на низших ступенях культуры. Трудно представить себе что-либо более удивительное и любопытное, нежели эти языки.

Помните в «Гайавате», славной поэме Лонгфелло, знаменитый перечень индейских племен: «Шли Чоктосы и Команчи, Делавары и Могауки, Черноногие и Поны...»?

Так вот. В языке этих самых североамериканских делаваров, воспетых Купером, Эмаром и другими, есть слово «надхолинеен». Что оно значит? Это глагол в повелительной форме; его точное значение: «ищите для нас пирогу». Вы можете этот глагол спрягать, как и прочие глаголы, менять его времена и лица. Но всегда он будет означать не поиски вообще, а непременно "поиски **пироги для нас**". Чтобы сказать: "ищите пирогу **для них**", или "найдите для нас **вигвамы**", придется взять совершенно другие глаголы, другие слова.

Один исследователь языка делаваров пишет: «Там, где наши европейские языки добиваются точности и обобщенности, языки индейцев, наоборот, стараются быть картинными и образными»⁵⁶. Естественно, что на них несравненно труднее выражать общие, широкие мысли.

В подобных языках, говорят лингвисты, само собой, есть слова, означающие части человеческого тела, родственные отношения между членами семей, и т. п. Но очень часто они не способны выражать такие понятия, как «голова вообще» или «отец вообще». Там вы встретите отдельное слово, значащее «моя голова», другое — означающее «голову врага»,

⁵⁶ Вот что рассказывает один исследователь о «картинных словах» якутского языка, у нас в СССР. «Возьмем слово БООДОНГНООБУТ... Человек, к которому оно относится, должен быть толстым, с отвислым животом. Плечи и вообще все его члены должны быть коротки, толсты, округлы; иначе сказали бы БЫАДАНГИААБЫТ. Должен быть медлителен в движениях, ходить, переваливаясь с ноги на ногу, — иначе выразились бы МОЛООБУТ, БОЛТОХОЧЧУЙБУТ, БОЛТОНГНООБУТ, наконец...» Вот какими детально-описательными могут быть такие «картинные» слова.

третье — «твою голову». На островах Тихого океана есть народности, знающие только слова «мой брат», «твой отец», но неспособные сказать «брат» или «отец» просто.

У исконных обитателей Австралии белые вовсе не нашли обобщающих слов, вроде «птица» или «дерево». по-австралийски нельзя сказать: «На холме стоит дерево, а на нем сидит птица». Австралиец выразится непременно так: «Стоит каури, а на нем сидит какаду», или: «Стоит эвкалипт, а под ним — эму». Он обязательно назовет породу и растения и животного.

Конечно, и мы можем поступить так. Но мы можем сделать и иначе, а язык австралийца не позволяет этого «иначе». Вот почему ваша фраза: «Но ведь и эвкалипт и каури — это деревья» — останется, если бы вы вздумали возразить папуасу, непонятой. Что значит «деревья»? Есть пальмы, папоротники, лианы, кусты, а таких странных вещей, как «деревья вообще», «растения вообще», нет и не может быть! А нет их для него потому, что нет еще слов для них.

Подобные этому примеру можно встретить повсюду. Обитатели одного архипелага возле Новой Гвинеи не знают названия для такого цвета, как черный. Зато у них есть множество слов для различнейших его оттенков. Есть слово, означающее «блестяще-черный, как ворона», есть другое — «черный, как обугленный орех такого-то дерева», третье — «черный, словно грязь манговых болот», четвертое — «черный, вроде краски, выделяемой из определенного сорта смолы», пятое — «черный, словно жженные листья бетеля, смешанные в растительным маслом».

У многих народов Севера — лопарей-саами, чукчей, ненцев и других — существует множество (у саами более двух десятков) слов для отдельных видов снега, напоминающих наши русские «наст», «крупа», «поземка». Можно подумать: так вот ведь и у нас такие есть! Но разница огромная: у нас есть и они и общее слово «снег»; а там существуют **только** они.

Передо мной страничка из интересной книги писателя Г. Гора «Юноша с далекой реки»; книга рассказывает про жизнь, обычаи, нравы и язык северного народа, нивхов, или гиляков, нашего Сахалина.

"Старый профессор... спросил нас:

— А как вы думаете, существует ли на эскимосском языке слово «снег»?..

— Должно быть, — ответил я. — Раз у них бывает снег — значит, должно быть и соответствующее название для него...

— А представьте себе — нет! Эскимос скажет «падающий снег» или «снег, лежащий на земле», но сам по себе, вне связи, как общее понятие, снег для эскимоса не существует".

Примерно то же наблюдается и в языке сахалинских нивхов. «Нивх не скажет, например, „человек стрелял“. Он должен непременно добавить, в кого стрелял — в утку, в чайку или в белку». (Г. Гор. Юноша с далекой реки.)

Нечего, кажется, и доказывать, до какой степени такое свойство языка может осложнить любое общее рассуждение, любую отвлеченную мысль.

Вообразите себе австралийцем, у которого белый человек спрашивает: «Сколько деревьев растет на той горе?» Вы просто не сможете ответить на этот странный, с точки зрения австралийца, вопрос: «Как сколько деревьев? Там растут три саговые пальмы, одно каменное дерево, семь казуарин и четыре папоротника, вот и всё... Нельзя же казуарины прибавлять к пальмам, как нельзя камни прибавлять к собакам!»

И сколько бы от вас ни добивались, чему равно общее число «всех деревьев», вы просто не поймете этого вопроса: у вас нет для того ни слов, ни понятий.

Нет надобности ехать в Австралию, чтобы наблюдать подобные недоразумения. В той же книге Г. Гора описывается любопытная сценка между русским учителем арифметики и его учеником — нивхом Нотом:

"Задача была легкая, совсем простая, но Нот никак не мог ее решить. Нужно было к семи деревьям прибавить еще шесть и от тридцати пуговиц отнять пять.

— Какие деревья? — спросил Нот. — Длинные, короткие? Какие пуговицы? Круглые?...

— В математике, — ответил я, — не имеют значения качество и форма предмета.

...Нот меня не понял. И я тоже не сразу понял его. Он мне объяснил, что у нивхов для длинных предметов существуют одни числительные, для коротких — другие, для круглых — третьи". (Г. Гор. Юноша с далекой реки.)

Все это довольно понятно после того, что я уже вам сказал. Понятно и то, как трудно было

бы нам рассчитывать пути планет в небе или рост населения на земле, да и вообще рассуждать на любую общую тему, если бы мы пользовались такими же словами, как саами, нивхи или, тем более, папуасы Новой Гвинеи. Выработанное веками совершенство наших слов не только облегчает, оно только и делает возможным сложное и точное мышление, современную культуру.

Но, отмечая это, нельзя поддаваться одному соблазну. Есть на Западе особые «ученые»: по соображениям, ничего общего не имеющим с наукой, они стараются на этом своеобразии языков, которыми говорят культурно отсталые племена, построить теорию, будто те ни на что не способны. Они, мол, обречены на вечную отсталость: как тут ее преодолеешь, если сам язык мешает этому?!

Иное, мол, дело мы, люди белой расы. В наших языках нельзя отыскать даже следов такого «примитивизма». Значит, его никогда и не было. Очевидно, мы люди особые: сама природа сделала нас господами, а их — рабами; смешно с ней спорить!

Таков их символ веры.

Разумеется, это совершенная ерунда. В наших языках, как и в нашем мышлении, ученые находят очень много пережитков самого отдаленного прошлого; когда-то наши предки во всех отношениях стояли на той ступени развития, на какой мы застаем сейчас папуасов Новой Гвинеи или индейские племена Южной Америки. С другой стороны, несомненно: любой современный малоразвитый народец, попав в благоприятные условия, вырвавшись из-под колониального гнета, усовершенствует и разовьет свой язык не хуже, чем это сделали когда-то наши праотцы. Вполне возможно, конечно, что развитие это пойдет по иным путям и приведет к совсем иным результатам, чем у нас, белых, но **худшим** оно не будет.

Множество тысячелетий человечество росло и зрело медленно и неуклонно. Оно совершенствовалось вместе со своими языками и при их посредстве. Рост этот был неравномерным, неодинаковым во всех частях мира. Не все народы уже достигли одного уровня к нашим дням. Но все они могут его и достигнуть и превзойти, и добьются они этого при помощи тех самых языков, которыми их наделила история.

СЛОВА И СЛОВАРИ

А, право, не худо бы взяться за лексикон или хоть за критику лексиконов!

А. С. Пушкин

Итак, любой язык состоит из слов. Изучать язык, не изучая слов, нельзя. А чтобы заняться словами, надо прежде всего взять их на учет, установить, сколько их и какие они.

Попробуйте, не сделав этого, ответить хотя бы на такие вопросы; сколько примерно русских слов существует на свете? Возрастает или уменьшается их общее число? Чего у нас больше — исконно русских или пришлых, заимствованных, слов? Каков их «возраст» — иначе говоря, когда они появились в мире? И появились одновременно, как бы в один прием, или же постепенно?

Подобных вопросов я могу задать вам сотни. Но ответить на них вы, безусловно, не сможете. Взять хотя бы первый из них.

Когда мне случалось спрашивать, много ли слов в составе русского языка, мне, хитро улыбаясь, отвечали: «Столько, сколько звезд на небе!» Это Очень неверный ответ: видимых простым глазом звезд на небе не так уж много, около трех тысяч, а слов в нашем распоряжении — несравненно больше.

Сколько же?

Казалось бы, проще простого: заглянуть в любой словарь и подсчитать... Но вот на моем столе лежат сейчас целых четыре словаря. На титульном листе русско-корейского значится: «содержит около 30 000 слов»; на русско-японском написано: «около 10 000»; в русско-испанский словарь вошло «около 40 000 слов», а в русско-китайский совершенно точно: «26 000». Речь при этом идет именно о русских словах; иноязычных там значительно больше. В

чем же дело? Почему цифры так расходятся?

Цифры, оказывается, могут быть весьма различными. Чтобы понять, в чем дело, нам придется перейти от слов к словарям.

Большинству читателей знакомы, конечно, два вида лексиконов — «энциклопедические» и «двуязычные». Но надо сказать, что первые из них в глазах лингвистов, собственно, не являются **словарями**. Не заслуживают такого названия.

Действительно, энциклопедии мало занимаются **словами**; их больше интересуют свойства **вещей**, которые этими словами именуются. Найдите в энциклопедическом словаре статью «СОБАКА». В ней содержится много ценных сведений об этом животном. Можно узнать, какие существуют его породы, откуда и когда были ввезены к нам такие собаки, как пудели, доги, сенбернары...

А вот откуда пришло к нам и как стало в строй наряду с исконно русским словом «пёс» само слово «собака», там не говорится ничего.

В энциклопедиях отсутствуют три четверти распространеннейших русских слов, таких, как «работать», «смелый», «великолепно», «отнюдь». Это неудивительно: они же не являются названиями вещей, предметов! С другой стороны, там перечислено множество географических и личных имен — Килиманджаро, Дон-Кихот, Рюрик, Порт-Артур, — которые, собственно, мы не можем считать на все сто процентов словами. Это имена, и только.

Поэтому энциклопедии называются «словарями» лишь условно; пожалуй, правильнее было бы именовать их «вещарями»; это книги о всевозможных вещах.

Словари «двуязычные» — дело другое... Описание свойств предметов — не их дело. Под словом «собака» вы не найдете в них ничего о привычках или породах этих животных. Но зато по ним вы легко установите: собака по-японски называется «и'но», по-корейски — «кэ», по-испански — «кан» или «пе'рро»; у китайцев же собака — «го'у».

Пользу таких словарей не надо доказывать: это словари-переводчики; без них нельзя было бы ни изучать чужие языки, ни читать иностранную книгу. Не нужно, думаю я, и особенно тщательного их описания; в общем они знакомы каждому. Сто'ит, пожалуй, сказать одно: словари такого рода бывают не только «двуязычными», но, реже, и «многоязычными». Известный словарь Поповых, например, изданный в России в 1902 году, дает в алфавитном порядке переводы на русский язык слов с целых семи языков — английского, французского, немецкого, итальянского, испанского, португальского и голландского. Такое сложное построение имеет и свои плюсы и свои отрицательные стороны.

Но рядом с этими двумя общеизвестными типами лексиконов (каждый из них можно подразделить еще на несколько разрядов) существует третий; он-то как раз и является в глазах лингвистов основным. Этого рода словари носят название «толковых». Они не содержат описаний предметов, стоящих за словами. Они не переводят слов данного языка ни на какой другой. Их задача — каждое слово «растолковать», пояснить, дать представление о его значении на том же языке, которому принадлежит оно само. На первый взгляд это выглядит довольно странно: что за «перевод с русского на русский»?

Чтобы вам легче было понять, для чего нужен такой перевод, я до всяких объяснений приведу образчики статей, взятые из всех типов словарей.

Есть предмет, называемый западнёй. Есть, значит, и слово «западня». Вот что говорят о них наши словари. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона пишет:

ЗАПАДНЯ — ловушка для певчих птиц; состоит из четырехугольной клетки, по всем сторонам которой делаются захлопывающиеся дверцы. В среднее отделение сажают живую птицу, которая своими «позывами» (криком) приманивает других птиц.

Тут все ясно: перед нами краткое, но тщательное описание самого «предмета», орудия; рассказывается не только о его устройстве, но и о способах применения. О слове же не сообщается ничего.

Совершенно другое дело «двуязычные словари». Они совсем лаконичны:
русско-китайский:

(западня = ся'ньци'н (или: ло'ва'н)

русско-французский:

западня = тракена'р (или: пьеж)

русско-финский:

западня = ло'укки (или: са'дин)

Это просто переводы; в них ясно все, кроме разве одного: почему **одному** русскому слову соответствуют **два** чужих?

Чтобы понять это, нам и потребуется словарь третьего типа — **толковый**. Там сказано: ЗАПАДНЯ, западни', множ. число: западни', род., множ. западней.

1) приспособление для ловли птиц и зверей живьем;

2) (переносное) — искусный маневр, ловушка для завлечения противника в невыгодное положение.

Теперь нетрудно сравнить между собою подход этих словарей к их теме. Энциклопедия, как я уже сказал, подробно обрисовывает самый **предмет**, но умалчивает даже о том, что у означющего его слова есть второе, **переносное** значение. Толковый словарь ясно и четко, но в самых общих выражениях описывает не вещь, а именно ее название — слово. Он указывает, к какому роду оно относится, сообщает некоторые особенности в его склонении, приводит то второе значение его, за которым уже не скрывается никакой материальной вещи: «хитрый прием обмана». А двуязычные словари, не мудрствуя лукаво, переводят оба эти значения на языки, которым они посвящены.

Таким образом, все они нужны и полезны. Но наша книга — книга о **словах**. Поэтому мы оставим в стороне словари, занятые **вещами**. Двуязычным словарям мы тоже не станем уделять большого внимания: пусть ими интересуются переводчики. Основным же предметом нашей беседы будут отныне словари **толковые**; именно они должны и могут собрать и объяснить **все** или **почти все** слова любого языка. Значит, именно в них надо искать ответы на вопрос: сколько слов в русском языке?

СЛОВО СЛОВУ РОЗНЬ

Но что, собственно, значит: составить полный толковый словарь русского языка?

Возьму несколько слов: гора', па'ужинок, зинзу'бель, трансценде'нтный, аксами'т... Все ли они вам понятны?

Разумеется, не все: может быть, некоторые читатели усомнятся даже, русские ли это слова.

Сомнение тут неуместно. Слово «па'ужинок» поймет любой пскович: в Псковской области оно означает вещь совершенно определенную, дополнительное принятие пищи между обедом и ужином... Но ведь псковичи — русские люди, говорят они только по-русски. Значит, и это слово русское, только **областное**. Оно употребляется не везде.

«Зинзу'белем» называют определенный столярный инструмент; называют так уже не в какой-нибудь одной местности, а по всей нашей стране. Но знают это слово далеко не все, — только столяры и люди, осведомленные в столярном деле. Следовательно, слово это не областное, а **профессиональное**. Тем не менее оно также русское. Наши столяры по-иноземному могут и не говорить.

В известном смысле «профессиональным» термином является и слово «трансценде'нтный». Оно означает: «не могущий быть выраженным при помощи алгебры». Употребляют это слово только математики и те, кто математикой интересуется⁵⁷. Но известно оно в этой своей форме только в России. Значит, и это — русское слово.

⁵⁷ Есть второе, философское, значение этого термина. Мы им сейчас заниматься не будем. Для нас существенно, что большинству моих читателей ни то, ни другое значение неизвестны. Значит, это профессиональные слова.

Теперь «аксами́т». Можно наверняка сказать, что ни одному из ныне живущих на свете русских людей ни разу в жизни не придется с какой-нибудь практической целью произнести это название. А вот в таком великолепном памятнике русского языка XII века, как «Слово о полку Игореве», как и во многих других древних произведениях, оно встречается. Там описывается, как русичи помчались, захватывая красных девиц половецких, "а с ними золото, и паволоки, и дорогие *аксамиты* ..." Слово «аксамит», означающее особый сорт дорогой материи, бархата, было употребительно в русском языке, но только в древнерусском.

И, наконец, «гора́». Где бы ни жил и кем бы ни был владеющий русской речью человек, чем бы — математикой, столярным делом, ботаникой, философией или хлебопашеством — ни занимался он, слово «гора́» он узнает и поймет. Это слово отличается от всех предыдущих одним: оно принадлежит не областному, не профессиональному диалекту, не древнему и не только современному русскому языку. Оно принадлежит великому языку общерусскому, общенародному. Входит оно также и в состав нашей литературной правильной письменной речи.

Создается странное впечатление: что же, русский язык — един или он распадается на какие-то отдельные «ветви», «части», меньшие языки? Думать так столь же неправильно, как, увидев, что большой завод состоит из множества складов, цехов, лабораторий, усомниться, существует ли сам завод как единое целое? Конечно, существует, и наличие в нем многих различных частей ничуть этому не препятствует, — напротив, оно-то и делает его настоящим крупным заводом.

Более справедливо другое соображение. Если дело обстоит так, то какими же словами должен интересоваться, какие слова будет собирать тот человек или тот коллектив ученых, который занялся бы составлением словаря русского языка?

Оказывается, величайший интерес представляют **все** слова; только их никак нельзя сваливать в одну кучу. Огромное, бесконечное значение знания и учета слов общерусского литературного языка не нуждается в объяснении. Им, этим языком, пользуются журналисты, писатели, ученые, поэты, философы, законодатели. На нем написаны все наши книги, ему и на нем обучают у нас в школах. Он и есть, так сказать, **русский язык по преимуществу**. Значит, полный его словарь, толковый словарь, является и большой ценностью и первой необходимостью для народа.

Но ведь «русский язык по преимуществу» родился не на пустом месте и не всегда этим преимуществом обладал: он сложился, он выкристаллизовался из народного языка, соединив в себе лучшее, что нашлось во многих диалектах и говорах великой нации. Бесчисленное множество мастеров и подмастерьев долгие столетия гранило и шлифовало его.

Да и сегодня мастера нашего слова стремятся непрерывно черпать новые и новые богатства все в той же сокровищнице народной речи, как в неистощимом, вечно живом источнике. А ведь эта речь, если с ней поближе познакомиться, является нам прежде всего в виде ряда **областных** диалектов. Следовательно, их словари столь же важны и существенны, как и сам основной словарь современного нашего языка. Ну, а те слова, которыми пользуются, которые ежедневно создают заново люди труда, науки, различных ремесел, разных отраслей техники, слова профессиональные, разве они — пустяк?

Попробуйте, сопоставляя между собой старинные и более новые лексиконы общерусского языка, выяснить, откуда взялись в нем бесчисленные новые слова и термины, которыми он пополнился за последние сто лет. Вы скоро заметите: громадное большинство их создано не за письменными столами писателей, не вдохновением поэтов или ученых-языковедов. Они родились в напряженной атмосфере изобретательских лабораторий, в шумных заводских мастерских, на полях, где человек работает, создавая разом и новые **вещи** и новые, нужные для их названия **слова**.

В XIX веке русский язык не знал ни слова «самолет», ни слов «вертолет», «планер», «рентген», «трактор», «танкист», «линкор», «бункеровка», «полезашитный», ни сотен других. Теперь их знает каждый, а созданы они, поверьте, не специалистами по языку. Они созданы теми людьми, которые построили или ввели в действие всю эту массу новых вещей.

В начале XX века поэт-футурист В. Хлебников, человек, по-своему очень чутко относившийся к слову, попытался составить маленький словарик для нужд нарождавшейся

авиации. Он искусственно произвел множество слов от корня «лет», чтобы они называли новые понятия: «лето́ба» — вместо иноземного «авиация», «лета́вица» или даже «лтица» — взамен нерусского «авиаторша», и т.д. и т.п. Все эти слова имели очень ученый вид. Но из них из всех не удержалось в языке ни единого. А в то же время сами «летающие люди», не размышляя много, произвели от того же самого корня «лет» громадное число совсем других слов: «летчик», «летный», «вы́летаться», «подлетну́ть», «подлетка», «облета́ть» (параллельное «обкатать», «объездить») и еще целую кучу. И вот эти-то неученые слова действительно прочно вошли в язык, стали широко известны многим, живут в нем сейчас, множатся, получают нередко переносные значения, то есть стали настоящими живыми словами — живой русской речью. Так можно ли после этого отрицать важность собирания и изучения так называемых профессионализмов, слов, которые, может быть, еще и не все вошли в общерусский литературный язык, но которые уже родились и живут в речи рабочих, инженеров, ученых, военных людей — специалистов разных профессий? Мы убедились, что именно их потоком пополняется общий язык. Кто может сказать заранее, какое из профессиональных слов — слово ли «до́быча», отличное от литературного «добы́ча» местом ударения, или выражение «на-гора́», употребляемое вместо обычного «на́ гору» или «наве́рх» — прочно войдет в него завтра? Очевидно, нужен нам словарь и профессиональных, производственных, специальных слов и выражений.

Тем более ясна необходимость словаря совсем мало кому известных древнерусских слов. Тут и доказывать нечего.

Во-первых, древнерусский язык слишком резко отличается от нашего современного; каждый, кто пробовал читать «Русскую правду» или «Поучение Владимира Мономаха», на себе испытал это. Во-вторых, наш сегодняшний язык вырос из древнерусского. Он сохранил множество древнейших слов в почти неизменном виде (гора, вода, бор, поле, огонь, бой, Русь и т.п.) и значении; тысячи нынешних слов, понятных каждому, являются лишь незначительными вариантами к их же древнему звучанию или значению (**вълкъ** и **волк**, **слънце** и **солнце**, **пълкъ** и **полк**). В-третьих, многие наши сегодняшние слова, которыми мы поминутно пользуемся, утратили за долгие века свои старые связи. Они могут показаться нам безродными пришельцами, пока мы не найдем их прямых прародителей в языке древних и древнейших эпох жизни нашего народа.

Таким образом, ясно: наряду с толковым словарем литературного русского языка ученым приходится непрерывно работать и над составлением других его словарей — древнерусского, областных, профессиональных. Без них не может обойтись языкознание; необходимы они и просто для культурной жизни всей нашей страны. Так любопытно приглядеться, какова же она, эта работа лексикологов-словарников, подумать, не можем ли и мы с вами хоть чем-нибудь помочь им.

«МУЗЕИ СЛОВ»

*Если в мучительские осужден кто руки,
Ждет, бедная голова, печали и му́ки,
Не вели томить его делом кузниц трудных,
Ни посылать в тяжкие работы мест рудных.
Пусть лексикон делает. То одно довлеет:
Всех мук роды сей един труд в себе имеет!*

Феофан Прокопович

«Делать лексикон» значит «составлять словарь». Занятие, казалось бы, спокойное и мирное, а вот ведь в каких черных красках рисует его современник Петра 1. Неужели и верно эта работа хуже каторги? Почему?

Она делится на два важных этапа. Сначала надо собрать все слова, которые интересуют лексикографа, потом их «истолковать», объяснить. Ни в том, ни в другом случае никто не может полагаться на свою память: нет людей, которые держали бы в голове все слова того или

иногo языка, знали все их значения. Вы не понимаете слова «гном», я забыл глагол «ёрничать», а ваш друг даже представления не имеет о существительном «дио́птр». Мы не включили бы их в словарь, не сумели бы правильно выяснить их смысл. А все они употребляются в русской литературе.

Значит, прежде всего необходимо собрать как можно большую коллекцию слов русского языка, общего современного языка, древнерусского или одного из областных диалектов, в зависимости от того, чем именно мы хотим заняться. Сборы эти всегда и во всех случаях оказываются делом трудоемким и нелегким.

Было время, когда им занимались одиночки-энтузиасты на свой страх и риск. Знаменитый наш лексикограф Владимир Даль посвятил почти всю свою сознательную жизнь составлению большого словаря народной речи. Начал он его юношей, кончил старцем. Вот что рассказывает он:

"С той поры, как составитель этого словаря себя помнит... жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты... записывал [он] их без всякой иной цели и намерения, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились... Прошло много лет, и записи эти выросли до такого объема, что при бродячей жизни (В. Даль был по профессии военным врачом. — Л. У.) стали угрожать требованием для себя особой подводы... Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда еще в походе. 1829 года, в военной суматохе, перехода за два до Адрианополя. Товарищ мой горевал по любимом кларнете своем, оставшемся, как мы полагали, туркам, а я *осиротел с утратою своих записок* ; о чемоданах с одеждою мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погигло! К счастью, казаки подхватили где-то верблюда с кларнетом и записками и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший же при нем денщик мой пропал без вести..."

Это было в 1829 году, а первый том словаря Дально удалось выпустить только в 1861 году. Тридцать лет непрерывного самоотверженного труда позволили ему Собрать около 200000 русских слов, создать книгу, которая и сейчас не утратила цены и значения. Но Даль, не будучи языковедом, не имея специальной подготовки, работал один. Поэтому словарь его изобилует ошибками, неверными толкованиями, неосновательными догадками. Теперь в нашей стране дело изучения слов русской речи ведется иначе. Теперь им занимаются не одиночки, а крепкие коллективы ученых, сотрудников языковедческих учреждений. И те коллекции, которые ими скапливаются, не уместились бы ни на каких «подводах» и «верблюдах»: они составляют грандиозные картотеки, целые любопытнейшие «музеи слов».

Возьмите, например, замечательную картотеку словарного отдела Института языкознания в Ленинграде. Она хранит около семи миллионов карточек с записями различных русских слов. Около семи миллионов! Если каждая карточка весит только два грамма, то и то общий вес «музея» равняется четырнадцати тоннам! Какой уж тут верблюд!

Законен вопрос: почему карточек так много? Неужели же русский язык столь необычно богат словами? Неужто их число измеряется миллионами? Естественно спросить и о другом: как составила такая громадная коллекция? Что она собой представляет? Как работают над ней ученые и для чего именно она нужна?

Разумеется, слов у нас гораздо меньше, чем этих карточек с записями. Сотрудники словарного отдела полагают, что ими зарегистрировано около 400-500 тысяч разных русских слов. Вероятно, в коллекции есть пропуски (она и сейчас непрерывно пополняется), но, в общем, цифра эта близка к исчерпывающей. А для того чтобы понять, для чего необходимо столь чудовищное количество карточек, сто́ит мысленно заглянуть в любой такой «музей слов».

Он не похож на другие музеи, — скажем, на зоологический, с его красивыми витринами, где полярная сова сидит на картонном ропаке, прикрытом искусственным снегом из ваты и бертолетовой соли, а семья утконосов весело полощется под сделанной из стекла поверхностью воображаемой австралийской речки. Не похож и похож!

В картотеке тысячи и сотни тысяч карточек установлены в длинных ящиках наподобие библиотечных каталогов. Каждая карточка размером с почтовую открытку стоит на своем точном месте по алфавиту. Что написано на ней?

На карточке написана какая-нибудь фраза, отрывок из текста книги, документа или кусочек подслушанной кем-либо живой речи. Например:

"Пускай же говорят *собаки*: „Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!""

В этой цитате слово «собаки» подчеркнуто или выделено каким-либо способом, а внизу сделано указание: «И. А. Крылов, „Басни“, стр. такая-то». Эта карточка стоит в ящике на букву "С", на слово «собака». И если вы возьмете одну из ее соседок, то и на ней вы встретите выписки, в которых — во второй, в третий, в десятый раз — будет встречаться так же подчеркнутое то же самое слово. Зачем это нужно? Неужели ученые не могут запомнить и объяснить даже такое слово, всем известное, совсем простое?

А что оно, по вашему мнению, означает? Ну конечно: «Прирученное человеком хищное животное, близкое к волку, лисице и другим». Что же еще можно добавить?

Но вот я вытаскиваю еще одну карточку. На ней написано довольно странное: "Оставив тяжело нагруженную деревянную *собаку* на перекрестке двух штреков, мальчик на четвереньках пополз на стоны..." Неужели и тут речь идет о «прирученном хищном животном»? Конечно, нет: лет пятьдесят — сто назад рудокопы называли «собаками» рудничные тележки, на которых отвозили по штольням породу. Можно встретить и такую запись: "По тем кустам пройдешь, столько *собак* в портки вопьется, скребницей час не отчистишь!" Оказывается, в Псковской области «собаками» называют цепкие семена сорного растения череды́... А что значит сочетание слов «морская собака», «летучая собака»? А сколько совершенно неожиданных значений имеет уменьшительное слово «собачка»: это и «гашетка огнестрельного оружия», и «особый зубец в механизме, препятствующий обратному движению», и «клинышек», и «щеколда»... Что же получается?

Выходит, что слово, взятое само по себе, в отдельности от других слов, вне фразы-предложения может оказаться совсем непонятным для нас. И наоборот, каждое новое предложение, новый кусок живой речи иной раз способны дать нам понятие о таком значении хорошо известного слова, о котором мы и не догадывались.

Вот почему и приходится на одно слово делать не одну, а много выписок. Не слишком много, чтобы они не заполняли собой и без того обильный «музей слов», но и не слишком мало; иначе многие и, быть может, очень важные значения этого слова останутся непонятными и незамеченными. Иначе говоря, тут-то и обнаруживается сходство нашего «музея слов» с зоологическим музеем. Там ученые стараются размещать чучела животных в их природной обстановке вовсе не красоты ради, а для того, чтобы можно было правильное и полнее судить об их особенностях, о том, для чего, скажем, тигру нужна его пестрая раскраска или дятлу упругий жесткий хвост. И здесь языковеды тоже стремятся воссоздать естественные условия, в которых живут слова нашей речи: они ведь никогда не встречаются нам «сами по себе»; они всегда показываются в живой связи с другими словами, мелькают в хороводах предложений, в сложной переключке с другими своими собратьями,

Теперь этот вопрос, мне кажется, выяснен. Остались другие: как составляются такие коллекции, откуда берутся их карточки, какую работу над ними ведут? Тут нам придется принять в расчет, что, как мы уже говорили, все это может меняться в зависимости от того, с каким именно словесным материалом, с какими потоками могучей реки русского языка мы имеем дело, какую ставим перед собою цель.

В МИРЕ ДАВНО ОТЗВУЧАВШИХ СЛОВ

Представьте себе, что вы историк, занятый чтением старинных рукописей. В грамоте одного из тверских монастырей, помеченной концом XVI века, вам попадается непонятная строчка:

"...и была та земля ране монастырская, и брана на посад *под веденцы*..."

Что может это значить? Слова «земля», «посад», «брана», «монастырская» понятны. Но что такое «веденцы»? Из одного предложения не выяснишь не только смысла нового слова, но

даже ка́к оно звучит в именительном падеже единственного числа: «веде́не'ц», как «бубене́'ц» или «огуре́'ц», «ве́денца», как «у́лица», «гу́сеница», или «веденца́'» — вроде «пыльца́'», «грязца́'». А может быть, еще и «веде́нца».

Еще хуже со значением слова: может быть, эти «веденцы», под которые заняли монастырскую землю, — овощи; действительно, что-то вроде огурцов или капорцев? А может стать, они строения или сооружения наподобие прудов — «копанцев», или просто растения как «саженцы»? Непонятно! Можно, вероятно, порывшись в древних рукописях, найти более ясный отрывок, содержащий это же слово; но для этого надо перерыть сотни старых грамот, книг, документов без большой надежды скоро наткнуться на него. Это, конечно, немыслимо.

Было бы очень печально, если бы не существовало «музеев слов». Вы идете в один из них, — скажем, в наш, ленинградский, — в картотеку словарного отдела Института языкознания. Древнерусскому языку отведено в ней полтора миллиона карточек. Вы заглядываете в них и с благодарностью видите: опытные охотники за старыми словами давно проделали за вас нужную работу: они собрали целый букет примеров на заинтересовавшее вас слово. Читаем их подряд.

Первая карточка ничего нового не дает: "Взято с пермской земли двадцать *веденцов* ..." Тут это слово может значить что угодно. Вторая тоже помогает мало: "Дал вклад Кузьма Устюженский *веденец* кафтан бархатный черный пуговицы золотые..."

Ясно одно: в именительном падеже единственного числа наше слово звучит как «ве́дене'ц», оно мужского рода. Но предки наши писали не всегда тщательно; к знакам препинания либо вовсе не прибегали, либо расставляли их каждый по-своему. Как понять: кафтан, что ли, назывался веденцом, или же это звание самого «вкладчика» (жертвователя), Устюженского Кузьмы? Туманно. Но, открыв третью карточку, мы с облегчением читаем:

"...а на том месте — лавка Якимки, московского *веденца* ..." Победа! Выяснено твердо: «ве́дене'ц» — человек. Но какой? Означает ли слово это профессию (может быть, он «кузне́'ц», «купе́'ц?»), характеристику («глупе́'ц», «сорване́'ц») или еще что-нибудь? Сказать трудно.

Еще и еще перебираете вы карточки, радуясь тому, что их так много, и, наконец, натываетесь на то, что вам нужно:

"...Осипко Осипов с братом по государеву указу *приведены* в Новгород в *веденцах* и помогу взяли из казны и, не хотя быть в тягле, заложились у митрополита..."

Вот теперь, если вы историк, перед вами нарисовалась целая яркая картина древней жизни. В те далекие времена существовали на Руси полусвободные переселенцы. Их направляли на пустынные окраины, выдавая на обзаведение ссуды из казны. Эти веде́нцы', или све́денцы', становились людьми «тяглыми», подневольными; чтобы выкупиться из царской кабалы, им приходилось закладывать себя самих, точно вещи в ломбарде, у какого-нибудь богатея. Так и Осипко заложил себя и брата митрополиту.

Все стало понятным, но ведь не из одной этой последней карточки, — из всех! Без других примеров и этот не помог бы: а вдруг «привести в веденцах» значит «привести в кандалах» или «в рубищах»? Но мы уже узнали: «веденец» — человек. Так, сличая несколько текстов, можно установить значение даже очень непонятного старого слова. Этим иной раз приходится заниматься самому историку; но постоянно, повседневно этой работой заняты люди, которые хотят снять с других тяжкий труд по разгадыванию старых слов, языковеды-лексикографы. И для них обширные коллекции «музея слов» — прямая необходимость.

Годами скапливают эти собрания текстов опытные охотники за давно отзвучавшими словами — выборщики словарных отделов. Работа далеко не простая: ни одного слова нельзя упустить; проворонишь его, и кто знает, когда вторично упадет на него глаз человека; может быть, через десятки лет! А с другой стороны, нельзя и выписывать, как хотелось бы, все слова древних рукописей подряд: они загромождают «музей слов» миллионами ненужных повторений.

То же и с примерами: одни сразу раскрывают точное значение слова, другие не говорят почти ничего. Хотелось бы плохие отбрасывать, но опасно: а вдруг хороших не встретится?!

Я привел в виде образца слово «веденец»; но таких и еще более непонятных слов в древнерусских текстах множество. Существует целая литература споров по поводу многих загадочных выражений, обнаруженных в «Слове о полку Игореве». Что такое «харалу́жная»

сталь? Как надо понимать выражение «дебрь Киса́ня»? Кого подразумевал гениальный автор под «дивом», который у него «кычет верьху древа», — птицу, человека или божество? Многие из них не поддаются разгадке именно потому, что нигде, кроме «Слова», не встречаются. Не встретились пока что! Но, может быть, охотники за древними словами их когда-нибудь и найдут еще...

Мне хочется познакомить вас еще с одним занятным примером таких загадок, со словом «вевеля́й».

Вот фраза:

"...а на том возу казна стрелецкая, да иная кладь, да три *вевеля* ..." Или: "...и в то сельцо приходили стрельцы и с *вевелями* ..."

Можно подумать: «вевеляй», видимо, какой-то военный инструмент или оружие, только какое именно?

Будь в наших руках эти два примера, дело было бы, пожалуй, безнадежным. Но в «музее слов» не одна и не две карточки содержат каждое любопытное слово. И среди них имеется такая: "...от всяких двадцати ратных человек ставлю я по одному ротмистру или по два *рядовых вевеляев* ...".

Выписка сделана из старинной книги по воинскому делу. Она ясно показывает: «вевеляй» — не предмет. Это особый военный чин, звание. Языковедам удалось установить и его значение и самое происхождение слова. «Вевеляй» — переделанное на русский лад немецкое слово «фельдвайбель» (теперь мы произносим его тоже не очень точно: «фельдфебель»). Вевеляи были в допетровской Руси младшими стрелецкими командирами, вроде наших старшин.

Я думаю, вам хорошо понятно, до какой степени важны такие правильно подобранные, тщательно выисканные выписки, какой большой опытностью, умением, знанием дела должны обладать те, кто их собирает по старым документам, — охотники за древними, ископаемыми из архивной пыли словами.

В ПОГОНЕ ЗА ЖИВЫМ СЛОВОМ

Мы говорили сейчас о словах, которые уже давно отзвучали. Их нет больше в мире. Только в древних книгах, на листах выцветших рукописей и грамот остались их отпечатки, их тени. Никто не говорит «кметь», когда нужно назвать воина. Ни один человек не поименует дядю у́ем или мужа ла́дой, как в дни Мономаха. Древние слова подобны потухшим звездам: их давно нет, а до нас все еще доходит их свет, потому что свет идет медленно.

Да понятно: собирать тени нелегко. Зато со словами живой речи дело, наверное, обстоит лучше? Вот, скажем, народный язык, его местные говоры, областные наречия и диалекты. Они же еще живут; с ними все видимо, все ясно... Это — русский язык, а мы тоже русские люди.

Вы думаете, с ними так просто?

Вы идете где-либо по глухому лесу, вдоль реки, впадающей в Белое море. Тропка змеится вперед. И вдруг из-за вековой ели какой-то дедка дружелюбно кричит вам: "Эй, друг! Туды не ходи: там **ня́ша** !" Что подумаете вы при этом?

Вы подумаете: «Дед либо нерусский, либо шутник! „Няша“! Скажите на милость! Что это: „бука“, „бяка“? Нашел чем страшать!»

Но не теряйтесь в догадках; спросите в любой северной деревне и узнаете: нет, «ня́ша» не «бука». «Ня́ша» — на местном наречии болото. А соваться в болото действительно ни к чему.

Слово «няша» известно только на Крайнем Севере. Ни рязанец, ни орловец его не поймут⁵⁸. Зато у них есть свои местные слова, точно так же неизвестные в других частях громадной нашей страны.

Если бы лет сорок назад где-нибудь возле Великих Лук, заведя замурзанного парнишку

⁵⁸ Но вот геологи, работавшие на северо-востоке нашей страны, судя по полученному мной от одного из них письму, уже включили это слово в свою профессиональную речь. У них оно означает прослойку жидкой грязи, встреченную в шурфе или буровой скважине.

на деревенском крыльце, вы окликнули его: «Вань, а ваши где?», вы рисковали бы услышать в ответ что-нибудь вроде:

«Да батька уже помеша'лся, так ён на будво'рице орёт; а матка, та'я шум с избы' па'ше...»

Я думаю, вы побледнели бы: целая семья сошла с ума! На деле же все было очень спокойно; ответ мальчишки можно перевести «с псковского на русский» примерно так: «Отец закончил вторую вспашку поля и теперь поднимает огород возле избы, а мать — та выметает мусор из дому...» Только и всего. Это совсем не бред безумца; это чистый и правильный русский язык, только не литературный, а народный, в одном из его многочисленных наречий.

Было время, наречия эти резко отделялись друг от друга и не менялись веками: ведь жители разных частей нашей родины — тверяки, псковичи, вологжане, куряне — почти никогда не встречались и даже не слышали друг друга. Теперь не то: наша жизнь с ее железными дорогами, почтой, радио, телеграфом, книгами, газетами, воинской службой, обязательным обучением все сильнее и сильнее стирает все языковые рубежи. Иначе и быть не может. Но кое-какие местные особенности всё еще держатся. Областные говоры и сегодня влияют на общерусский язык. В них гораздо крепче, чем в городской речи, сохраняются следы прошлого. Не приходится удивляться, если языковеды спят и во сне видят: хоть напоследок собрать, запечатлеть, изучить эти вымирающие диалекты: не из них ли вырос и весь наш язык?!

Легко сказать — собрать и изучить! На местных диалектах никто не пишет ни книг, ни документов. Они живут только звуча, только в устах говорящих. И ученым, которые охотятся за их словами, приходится пускаться в далекие, порою нелегкие, странствования.

Местные слова, как лесные птицы, держатся всего прочнее в самых далеких, самых глухих углах страны.

Приходится плыть на их поиски по могучим рекам, пробираться сквозь таежную глушь в последние «медвежьи углы», сквозь «ня'ши» и «со'ломбы», по «крючам» да «запроки'дам» до отдаленнейших поселков, выходить в море с беломорскими или азовскими рыбаками, слушать старых сказочниц и певцов народных «ста'рин» — былин и, как когда-то делал Даль, тщательно, бережно записывать каждое уловленное незнакомое слово. А нужны они науке, эти подслушанные слова? Нужны, и даже очень!

В окрестностях Пскова вы до сего дня можете услышать слово «попелу'шка». Оно значит «серая ночная бабочка». Слово это, видимо, очень древнее; происходит оно от «по'пел» (пепел), а близкие к нему слова можно встретить и в других славянских языках. Псковичи унаследовали его от своих далеких предков. Это совершенно закономерно.

А теперь представьте себе, что где-нибудь в Сибири вам, охотнику за словами, попадается в речи местных жителей это же самое слово. Нигде кругом его нет, а тут вдруг в небольшом районе оно известно каждому. Что это может значить?

Нередко бывает разумно предположить: когда-то, может быть очень давно, этот далекий район был заселен выходцами из-под Пскова. Факт забылся; даже сами правнуки тогдашних поселенцев утратили память о своем происхождении. А слово помнит и свидетельствует о нем.

Когда думаешь о таких случаях, приходит на ум одно растение, обычная сорная трава Европы, «плянта'го», каждому известный подорожник. У подорожника цепкие семена. Он подвешивает их к одежде и обуви проходящих и путешествует, так сказать, «чужими ногами». Именно поэтому он и растет больше всего вдоль пешеходных тропинок.

Едва первые европейские переселенцы появились в Америке, вместе с ними, цепко держась за грубую шерсть чулок и юбок, явился туда и подорожник. Скоро удивленные индейцы стали находить эту чуждую, невиданную траву всюду вдоль дорог, по которым проходили их страшные гонители. И они прозвали ее «следом белого»; плоские листья ее громко кричали им: «Берегись! Тут шел бледнолицый!»

Слово как подорожник: оно никуда не может пойти само. Но его всюду проносят люди. И нередко они уходят, а оно остается, как верный свидетель: тут были они!

Бывает и иначе. В той же Псковской области донине живут странные обращения рассерженных взрослых к балованным и озорным детям: «Эй, литва'! — кричат ребятам старшие. — Живо уняться, во'льница!»

На первый взгляд, что особенного? Но вспомним, что «вольницей» в старину именно в Новгородской и в Псковской землях именовались полувоенные, полуразбойничьи ватаги

забубенных, отчаянных голов, «ушкуйников». Они порою смело боролись за свою родину на войне, но в мирное время не стесняли себя в обращении со своими соотчичами. А в дни известных «литовских войн» соседние феодалы приводили в эти же края дружины своих воинов, вероятно усердно грабивших и разорявших население. Надо думать, и те и другие основательно похозяйничали тут, если даже теперь, спустя века и века после того времени, здесь, и только здесь, всякий озорник-буян именуется либо «вольницей», либо «литвой». Тут уж слово свидетельствует о делах и событиях далекого прошлого не своими путешествиями, а, наоборот, самым фактом своего появления и оседлого существования в определенном, строго ограниченном районе.

Все это не могло не обратить на себя особого внимания лингвистов. Не говоря уже о словарях, они начали, на основании собираемых записей областных слов, составлять особые «лингвистические карты», основав специальный отдел языковедной науки — «лингвистическую географию».

Вы, разумеется, видели на обычных картах извилистые линии, именуемые разными словами с неизменной приставкой «изо» (по-гречески — «равный»): изобаты (кривые, соединяющие места равных глубин в море), изотермы (кривые равных температур), изобары (линии одинакового давления воздуха), изогипсы (линии, соединяющие одинаковые высоты). Карты эти позволяют географам, климатологам, морякам судить о многих явлениях природы. На лингвистические карты наносятся похожие линии — изоглоссы; они соединяют между собою пункты, в которых наблюдаются одни и те же слова, одинаковые формы слов, сходные грамматические явления. Изоглоссы слов «вольница» и «литва», несомненно, почти совпадут; они, как кольцом, охватят старые псковские и новгородские земли; они очертят тот район, который подвергался некогда то вражескому, а то и «дружескому» разорению. Изоглоссы, вычерченные по другим словам, одни пролягут от Новгорода на восток, обрисовывая пути, по которым предприимчивые новгородцы колонизовали некогда Приуралье, другие потянутся от Великих Лук к юго-западу, указывая на старые связи южных псковичей с белорусами... И, как опытный геолог, наметив на карте точки, где находят в слоях земли остатки каких-нибудь древних раковин, уверенно говорит: «Тут было море!» — так лингвист по своим изоглоссам судит о таких передвижениях давних обитателей земли Русской, о которых не сохранилось никаких свидетельств у историков. Как же не сказать, что собирание и этой части «музея слов» является пусть не легким, но увлекательным и важным делом!

ЯЗЫК, КОТОРЫМ ГОВОРЯТ МЫ

Вы убедились: нелегка охота за древнерусскими, да и за современными областными, словами. Поиски первых связаны с копаньем в архивной пыли, с погружением в труднодоступный, и в конце концов довольно ограниченный, окостенелый мир старых письменных памятников. Поле деятельности охотника за ними и темно и нешироко. Наоборот, каждый, кто изучает современный народный язык, то и дело теряется перед колоссальными грудями живого, пестрого, подвижного материала. Столько говоров, наречий, диалектов, и все это живет, воздействует одно на другое, движется, переплетается...

Есть в этих областях работы трудности взаимно противоположного характера. Никогда ни единого слова древней речи мы не слышали и не услышим; мы знаем только письменный, мертвый слепок с нее. Напротив того, областные языки, если не принимать в расчет ничтожных исключений, известны нам только на слух. Кто и где читал газету или книжку, напечатанную на орловско-курском, пензенском или костромском наречии?

В то же время и там и тут встречаются сходные препятствия. И древний русский и современные говоры, в общем, мало знакомы нам, горожанам. И там и тут пестрят непонятные, загадочные слова; значение их порою весьма темно, и раскрыть его не так-то просто. Правда, бывают случаи, когда загадки современных диалектов решаются при помощи того, что мы знаем о языке Киевской Руси. Случается и наоборот: смысл умершего века назад слова, добытого из старинной грамоты, проясняется, если порыться в каком-нибудь нынешнем, живом местном говоре.

Мы долго разводили бы руками, стараясь понять, почему пепельно-серая ночная бабочка

зовется в народе «попелухой», если бы слово «попел» (пепел) не было нам известно из древних книг.

Многие охотничьи термины глубокой древности, вроде «пу́тик» (охотничья тропа с расставленными вдоль нее капканами), «ёз» (закол, хворостяная перегородка через русло реки для рыбной ловли) или «перевес» (птицеловная сеть), остались бы для нас неразгаданными, если бы мы не находили им объяснений и близких слов в современных народных говорах. Ведь в литературном языке они давно исчезли.

Казалось бы, никаких таких затруднений не может быть при составлении словарей нашей современной литературной речи. Уж ее-то мы знаем и в письменной и в устной формах. Мы сами ежечасно пользуемся ею. Какие могут быть для меня тайны в языке, которым я сам говорю? Я его хранитель, передатчик и в какой-то миллионной доле даже его творец. Ему меня обучали в школе; я и сам призван учить правильному владению родным языком своих детей и внуков. Значит, эта область словарной работы должна быть самой легкой.

Хорошо бы, если бы это было так.

Составитель древнерусского или народно-русского словаря ставит перед собой одну основную цель: дать наиболее точную и полную картину языка, помочь его изучению. Любое вновь найденное слово он смело и твердо заносит в свой список, заботясь об одном — о точной его передаче. Не приходится рассуждать: хорошо или плохо, что автор «Слова о полку Игореве» называл воинов «кме́тями», а тоску — «туго́ю»; он их так назвал, и все тут. Нечего делать замечание псковичу, если он именует бабочку-капустницу «мя́клышем», а птицу сову — «лунём». Ему нет печали до того, что в других наречиях «лунь» — совсем иная птица. Он так говорит, и дело с концом. Составитель словаря покорно запишет любое его «словоупотребление».

Совсем иное — составление словаря нашего современного языка. Здесь перед лексикографом возникает дополнительная и особо важная задача. Он не может просто регистрировать слова: существуют, дескать, и прекрасно. Он должен еще определить, законно ли их существование в устах говорящих или под пером пишущих? А может быть, они употребили их случайно, по ошибке и невежеству, и им не место в стройном здании литературной речи?

Вот почему, записав в речи образованного горожанина слово «сковырну́лся» в смысле «сорвался, упал», или слово «булга́хтер» (вместо «бухгалтер»), он должен будет сразу же призадуматься: а можно ли эти слова заносить в словарь литературной речи? Законны ли они в ней? Можно ли **позволить** школьнику в классе, журналисту в газете употреблять их в этом виде или это надо **запретить**? Допустимо ли, чтобы мы слышали и читали фразы вроде: «Ученики нередко могут сковырнуться при испытании по русскому языку», или «Булгахтерский учет — основа нашего хозяйства»?

В чем же разница между литературной и разговорной речью? Да в том, что литературный язык — язык особый. Один из всех языков, которыми мы можем пользоваться, он имеет свою, пусть непостоянную и изменчивую, необходимую **норму**, подчиняется определенным (хотя тоже изменчивым и гибким) **правилам**. Мы не просто изучаем его: мы делаем это для того, чтобы его совершенствовать. Мы делаем это для того, чтоб обучать ему других людей. Поэтому и любой словарь литературного языка не может остаться его равнодушным описанием, слепком с натуры. Он должен стать своего рода книгой его законов. Своим существованием он должен отучать от неправильной и насаждать правильную речь.

Не знаю, думаете ли вы, что это очень просто?

Каждый день вы сталкиваетесь с тысячами слов и устных и письменных. Но как узнать, которые из них принадлежат к правильному литературному языку, которые — самозванцы? Кто судья в этом вопросе? Вы пойдете к учителю языка, но учитель сам полезет за нужной справкой в словарь. Словарь составляли языковеды, а каждый языковед скажет вам, что он не вправе навязывать языку свои личные вкусы: «Мы сами должны искать законы языка в языке, а никак не придумывать их для него».

Получается заколдованный круг, и что-то выхода из него не видно.

Выход приходится искать именно в самой литературе. То слово, которое принято писателями, поэтами, учеными, которое повторяется в книгах, газетах, — его мы должны

считать литературным, даже если нам самим оно незнакомо или непривычно. А вот если оно звучит только в устных беседах или если оно встречается изредка в очень специальных профессиональных изданиях, не выходя за их круг, тогда с приданием ему звания «литературно-правильного» придется подождать, даже если оно звучно, красиво и по всем статьям хорошо.

Вот какой казус пришлось недавно разрешать ленинградскому «музею слов», картотеке Института языкознания.

Потребовалось установить: есть ли в литературном языке слово «купе́йность». Заглянули в готовые словари: не обнаружили. Поговорили с железнодорожниками: эти все его знают и считают совершенно правильным. Слово «купе́» в словарях есть; оно-то литературно. Ну, а с «купе́йностью» как же? Мало ли, что и как в устной «домашней» речи своей именуют между собою путейцы: они шутники, и паровоз марки «ОВ» называли, бывало, «овцой» или «овечкой». Но ведь нельзя всерьез писать: "На железных дорогах СССР долгое время работали паровозы марок „Овца" и „Щука". Эти названия нелитературны.

Чтобы разрешить вопрос, надо было установить: есть ли такое слово где-нибудь в серьезных работах по транспорту, встречается ли оно в художественных произведениях?.. Это была задача неразрешимая для одиночек прошлого, вроде В. Даля. Попробуйте догадаться, где, в какой из тысяч ежегодно выходящих в нашей стране книг, на каком седьмом или десятом миллионе их страниц встретится это маленькое словечко!

Другое дело — крепкий коллектив научных работников картотеки. Они устроили форменную облаву на «купейность», и слово удалось, наконец, поймать в учебнике для работников вокзалов, написанном видным путейцем. Картотека дала ответ заинтересованным: "Да,,купейность" — слово, **становящееся литературным**"; а в ящиках «музея» появилась еще одна, семь миллионов первая карточка.

Другой вопрос: надолго ли слово это вошло в наш литературный язык, есть ли большой смысл сохранять его там? Не больно-то оно удобно и красиво, и, весьма возможно, дни его существования уже сочтены.

Надо прямо сказать: одну из самых больших трудностей работы над литературным языком составляет его исключительная живость, подвижность. И древнерусский язык и даже областные диалекты — другое дело. Первый давно уже окаменел окончательно; вторые неспешно текут и движутся, как вылившаяся когда-то из жерла вулкана, остывающая вязкая лава. А литературная речь подобна живой реке: она бурлит, пенится, роет берега, принимает притоки, растекается многими руслами — живет. То, что сейчас мелькнуло на поверхности, через краткое время кануло на дно или выброшено на отмель. Поди уследи за всем этим блеском и суголокой!

Вот судите сами. В конце двадцатых годов во многих советских учреждениях был для пробы введен особый порядок: они работали без общих выходных, как заводы, а сотрудники отдыхали каждый в свой день укороченной пятидневной недели по очереди.

Эту систему сначала называли длинно: «непрерывной рабочей неделей». Потом возникло сокращенное слово «непрерывка». Оно мгновенно стало бесспорно литературным словом: вы найдете его в протоколах тогдашних собраний, в приказах, в статьях газет, а вполне возможно, и в художественных произведениях того времени. Теперь же вы, вероятно, сегодня услышали его от меня впервые. Почему? Потому что спустя очень недолгий срок непрерывная неделя была признана неудобной, отменена, и слово, ее означавшее, исчезло. Перед работниками словарей встает существенный вопрос: имеет ли оно право числиться в списках литературных русских слов?

Случается, что споры на чисто словарные темы выбиваются за пределы кабинетов ученых.

В отрывке из стихотворения XVIII века, приведенном ранее, есть слово «довлеет»: «То одно довлеет...» — говорит Ф. Прокопович о «делании лексиконов», то есть «этого одного достаточно».

«Довлеть» — слово старославянское: глагол, означающий именно «быть достаточным», «хватать». Когдато широким распространением пользовалось древнее изречение: «Довлеет дневи злоба его», переводимое: «На каждый день хватает его собственных забот».

В двуязычных словарях оно так и понимается: по-французски «довлеть» — «suffir»; по-немецки — «gen\»ugen" («быть достаточным»). Нам же, русским, особенно не знающим древнеславянского, «довлеть» по звучанию напоминает «давить», «давление», — слова совсем другого корня. В результате этого чисто внешнего сходства произошла путаница. Теперь даже очень хорошие знатоки русского языка то и дело употребляют (притом и в печати) глагол «дОвлеть» вместо сочетания слов «оказывать дАвление»:

"Гитлеровская Германия *довлела* над своими союзниками".

"Над руководителями треста *довлеет* одна мысль: как бы не произошло затоваривания..."

В этих случаях «довлеет» значит уже «давит», «висит», «угнетает», — все что угодно, только не «является достаточным».

По поводу этого обстоятельства в нашей прессе возникли бурные споры. Писатель Ф. Гладков опротестовал подобное понимание слова, совершенно справедливо считая его результатом прямой ошибки, неосведомленности в славянском языке. Казалось бы, он совершенно прав.

Однако посыпались возражения. Старое древнеславянское значение слова забылось, говорили многие, утвердилось новое. Какое нам дело до того, что «довлеть» значило во дни Гостомысла? Теперь оно значит другое, и смешно возражать против этого. Подобные превращения происходят в языке постоянно.

Вот греческое слово «идио́тэс». В Греции оно означало «частный, или простой, человек». А теперь во многих языках его понимают как синоним полного дурака, «болвана».

Вот латинское слово «пага́нус». Его первоначальное значение было «крестьянин». Потом оно стало означать «язычник» (потому что христианство в Риме долго не могло проникнуть в деревню). А теперь у нас, русских, оно приобрело смысл «нечистый», «мерзкий»: гриб «поганка»; «экий поганый характер»...

Всем известно слово «миниатюрный»: мы понимаем его как «маленький и изящный»; но тут такая же путаница, как и со словом «довлеть». Слово «миниатюра» (маленький рисунок) на самом деле по-итальянски означает «сделанный красной краской»: по-итальянски «минио» — красная окись свинца, а заставочные рисунки в старых книгах чаще всего исполнялись именно этой краской.

Однако в романских языках очень распространен совсем другой корень — «мин»; мы встречаем его в таких словах, как «мино́р», «остров Минорка» (рядом с островом Майоркой), «ми́нимум», «ми́нус». По-латыни «ми́нор» действительно значило «малый», «меньший». Произошло смешение двух корней, и «маленький рисунок — миниатюра» как бы прирос к семье слов, сходных с «минимумом». А от «миниатюры» произошло уже в русском языке⁵⁹ прилагательное «миниатюрный» — маленький. Об окиси свинца совершенно забыли.

Как видите, слова далеко не редко рождаются в результате языковой путаницы, ряда ошибок. Тем не менее мы все спокойно употребляем и слово «идиот», и «поганку», и «миниатюрный», и сотни других. Почему же надо вооружаться против глагола «довлеть» в его новом значении, если язык принимает его?

Спор о слове этом дошел до того, что противники обратились за разрешением его к ученым-лингвистам. Крупнейшие языковеды наши высказались уклончиво и осторожно. «Да, — говорили они, — мы сами избегаем употреблять это слово в его новом значении. Но многие, отлично владеющие русской речью, товарищи — М. И. Калинин в своих речах, поэт Н. С. Тихонов в статьях — пользуются им уже вполне свободно. Запретить это им мы не имеем оснований...»

Такая уклончивость разумна: для языковеда есть единственный путь узнать, правильно или неправильно то или иное словоупотребление, — присмотреться к тому, как его **уже** употребляют в литературе.

Но и противники слова «довлеть» и ему подобных выдвигают серьезные доводы. Они напоминают, что В. И. Ленин в свое время горячо протестовал против совершенно такой же

⁵⁹ Слово «миниатюра» живет и во Франции (miniature), и в других странах, а вот «миниатюрный» по-французски будет уже «minuscule», «microscopique».

перелицовки значения французского слова «будэ́» (дуться, сердиться) в русский глагол «буди́ровать» (тревожить, возбуждать против чего-либо). Перелицовка произошла по совершенно тем же причинам, что и в случае с «довлеть»: глагол «буди́ровать» неправильно связался с русским созвучным словом «буди́ть». Владимир Ильич писал по его поводу очень сердито: такие ошибки «совсем уже могут вывести из себя». Он считал подобное «французско-нижегородское» словоупотребление вредным для языка.

Ученый-языковед, работающий над словарем русского литературного языка, должен стать в этом споре на какую-то одну сторону, сделать свой обоснованный выбор. Ведь по его словарю будут потом учиться **правильно** использовать русские слова; нельзя допустить, чтобы экзаменуемый по русскому языку школьник пребывал в полной неизвестности, кого же он должен слушаться — писателя Гладкова, запрещающего такие слова, или поэта Тихонова, спокойно употребляющего их. Ка́к он должен правильной выразиться: «надо мной довлет пример Тихонова» или «мне довлет того, что сказал по этому поводу Гладков»?

Иногда вопрос возникает не только о правильном понимании того или иного слова, сколько о его правильном произношении. Существует длинный ряд слов, которые очень многими выговариваются неверно, то есть без учета их происхождения. Нередко слышишь, как говорят «лабоЛатория» вместо «лаборатория», или «коЛидор», а не «коРидор». Так поступают только те, кто не знает, откуда взялись эти слова.

Слово «лаборатория», например, тесно связано с латинским «labor» (работа) (так же как и известное теперь всем название английской парламентской партии «лейбори́стов»). «Лаборатория» по-латыни значит: рабочее место; нет никакого резона заменять в нем звук "р" звуком "л". Еще того меньше прав на это у нас в слове «коридор»: оно через французский язык происходит от испанского «correr» (бегать); в Испании даже знаменитый «бой быков» непочтительно именуется «корри́да», то есть «беготня». Конечно, эти слова произносят неверно как раз многие, но если идти им навстречу, так почему же тогда не узаконить произношение «тубаретка» вместо «табуретка» или «листричество» вместо «электричество»? Та́к ведь тоже говорят тысячи людей!

Это справедливо. И все же, с другой стороны, великое множество иностранных слов вошло давным-давно в нашу речь и живет в ней, всеми признанное, именно в совершенно «неправильной», с точки зрения верности первоначальному звучанию, форме.

Ни один ревнитель чистоты языка не возражает против слова «и́звесть», а ведь это не что иное, как искажение греческого слова «азбэ́'стэс». Мы спокойно говорим «известка», и это не мешает нам употреблять более точное слово «асбе́'ст» в качестве названия определенного минерала.

Есть растение, которое мы именуем тмином. Слово это самое что ни на есть литературное. Между тем оно — искажение греческого «кюми́'нон», которое, в свою очередь, произошло от древнееврейского «каммон», или «кинаммон». (Помните у Пушкина: "Нард, алоэ, *кинаммон* благовонием богаты"?) В старославянском языке жила более близкая к первоначальным форма «кюмин». Так что же, может быть, нам попытаться вернуться к этой форме? Ясно, что это бессмыслица!

Как же быть? На чем остановиться?

Чтобы покончить с этим нелегким вопросом, поговорим об одном довольно любопытном, только что родившемся слове, слове — грудном младенце, едва начинающем жить.

Маленькие дети, играя, очень точно подражают звуку автомобильного сигнала, произнося слоги «би-би». В моем детстве мы, тогдашние ребята, не знали такого звукоподражания, да и неудивительно: в мире еще не было нынешних машин и их электросигналов. Мы изображали звуки, издаваемые транспортом, выкликая «ду-ду», «ту-ту», «динь-динь», «ляу-ляу» и т. п. Для своего времени и это было недурно.

Но теперь машин стало столько, детям они так близки, что прямое звукоподражание «би-би» скоро оформилось в слово, в глагол «биби́'кать». Я убедился: во всех концах нашей страны не только малыши, но и взрослые, имеющие с ними общение, свободно пользуются в

разговорах с детьми этим едва родившимся словом⁶⁰. Да почему бы и нет? Глагол как глагол — несовершенного вида, первого спряжения, непереходный... Он ничем не хуже любого другого глагола, хотя бы «пили́кать», который можно обнаружить в каждом более или менее полном словаре. Так что же, и «биби́кать» следует занести туда? Как должен поступить с ним лексикограф, наткнувшийся на это слово где-либо в живой речи? Признать его, как выражаются дипломаты «де-юре», официально, или же ограничиться признанием «де-фа́кто»: пусть, мол, живет, и мы сделаем вид, что его нет?

На все такие вопросы пока мы можем дать только очень осторожный ответ, со многими оговорками.

Какой-либо явной, твердо и резко намеченной граничной линии между «литературным» русским языком и языком народным, различными его говорами и наречиями не существует. Нет по-аптекарски бесспорных примет, которые позволили бы дать оценку любому слову: вот это — литературное, а это — просторечье. Слова живут, живут беспокойной жизнью. То, что вчера казалось совершенно правильным и даже общепризнанным, сегодня становится полной редкостью, выпадает из общей речи. То, что совсем недавно представлялось грубым вульгаризмом, может внезапно стать совершенно законным литературным словом, проникнуть в самую правильную, самую образцовую речь.

Пушкин рассказывает, что разбиравшие его «Полтаву» критики называли «низкими, бурлацкими выражениями» такие слова, как «усы», «визжать», «вставай», «ого», «пора»... Можете ли вы согласиться с ними? Правда, это было начало XIX века, когда наш язык еще сильно отличался от его теперешнего состояния.

Но ведь и в конце того же столетия А. П. Чехов возмущался своими современниками, допускающими в речах своих такое нелепое, безобразное слово, как «чемпион». А попробуйте сегодня доказать кому-нибудь, что оно нелитературно!

Языковеды знают, что в литературном языке нашем все время наблюдается постоянная борьба двух сил: живого, нетерпеливого стремления вперед (оно зовет к постоянным переменам, к смелому принятию новых слов и новых форм слова) и осторожного желания сохранить в нерушимой целостности уже найденную красоту и совершенство речи. Ни та, ни другая из этих сил не может (и, вероятно, никогда не сможет!) решительно взять верх: это грозило бы очень тяжкими последствиями. Наоборот, равновесие их как раз и создает то, что мы должны считать «правильностью» языка, его сегодняшней «нормой».

Поэтому языковед-лексикограф должен в своей работе проявлять одновременно и высокую чуткость ко всему действительно живому и плодотворному в языке и большую строгость к тому, что противоречит его духу. Он одинаково не имеет права как тормозить движение языка вперед, так и угодливо склоняться перед его случайными причудами. В свои словари литературной речи он должен вводить лишь то, что принято самим языком, литературным и письменным, что уже устоялось в нем как несомненное. А чтобы иметь право судить об этом и не запаздывать на много лет, он обязан непрерывно пополнять запасы того «музея слов», на который опирается его работа.

Лексикограф не может признавать слово литературным, ссылаясь на его широкое устное применение. Тысячи людей говорят: **«Кто тут крайний?»**, подходя к очереди за газетами. Языковед обязан понять, что это словоупотребление не может быть признано правильным и литературным. Если на вопрос: «В каком вагоне ты едешь?» вы ответите: «В крайнем!», у вас сейчас же потребуют разъяснить: от начала или от конца поезда, в первом или в последнем? У каждого ряда предметов по крайней мере **два края**, и слово «крайний» стало употребляться тут по нелепому недоразумению, ибо обычному слову «последний» в некоторых говорах народной речи придается неодобрительное Значение — «плохой», «никуда не годный»: «Опоследний ты,

⁶⁰ Сто́ит отметить и вот что: с отменой в крупных городах автомобильных сигналов и само звукоподражание «би-би» и производный от него глагол «бибика́ть» потеряли свою, так сказать, актуальность и распространенность: сейчас в Москве и Ленинграде вы редко услышите их. А вот в сельских местностях, где шоферы сигналият по-прежнему свободно, оба эти слова продолжают жить: ребята в колхозах «бибикают» сколько хотят. Мне доводилось слышать даже слово «биби́ка», означающее «машина», «автомобиль».

братец мой, человек!»

Точно так же не следует признавать «литературным» и употребление словечка «пока!» вместо прощального приветствия. Дело не в том, что оно само по себе плохо или нелепо. Оно является естественным сокращением какого-то более распространенного вежливого оборота, вроде: «Пока желаю тебе всего хорошего». Такими сокращениями полон наш язык: слово «спасибо» тоже стянулось из «спаси (тебя) бо(г)». Это не мешает нам им пользоваться⁶¹.

Но слово «спасибо» вы встретите и у Тургенева и у Гончарова, у Толстого и у Чехова, а разговорное «пока!» чести полноправно войти в художественную прозу и поэзию **пока** еще не дождалось.

Нигде не увидите вы и попыток заменить сочетания слов «последний из могикан», «последний из Удэге» другими: «крайний могиканин» или «крайний удэгеец». Вот почему и словари не могут ввести их в избранный круг литературных выражений.

Вышедшее из лётных сфер слово «пики́ровать» проникло уже в широкую литературу, стало словом общерусским и литературным. (В устной речи родились даже переносные осмысления его — «настойчиво стремиться», «бурно атаковать»: «Вижу, идет профессор. Пикирую на него, здороваюсь...») Весьма возможно, что его уже пора зачислить в словарь правильного литературного языка.

А вот такие, может быть, и очень удобные специалистам, профессиональные слова, как спортивные «соско́к», «подско́к», «вис», «свис», «жим» или сельскохозяйственные «око́т овцематок», «деловой поросенок» и т. п., вряд ли заслужат эту честь: они неуклюжи, созданы наспех и, можно думать, будут скоро заменены другими терминами. Впрочем, поживем — увидим.

Ну что ж? Составление словарей литературного языка оказывается на поверку, пожалуй, не менее, а еще более трудным занятием, чем «делание» любых других лексиконов. Поистине прав Феофан Прокопович: «Всех мук роды сей труд в себе имеет». А ведь я за отсутствием места не могу коснуться вовсе второго и самого сложного этапа словарной работы — толкования уже собранных слов.

НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЕ СЛОВАРИ

Словари, о которых я говорил до сих пор, — лексиконы обычного типа: почти каждый из нас так или иначе соприкасался с ними. Но существуют или могут существовать и некоторые особенные словари; о тех мало кто имеет представление. Хочется хоть в двух словах коснуться и их.

Когда мы читаем произведения того или иного поэта, писателя, мы нередко удивляемся богатству, красочности, выразительности его языка. Все эти прекрасные качества зависят в основном от двух причин: от того, **какими словами** пользуется этот художник, и от того, **ка́к именно** он ими пользуется, как сочетает он их в ткани своей поэмы или романа.

Понятно, что литературоведам очень важно изучить и то и другое. Каждый в меру своих сил, они все пытаются это сделать. Но ведь что́ можно сказать, например, по вопросу о сравнительном богатстве языка Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Толстого, если никто в точности не знает, какие именно слова и сколько слов знал и употреблял каждый из них?

Мы нередко слышим: Пушкин в своих стихах очень широко пользовался глаголами. Посмотрите, мол, как он пишет:

Сын на ножки *поднялся* ,
В дно головкой *уперся* ,
Понатужился немножко:

⁶¹ К. И. Чуковский в одной из своих статей, опубликованной в «Новом мире» за 1961 год, очень удачно показывает, что совершенно равносильные нашему короткому «пока!» выражения бытуют и в английском и во французском разговорных языках. Тем не менее маститый критик колеблется; может ли это словечко уже быть признано совершенно литературным.

"Как бы здесь на двор окошко
 Нам *проделать* ?" — молвил он,
Вышиб дно и *вышел* вон.

Посмотришь и — верно: 7 глаголов на 19 значимых слов! Возможно, и впрямь: характерная черта стиля Пушкина — любовь к действенному слову, к глаголу; может быть, именно при его помощи делает он свой стих таким стремительным и живым, а имена оставляет в стороне.

Но вот другая цитата:

В *Петрополь* едет он теперь
 С запасом *фраков* и *жилетов*,
Шляп, *вееров*, *плащей*, *корсетов*,
Булавок, *запонок*, *лорнетов* ,
 Цветных *платков*, *чулков* \`a jour⁶²,
 С ужасной книжкою *Гизота* ,
 С *тетрадью* злых *карикатур* ,
 С романом новым *Вальтер Скотта*,
 С *bons-mots* ⁶³
 парижского *двора* ,
 С последней *песней Беранжера* ,
 С *мотивами Россини*, *Пера* ,
 Et cete´ra, et cete´ra...⁶⁴

Полная противоположность! На один-единственный глагол «едет» приходится двадцать шесть существительных! Можно привести и другой, столь же разительный пример:

Возок несется чрез ухабы ,
 Мелькают мимо будки, бабы,
 Мальчишки, лавки, фонари,
 Дворцы, сады, монастыри,
 Бухарцы, сани, огороды,
 Купцы, лачужки, мужики,
 Бульвары, башни, казаки,
 Аптеки, магазины моды,
 Балконы, львы на воротах
 И стая галок на крестах.

Два глагола, и при них двадцать восемь существительных! При этом — попробуйте сказать, что это стремительное описание движения, пробега саней по улицам Москвы — нединамично, что глаголы придали бы ему бо́льшую энергию... Нет, видимо, вывод о пушкинском предпочтении одной из частей речи был несколько опрометчивым... А ведь любопытно было бы добраться до истины! Ведь и на самом деле от выбора слов зависит многое, если не все, в стиле писателя...

Сделать это по-научному точно стало возможно только теперь, когда закончен «Словарь Пушкина». Вот когда рядом с ним мы получим «Словарь Лермонтова», словари Толстого,

⁶² Ажурных (франц.).

⁶³ Остротами (франц.).

⁶⁴ И так далее и так далее (франц.).

Гоголя, Гончарова и многих других мастеров слова, только тогда мы получим право решать вопросы их стиля со всей научной полнотой. Да и не одного только стиля...

К большому сожалению и языковедов и литературоведов, донныне у нас почти не занимались такой работой. Известен один-единственный образчик словаря писателя Фонвизина, составленный в начале этого века ученым К. Петровым, да в наши дни проведена огромная работа по составлению словаря языка Пушкина. Словарь представляет собою четыре солидных тома, по 800 страниц мелкого, убористого шрифта каждый. Они содержат, за ничтожным исключением, все когда-либо написанные Пушкиным на бумаге слова, — колоссальный труд. Но это, собственно, и все⁶⁵.

Несколькими строчками выше я сказал: не только вопросы стиля может разрешить словарь писателя. А какие же другие?

Очень многие. Лет пять назад мне в руки попала любопытная маленькая картотека, собранная одним знатоком ботаники. Его заинтересовал «ботанический сад Пушкина», те растения, названия которых великий поэт упоминает в своих произведениях. Ботаник проделал чисто литературоведческую работу: тщательно выбрал из пушкинских стихов и прозы названия деревьев, кустов, трав, злаков, фруктов, овощей, цветов.

Картотека поразила меня. В маленьком частном воч просе о растениях, как в капле воды, отразилось все развитие Пушкина-художника, весь его путь от подражания классическим образцам, через буйный романтизм юности к «пестрому сору фламандской школы», к сдержанному и мудрому реализму последних лет. Взять хотя бы наиболее часто упоминаемое Пушкиным растение «розу» (в стихах Пушкина это слово встречается около пятидесяти раз). В лицейских стихотворениях речь идет исключительно о легендарных, мифических божественных розах античной древности. Они то увенчивают головы выдуманных фавнов и нимф, то белеют изваянные в мраморе гробниц. В них нет ничего живого. Позднее, после поездки в Крым и на Кавказ, их сменяют пышные розы Востока: соловьи поют в их листве льстивые песни; их роскошное цветенье сменяет желтизна виноградных гроздьев. Эта «роза Ширази» тоже не цветок; это символ любви, символ сказочной жизни юга.

А что остается от этого к расцвету пушкинского творчества? Поэт отказался от классических и романтических нарядов, от «высокопарных мечтаний своей весны». Он полюбил «иные картины»: «песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор...»

Розы и теперь появляются в его стихах, но как и какие? Вот он упоминает о них с веселой издевкой, направленной на современную ему поэзию: «Читатель ждет уж рифмы „розы“, на вот, возьми ее скорей!» Вот он описывает старуху на балу: «Здесь были дамы пожилые в чепцах и в розах, с виду злые...» Вот, наконец, упоминает он об удивительной «зеленой розе»; она нигде не растет; ее вышивает на подушке цветным шелком одна из манерных пушкинских героинь...

Но все это относится к самому творчеству Пушкина, а картотека возбуждает и совсем посторонние и ему и даже литературе вопросы.

Возьмите название растения «сирень». Разве не удивительно, что на всем протяжении пушкинского поэтического пути оно было им упомянуто один-единственный раз? Приходит в голову, что это столь обыкновенное в наши дни садовое растение было гораздо менее распространено в помещичьем быту в начале прошлого столетия. Тем более кажется это правдоподобным, что и сама форма, в которой Пушкин говорит о сирени, представляется несколько неожиданной. Он рассказывает, что Татьяна, спасаясь от встречи с Онегиным, в своем отчаянном бегстве по саду **кусты сирен** переломала, по цветникам летя к ручью... Говоря о знакомом растении, — ну, скажем, о березе, — мы ведь вряд ли назовем его «дерево береза», а во'т какую-нибудь редкую араукарию довольно естественно так назвать. Что же: сирень была в те дни такой редкостью? Составитель картотеки намеревался изучить этот «сиреневый» вопрос по данным, никакого отношения к поэзии не имеющим: Пушкин надоумил его заняться им. Интересно же в самом деле, когда же сирень стала привычным украшением

⁶⁵ Специалистам известны и другие (незавершенные) работы этого рода, — скажем, вып. I Словаря к комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», опубликованный проф. В. Ф. Чистяковым в 1939 году в Смоленске, и пр.

любого нашего русского сада?

Я не перечисляю множества других любопытнейших загадок, которые возбуждала эта крошечная коллекция словарных карточек; я не рассказываю о многих совсем неожиданных сведениях, которые можно было получить из нее. Разве не странно, например, что слово «тополь» для молодого Пушкина являлось существительным мужского рода и выговаривалось как «топол», а позднее превратилось в «тополь» и перешло в женский род: "Здесь вижу, с **тополом** сплелась младая ива", — писал он в 1814 году, а в 1828 рассказывал о том, как "хмель литовских берегов, немецкой **тополью** плененный, через реку, меж тростников переправлялся дерзновенный..." Разве не любопытно задуматься над загадкой: где, в каком из своих произведений великий поэт нашел повод упомянуть о никому у нас не известном американском растении «гикори»? Разумеется, все это крайне важно и ценно, и остается только пожалеть, что для составления словарей наших величайших писателей доныне не сделано почти ничего. Ведь без них мы не можем ответить даже на самый простой вопрос: сколько и каких именно разных слов употребил Пушкин в своих бесценных творениях? Относительно Шекспира подсчитано, что его словарный запас равняется примерно 15 000 слов; как же важно было бы произвести подобные подсчеты и для Пушкина, и для Гоголя, и для многих наших художников слова!

Упоминая такие «монографические словари», я не могу не коснуться и других работ хоть и не схожего с ними, но тоже «монографического» характера. Подсчитывая словарный запас писателя, мы имеем дело о речью одного человека. Но можно поставить перед собой цель составления словаря какого-либо совсем небольшого, а все же прочно спаянного микромирка.

На севере, в глухих лесах Вологодской и Архангельской областей, есть деревни, на столько далеко отстоящие от других более крупных селений, что доныне язык их жителей носит на себе отпечаток резкого своеобразия. Очень интересно с точки зрения языковедной науки попытаться записать по возможности все тамошние слова, отличающиеся от общерусской, а иногда и от областной «нормы языка». Такие картотеки, особенно если бы их было много, представили бы собою огромный интерес для языковедения. К сожалению, их очень немного, да и трудно рассчитывать на существенное увеличение их числа: заниматься этим, требующим многолетней связи с данным местом, делом приезжим ученым нелегко, а местные люди чаще всего либо просто не интересуются такими вопросами, либо же не знают, как взяться за них.

Невозможно дать исчерпывающий список работ такого рода, ожидающих своих энтузиастов-исполнителей. Чрезвычайный интерес представляют собой словарики так называемой «профессиональной лексики», тех понятных только специалисту слов и выражений, которые употребляют наши горняки, моряки, летчики, рыболовы, охотники и другие профессионалы. Слово «облетать» в нашем общем языке значит «летая, обходить стороною». У летчиков оно имеет еще и другое значение: «свыкнуться с машиной в воздухе». Говорят «необлетанная машина», как кавалеристы говорят о «необъезженном коне». Слово «дробь» для нас с вами означает мелкие охотничьи пульки, шарики свинца, а на военном флоте выражение «Дробь!» понимается как: «Довольно! Прекращай работу!»⁶⁶ Мало кому известно, что профессионалы-оркестранты пользуются до сих пор в своем обиходе довольно богатым «специальным словарем» и зачастую, вместо того чтобы «говорить по-русски», бойко «карна́ют по-ла́бушки», то есть «говорят по-музыкантски». Задача обследования всех таких «специальных лексических фондов», составления их словарей и словариков далеко еще не разрешена.

Лет десять назад в «Литературной газете» появилась заметка о враче и филологе Н. А. Петровском, который, работая в Усть-Каменогорске в Казахской ССР, задался мыслью собрать словарь современных русских имен, и, в частности, их сокращенных ласкательных и уменьшительных производных, вроде «Ваня» от «Иван» или «Нюша» от «Анна». Н. А. Петровский работает уже много лет, и его «словарь имен» принес сразу ряд неожиданных открытий. Выяснилось, что число употребляемых имен во много раз превышает то, которое

⁶⁶ Ср. также: «дробь барабанов»; «И мелкой дробью он [соловей] по роще рассыпался» (И. Крылов); «действия над десятичными дробями» и пр.

содержится в так называемых святцах. Обнаружилось, что количество производных от одного полного имени нередко достигает десятков и даже сотен вариантов: больше ста от имени «Иван», почти сто от имени «Петр». А сколько неожиданных открытий будет сделано, когда число словарных карточек возрастет вдвое или втрое?⁶⁷

До сих пор речь шла о словарях, которые так или иначе, в большом или малом числе, но уже существуют. Однако мне хочется коснуться одного совсем небывалого предложения (в других областях знания можно было бы употребить слово «изобретение»), с которым мне пришлось немало повозиться. Суть его можно передать, условно назвав его «словарем навыворот».

Что это может значить?

Когда слова того или другого языка попадают в словарь и располагаются в нем в каком-либо определенном порядке (обычно в алфавитном), лингвист сразу же получает в руки возможность решать многие научные вопросы и задачи, абсолютно не разрешимые до этого.

Приведу простейший пример. Ученого может заинтересовать, скажем, сравнительная употребительность в русском языке приставок «пре-» и «пере-». Действительно, какие слова более свойственны нашей речи, — такие, как «переплет», «переправить», или же такие, как «преткновение», «преступник», «предложить»? Вопрос вполне осмысленный: первая из этих приставок чисто русского происхождения, вторая заимствована из древнеславянского языка. А я, допустим, хочу оценить степень влияния этого языка на современный русский.

Сделать это легко, если есть словарь, в котором слова расположены по алфавиту; незачем объяснять, как должна идти работа.

Но представьте себе, что я захочу узнать что-либо в этом же духе и роде, только связанное не с началами, а с окончаниями слов. Ну, положим, какое значение имеет в русском языке суффикс «-л-» в словах среднего рода, вроде «зеркал-о»? Или каких суффиксов «-чик» в нем больше: тех ли, которые образуют слова, означающие профессию, род занятий (вроде «летчик», «резчик», «пулеметчик»), или образующих уменьшительные имена («мальчик», «пальчик» и пр.). Мне может понадобиться и сведения, какой суффикс более употребителен: «-чик» или «-ник» (а может быть, «-тель») в тех же словах, означающих род занятий («гранатометчик» или «подрывник»?).

Очень легко понять, что разрешить эти вопросы куда труднее, чем в случае с приставками: слова, оканчивающиеся на «-чик», «-ник» и «-ло», разбросаны по самым разным буквам алфавита: поди-ка собери их все! Занятие долгое и неточное: как поручишься за то, что выбрал их до последнего?

Короче, скажу так. Существует популярное анекдотическое утверждение, будто в русском языке есть лишь три слова, оканчивающиеся на «-со»: «мясо», «просо» и «колесо». Оставив в стороне несерьезность этого примера, попробуйте доказать, справедлив ли он или, наоборот, нелеп. Так это или не так?

Чтобы выяснить это, придется произвести работу, во много раз бо́льшую, чем при попытке найти в справочной книжке фамилию телефонного абонента по известному номеру его телефона. А все потому, что словари составляются в алфавите **начал** слов, а не их **концов**.

В самом деле, если бы существовал словарь, где на букву "о" шли бы слова в таком порядке:

покрывало
зубило
рыло

зеркало
било
крыло

⁶⁷ В 1966 году «Словарь русских личных имен» Н. А. Петровского, содержащий около 2600 распространенных имен, вышел в свет. Это очень полезная маленькая книга.

сало
мыло
одеяло,

задача определения числа и состава слов среднего рода с суффиксом «-л» была бы уже наполовину разрешена: мы смогли бы окинуть их все одним взглядом, легко рассортировать на группы, сравнить между собою их значение и объяснить, почему в каждом данном случае в образовании этих слов принял участие суффикс «-л». В слове «покрывало» его значение вполне понятно: это «то, чем покрывают». Понятно оно и у «мыла»: «мыло» — «то, чем моют», и у «крыла» — того, чем «роют». А что вы скажете насчет «крыла» или «масла»?⁶⁸ Представьте себе: и тут то же! «Шил-о» — то, чем сшивают, соединяют швом; «мас-л-о» — то, чем «мастят», «умащают» какую-нибудь поверхность...

Но в наш алфавит попадут и слова совсем другого рода: слово «стило» — знатный иностранец; «кресло» и т. п. Надо будет (и окажется очень удобным) проверить их все и разобраться во всех их свойствах. Так же легко можно будет разрешать и многие другие задачи, **когда будет составлен словарь навыворот**.

Но разве так уж трудно его составить?

Я сказал бы, что дело это не столько трудное, сколько долгое и кропотливое. Надо «расписать» на отдельные карточки любой достаточно полный словарь современного русского языка и разместить эти карточки в новом порядке, в порядке алфавита не начал, а окончаний слов. Тогда слово «лампочка» найдет себе место не между словами «ламентация» и «лампада», где оно помещается, скажем, в словаре Ушакова, а где-то возле «бабочка», «мордочка» и «тапочка», то есть в совершенно новом окружении. Так сказать: «акчобаб» «акчодром», «акчопмал», «акчопат»... Забавный словарь? Забавный, но, по моему глубокому убеждению, и весьма полезный. Если бы кто-либо взял на себя огромный груд по его составлению (не забудьте, что в словаре Д. Н. Ушакова 87 000 слов), он заслужил бы по окончании своей работы благодарность всех лингвистов, уважение и даже восторг. А до окончания? А вот тут не ручаюсь... Вероятно, не обошлось бы без недоверия, пожимания плечами и даже иронических усмешек.

Но настоящие энтузиасты ничего этого не боятся: посмеивались и над Далем. А как к нему относятся теперь?

* * *

Только что прочитанная вами главка была впервые опубликована в 1956 году. И вот что случилось с того недавнего времени.

Во-первых, я получил великое множество предложений: десятки энтузиастов и юного, и среднего, и совсем пожилого возраста выразили желание посвятить свои досуги составлению и словников (то есть полных коллекций слов) для словарей различных писателей, и самого «Зеркального словаря» русского языка.

Не все эти «благие порывы» остались только порывами. Так, например, полковник в отставке Николай Владимирович Кисличенко, ленинградец, выполнил, и притом очень тщательно, огромную работу по разнесению на карточки всей стихотворной части произведений Дениса Давыдова. Получилась ценнейшая картотека для будущего словаря этого поэта; сейчас идет речь о ее передаче Институту русской литературы. Изрядно продвинули работу и некоторые другие товарищи-добровольцы. А вот тех, кто взялся за «Зеркальный словарь», ожидало большое разочарование; впрочем, мне лично оно обернулось скорее радостью.

В 1958 году уже вышел в свет первый такой словарь русского языка. Он появился через два года после того, как мое предложение было впервые опубликовано в «Слове о словах». К сожалению, издан он оказался в ГДР, под редакцией профессора берлинского университета

⁶⁸ Если вы не забыли, о словах с этим суффиксом уже рассказывалось.

Г. Бильфельдта, и, естественно, при всех достоинствах содержит некоторые недочеты, которых легко избежал бы составитель русский. Вскоре вслед за первым таким словарем появился второй, тоже зарубежный, несколько большего объема (в словарь Бильфельдта вошло около 80 000 русских слов); приступила к подготовке еще более объемистого и солидного «инверсионного» словаря русского языка и Академия наук СССР. Таким образом, надобность в помощи сотрудников-добровольцев внезапно отпала; в этом смысле я оказался плохим пророком, — идея словаря нашла неожиданно быстрое признание. Зато хорошим пророком я могу счесть себя в другом отношении: первый же вышедший в свет словарь привлек всеобщий интерес и заслужил уважение. И, как всегда бывает, выяснилось, что нужен он вовсе не одним только специалистам-лингвистам: он понадобился во множестве других профессий.

Приведу единственный пример: вы корпите над расшифровкой старинной, попорченной временем рукописи, важного документа. Перед вами там и здесь проступающие концы слов, лишённые начал. Вы видите сочетание букв «ерок». Какое слово могло стоять тут? Почти немислимо решить эту задачу наобум: кто знает, сколько слов в русском языке оканчивается на «ерок» и каковы они? Но у вас в руках словарь «зеркального типа», пусть хоть несовершенный бильфельдтовский. Вы находите в нем колонку слов, оканчивающихся на это самое «ерок». Вы видите: их всего 8, от «зверок» до «вечерок». А видя их сразу все, вам по смыслу всего контекста, всего документа уже вовсе не трудно подобрать нужное и возможное слово: конечно, не «ветерок» и не «зверок», а — «недомерок». Хотел бы я видеть, сколько сил и времени потратите вы, если придется вам изыскивать это единственное слово не из восьми, а из двухсот тысяч возможных! Разве вы подозревали, что таких слов действительно всего лишь восемь? Я и сам об этом представления не имел.

С этой позиции и «нелепый» вопрос о «просе, мясе, колесе» (есть и другая такая же старая задача: найти третье слово, оканчивающееся на «-зо», к «пузо» и «железо»; когда-то ходила легенда, будто Академия наук учредила даже крупную премию тому, кто выполнит это задание) становится не таким уже нелепым. Теперь оба эти вопроса решаются очень просто: вот список русских слов, оканчивающихся на «-со»: со (в смысле «со мною»), кюрасо, колесо, плёсо, накосо, просо, серсо, инкассо, лассо, мясо. Как видите, их далеко не три, хотя многим из них можно, пожалуй, дать нечто вроде отвода: серсо, инкассо и лассо — как явным иностранцам, наречию «накосо» — как крайне неупотребительному в литературной речи. Все же вместо трех остаются пять несомненных.

А слова, оканчивающиеся на «-зо»? Пожалуйста, оставя в стороне «безо», почти никогда не являющееся в качестве самостоятельного слова, а только в виде фонетического варианта к «без», мы находим в словаре:

железо

ариозо

изо⁶⁹

пузо

авизо

Ничего не скажешь: и бухгалтерский термин «авизо» и театральный «ариозо» вошли в русский язык, их из него не выкинешь. Академии наук пришлось бы раскошеливаться на премию, если бы пустая легенда была справедлива.

Вы, может быть, спросите: а стоило ли об этом говорить? Прошу прощения: поскольку у меня есть основания считать себя, так сказать, посажённым отцом словарей этого типа, понятно, что мне захотелось поделиться с вами неожиданным даже и для меня по своей быстроте успехом забавной идеи и о их создании.

ЖИВОЕ СЛОВО

⁶⁹ В смысле «изобразительное искусство».

Я часто повторяю: «слова живут». Как это надо понимать? Ведь слово не человек, не животное, не растение. Что может значить выражение: «жизнь слов»?

Слово живет потому, что живет народ, его создавший; живет — изменяется, растет, развивается язык, которому оно принадлежит.

Слово, пока оно существует, не остается надолго неизменным. Оно рождается, когда это нужно народу; оно существует, меняя и свое значение и свой звуковой состав (значит, «живет»!), пока народ нуждается в нем; оно исчезает, как только надобность в нем проходит.

Никто — ни один отдельный человек, как бы ни были велики его таланты, ум, могущество, — не может без согласия и утверждения всего народа дать жизнь даже самому маленькому словечку, хотя каждый из нас способен за полчаса изобрести сотни превосходных звучных слов.

Никто, действуя в одиночку, отдельно от всего народа, не в состоянии изменить в живущем слове ни единого звука. А народ-языкотворец переделывает по своей надобности любые слова так, что в новой их форме уже почти невозможно бывает узнать старое обличие.

Ни у кого нет власти истребить хотя бы одно-единственное слово, которое создано народом⁷⁰. В то же время сам хозяин-народ властной рукой выбрасывает в мусорный ящик забвения, когда это окажется необходимым, десятки и сотни, даже тысячи слов сразу, истребляет целые страницы словарей, целые словарные семьи и гнезда.

Как все это может быть?

Постараемся приглядеться к жизни живого слова.

ЛАЗЕЯ В ПРОШЛОЕ

Множество очень древних слов и корней хранит язык в своей сокровищнице — основном словарном фонде, оставляя их «всеобщими», понятными везде и всюду, каждому человеку, говорящему по-русски.

Однако бывает и так, что в общенародном языке от какого-то старого слова остаются и живут только его ближайшие родичи, производные слова разных степеней. А само оно исчезает. Иначе говоря, только корень того древнего слова существует теперь в письменной и устной речи всего народа.

Район Ленинградской области, где расположен город Луга, теперь является одним из самых обычных пригородных районов. Там много прекрасных, богатых колхозов и совхозов, много пионерских лагерей, дачных поселков, домов отдыха, санаториев. Это очень современный район, всецело живущий жизнью XX века.

Но он любопытен и другим. В этих местах известны очень старинные русские поселения. Некоторые деревни под Лугой уже в грамотах XIII века упоминаются под теми же названиями, под которыми мы их знаем сейчас. Деревня **Смерди**, в двадцати километрах от Луги, была названа так тогда, когда еще жило слово «смерд» — крестьянин, позднее — крепостной. Деревня **Русыня** не моложе ее.

Так удивительно ли, что в этих исконных русских местах сохранились в огромной толще новых слов некоторые слова чрезвычайно старые и уже давно исчезнувшие из общерусского языка?

Вы, вероятно, знаете, что в русском языке есть слово «загнетка». По разъяснению В. Даля, оно означает «заулок в русской печке, куда сгребается жар». Даль хотел бы догадаться, от какого корня могло произойти это слово; по его мнению выходило, что «загнетать» значит «угнетать до конца», «собирать в ворох и укрывать». «По-видимому, ямка в печи, в которой собирают и укрывают под золой угли, именно поэтому так и названа», — думал он.

Но в Лужском районе, в этой самой деревне Смерди, я сам слышал, как десятилетние

⁷⁰ Император Павел I, скажем, приговорил к смерти слово «гражданин», приказав заменить его словом «подданный». Его сын, Николай Первый, рвался прикончить ненавистное ему слово «прогресс»... Где теперь эти всемогущие самодержцы? А обреченные ими на уничтожение слова живут.

мальчики и девочки, собираясь в лес, кричали:

"Тараба́ра (так звали они не в меру говорливую свою подругу), идем на речку. Будем там *костерок гнетить* !"

В их языке каким-то чудом, передаваясь от прабабки к правнучке, сохранилось древнейшее слово, слово того же корня, что и «загнетка», — глагол. И глагол этот означает вовсе не «собирать в кучку», а «палить», «жечь», «зажигать».

Совершенно ясно, что и наша «загнетка» значит отнюдь не место, где угли собираются в кучку, а "место, где сохраняются горячие угли, жар, пламя, от которого можно печку «загнетить» вновь. «Загнетка» по своему значению и образованию — точное подобие нашего слова «зажигалка».

В словарь В. Даля слово «гне́тить» как-то случайно не попало. Я не знаю, замечено ли и записано ли оно кем-нибудь, кроме меня⁷¹. А если нет, то подумайте сами, каких усилий потребовало бы установление всей правды про слово «загнетка», если бы само оно окончательно исчезло? Очень может быть, языковеды так и остановились бы навсегда на далевском мнении, не имея никаких более правдоподобных объяснений.

Вот почему можно всячески советовать каждому из читателей этой книги, если он живет все время или бывает в летние месяцы где-нибудь в сельских местностях, в колхозной деревне, внимательно и с почтением прислушиваться к тому, как говорят местные жители.

Их речи нет никакого смысла подражать, но столь же неумно относиться к областным говорам с насмешкой и презрением (что тоже иной раз бывает). Областной говор не искажение общерусского языка; это запасное отделение той же великой сокровищницы нашего словарного фонда. И кто знает, какие еще удивительные находки может сделать в нем внимательный и чуткий наблюдатель!

Слово «гне́тить» — не единственное древнее слово, пойманное под Лугой.

Всем вам прекрасно известно, что если в нашем языке живет слово, употребляющееся в уменьшительной форме, с уменьшительным суффиксом, то, поискав, обычно можно обнаружить и то основное слово, от которого эта уменьшительная форма образована.

Если есть слова:

То должны быть слова:

швейка
швея

скамейка
скамья

жнейка
жнея

шейка
шея

и т. д.

Однако иной раз попадают такие слова, для которых мы знаем только уменьшительную форму.

Есть слова:

А вот таких существительных мы не встречаем:

⁷¹ Слово это зарегистрировано и объяснено так же, как объясняю его я, в недавно вышедшем в свет «Этимологическом словаре русского языка», составленном крупным немецким лингвистом-славистом Максом Фасмером. Фасмер также связывает с «гнетить» и «загнетку».

ша́йка
ша́я

мо́йка
мо́я

ко́шка
ко́ша, ко́ха

кру́жка
кру́га, кру́жа

Как это понять? От каких же слов образованы эти формы? В целом ряде случаев приходится думать, что исчезнувшие и неизвестные нам слова когда-то были, существовали; только потом, по неведомым нам причинам, они исчезли из языка. Однако просто взять и начать «восстанавливать» эти «вымершие слова» не следует. Тут легко впасть в тяжкие ошибки.

Возьмите слово «сосиска». Вам может, например, показаться, что слово это — как «колбаска» от «колбаса» — должно происходить от слова «сосиса́». А на самом деле слово это нерусское; его родоначальницей является не выдуманная русская «сосиса́», которой никогда не было⁷², а французское слово «сосис» (saucisse)! Оно в родстве с нашим словом «соус».

Зато тем интереснее какому-либо, донине казавшемуся «безродным», слову-сироте внезапно подыскать тень его предка в той или иной старинной грамоте, или же его самого встретить живым и невредимым в современной областной речи. Приведу для примера слово «мойка». Мы его знаем теперь чаще в составных словах — «судомойка», «поломойка», «головомойка». Само по себе оно в общенародном правильном языке, пожалуй, и не встречается: «мойка белья», «мойка рук» — сказать неудобно, хотя в преискурантах парикмахерских и попадает не слишком грамотное: «стрижка, бритье и мойка головы»⁷³.

В древности при словах «судомойка», «портомойка» (прачка) были формы: «портомо́я», «судомо́я». Впоследствии они исчезли.

Но вот слово «лазейка» в значении «узкий, тесный проход» известно каждому русскому человеку. Ясно, что оно того же корня, что и «лазать», «лаз» и пр. А все-таки где же его **неуменьшительная форма**? Как она должна была бы звучать? Очевидно, как-то вроде «лазе́я» или «лазея́».

Почему же ее нет?

И вот вообразите: там же под Лугой (и даже в несколько более обширном районе Ленинградской области) до сих пор существует слово «лазея́». Оно значит: «перелаз», тесный проход в изгороди, через который перебираются люди, но не может пройти скот. Иногда «лазей» называют и вообще ворота в такой построенной в поле или в лесу, жердяной или хворостяной, изгороди.

Вот теперь мы уже с полным правом можем утверждать, что происхождение слова «лазейка» нам доподлинно известно. «Лазейка» — это просто маленькая «лазея́».

⁷² Один из моих читателей сообщил мне, что у саперов-подрывников в ходу слово «соси́са». Оно означает у них длинный, колбасообразный мешок со взрывчаткой. Это очень любопытно. Тем не менее факт этот ничего не меняет в наших рассуждениях: несомненно, профессиональное слово «сосиса» произведено от общего «сосиска», а не наоборот.

⁷³ Недавно я получил письмо, в котором мне сообщают, что в одном из небольших городов место на реке, где постоянно производится стирка и полоскание белья, известно среди местных жителей под названием «Мойка». «Пойдем на Мойку!» — зовет одна хозяйка другую. В квартирах новых домов ставят на раковинах специальный прибор, именуемый «мойка для посуды». В одной технической книге я встретил выражение «мойка и очистка машин»... Заметьте: смысл слов во всех случаях разный, но все они выражают понятия, связанные с глаголом «мыть».

Попав в те же живописные и древние русские места под Лугой, вы можете натолкнуться, слушая разговор местных колхозников постарше, и вот еще на какое своеобразное и незнакомое вам слово:

"Я-то пошел в город часом раньше, да она-то меня **достогна́ла**".

Вряд ли где-нибудь в городе придется вам услышать этот своеобразный глагол. На первый взгляд он может показаться вам просто-напросто **исковерканным** словом «догнать».

Но никогда не судите о речи народа с высокомерием городского ученого человека: вы в девяти случаях из десяти сделаете ошибку. Язык областей наших, веками хранимый крестьянством, так же строго подчиняется своим законам и правилам, как городская, столичная **литературная** речь своим. Мы не должны им следовать и подчиняться, но их необходимо уважать.

Нет, слово «достогнать» вовсе не испорченное «догнать». Оно связано со многими другими словами русского языка.

Есть у А. С. Пушкина стихотворение, которое начинается так:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые *стогны* града
Полупрозрачная наляжет ночи тень...

Вот слово «стогны» родственно нашему лужскому словцу «достогнать». «Стогна» — значит «площадь», место, по которому ходят, шагают. Это очень старое слово.

Наверно, каждый из вас слышал наивную старинную песенку:

Позарастили
Стёжки — дорожки,
Где проходили
Милого ножки...

Словечки «стёжка», «стега́» — а в книгах «стезя́» — тоже стоят в родстве с «достогнать» и «стогна́й».

«Стега́», или «стёжка», означает; «дорожка», «тропинка».

"**Стежка** вывела прямо в болото", — пишет Лев Толстой.

Заметьте, что если «стогны» — это площади, по которым **ходят**, то и «стёжки» — тропинки, по которым тоже **ходят**.

Я не уверен, что вы когда-либо слышали или запомнили словечко «стегно́», «стёгнышко». Впрочем, те, кто читал «Ивана Федоровича Шпоньку», повесть Н. В. Гоголя, не могли пройти мимо забавной сценки между героем и «гадячским помещиком» Сторченко. Сторченко угощал гостя индейкой:

"— Иван Федорович, возьмите крылышко... Да что ж вы так мало взяли? Возьмите *стёгнышко* ! Ты что разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени! Говори сейчас: «Иван Федорович, возьмите стёгнышко!»

— Иван Федорович! Возьмите стёгнышко! — проревел, став на колени, официант с блюдом".

«Стёгнышко» — это часть ноги, то есть опять-таки того органа, посредством которого **ходят**. Безусловно, и это слово одного корня с нашим.

Я теперь добавлю, что в ту же семью, конечно, входят слова «стежо́к» (а «стежок» — это как бы «шажок», ход иглы, шьющей что-нибудь), «настигать», то есть тоже «равняться на ходу». Наконец, в латышском языке, который состоит с нашим языком хотя и не в самых близких, но все-таки в родственных отношениях, есть слово «ста́йгат», которое означает: гулять, ходить. После этого вам станет ясно: очевидно, и слово «до-стог-н-ать» — из того же древнего семейства; все члены его связаны с понятием о «хотьбе». Видимо, «достогнать» когда-то значило не просто «догнать», а «настигнуть», то есть «догнать шагами, пешком», «дошагать». И конечно, здесь перед нами не «испорченное» слово нашего русского литературного языка, а прекрасное, совершенно самостоятельное, правильно построенное

древнее слово, которое, по каким-то причинам исчезнув из общерусской речи, сохранилось и живет тут, в своеобразном лужском языковом заповеднике.

Разве это не интересно?

СОРОК СОРОКОВ...

Давайте приглядимся к тем русским словам, которые обозначают у нас числа, кратные десяти, от первого десятка до сотни:

два + дцать

шесть + десят

три + дцать

семь+ десят

сорок

восемь + десят

пять + десят

девя + но + сто

Очень легко понять, как построено большинство этих слов-числительных.

В первое, второе, четвертое, пятое, шестое и седьмое из них обязательно входит измененное слово «десять»:

двадцать = два раза десять

шестьдесят = шесть раз десять

и т. д.

Резко отличается от них «девяносто». Но и в его строении можно при некотором усилии разобраться.

И вдруг среди всех этих близких «родичей» странным чужаком встает совершенно ни на кого из них не похожее «со'рок».

Как ни вслушивайся в это слово, ничего похожего на «четыре» или на «десять» не найдешь. А в то же время значит-то оно, безусловно, «четыре десятка». Как же оно возникло? Откуда взялось? С какими другими русскими словами связано?

Начнем с того, что заглянем в словари родственных нам славянских народов. Как те же числительные построены у них?

По-болгарски:

По-чешки:

По-польски:

20

двадесѣт

двацет

двадзесця

30

тридесѣт

тршицет

тршидзесци

40

čtyридесѣт
 чтиржицет
 чтѣрдзесци

Что же получается? Все эти слова похожи и между собою и на наши числительные 20, 30, 50, 60, 70, 80. Но на наше «сорок» не похоже ни одно из них.

Очевидно, это слово «сорок» является не общеславянским, происходит не от общего для всех этих языков корня, а прижилось только у нас на Руси и только в русском языке.

Мало того, судя по сходству остальных числительных во всех славянских языках, **кроме русского**, правильно будет допустить, что и у нас **когда-то** существовало для числа 40 слово, также похожее на них, что-то вроде «чetyрьдесѣт» или «чetyредцѣт». Но затем, по причинам, сейчас уже неясным, его вытеснило слово совсем другого происхождения — таинственное «со'рок».

Что же могло означать это слово и почему оно получило именно такое числовое значение?

Прежде всего, мы часто сталкиваемся в древнерусских письменных документах с несколько особым значением его. Некогда оно было не числительным, а существительным мужского рода и означало особую **меру для счета** дорогих мехов.

Читая древние грамоты и летописи, то и дело встречаешься с тогдашними «сорока'ми»:

"...Да пять *сороков* соболя...", "Да еще двадцать семь *сороков* бобра..."

Это было особое существительное, применявшееся, однако, только при **счете**. Естественно, что до превращения его в имя **числительное** путь был уже недалек.

Сколько же шкурок-единиц входило в сорок?

Этого мы в полной точности не знаем. Но нам известно, что из «со'рока» драгоценных шкурок можно было как раз сшить одно из тогдашних мужских меховых платьев, по-видимому длинный кафтан.

Можно думать, что и такой кафтан носил тоже название «сорок». Это тем более вероятно, что мы и сейчас знаем один из видов одежды, обозначаемый этим названием. Это длинная ночная рубаха — «сорочка». Вероятно, в ее покрое или мерке сохранилось что-то от покроя той меховой одежды, на которую когда-то шел **сорок** соболей или куньих (шел, а не **шло** и не **шли**, — заметьте!).

Надо, кстати, иметь в виду, что рядом с «сороко'м» существовала и вторая мера, применявшаяся при подсчете более дешевых сортов пушнины — «сорочо'к». «Сорочка'ми» считали беличьи шкурки и обрезки, остающиеся при обработке собожьего меха, — хвостики, «пупки» и пр.

Весьма возможно, что на пошивку старинного мехового «сорока» шло примерно сорок собожьих или куньих шкурок. И вот постепенно слово оторвалось от первого своего значения и приобрело второе: сорок стало значить уже на «кафтан из сорока шкурок», а просто число: 40 шкурок. А дальше затем — не 40 собожьих шкурок, а 40 любых предметов вообще.

Вот всмотритесь в примерную схему.

Были слова, которые значили:

Сначала:

Потом:

Наконец:

Слово «сорок» — заготовка на кафтан из «чetyредцѣти» шкурок.

Слово «сорок» — 40 любых собожьих шкурок.

Слово «сорок» — 40 любых предметов, в том числе и шкурок.

Слово "чetyре -дцѣт" — 40 любых предметов, кроме шкурок.

Слово "чetyре -дцѣт" — 40 любых предметов.

Слово "чetyре -дцѣт" — ничего не значит. Оно исчезло⁷⁴.

⁷⁴ Русскими этимологами выдвинуто и другое объяснение происхождения слова «сорок», будто бы возникшего из греческого средневекового слова «сараконт», означавшего одну из церковных служб, так называемый

Вероятно, было время, когда на эти «сорока» (как мы теперь на «дюжины» или «десятки») считали не только шкурки, но и некоторые (не все) другие предметы. Кое-какой след этого старинного счета сохранился в разных областях нашей исторической жизни и нашего языка.

Так, например, до 1917 года нередко можно было услышать выражение: «В Москве со'рок сороко'в церквей».

Говорилось: «Затрезвонили во все сорок сороков» или «С Поклонной горы видны все сорок сороков».

Историки выясняют, что и в этом случае слово «сорок» еще не вполне равнялось по значению числительному 40. Сорок церквей образовывали в совокупности административную единицу, так называемое «благочиние». Вот оно-то и называлось «сороком».

Значит, до самых последних лет в нашем языке рядом с числительным 40 сохранилось имя существительное мужского рода «сорок», значившее: «четыре десятка церквей» — и только. Ведь никто не назвал бы тремя или десятью сороками 120 или 400 голов скота.

Бросается в глаза, что по причинам, о которых мы теперь можем только гадать, само число 40 имело для наших предков какое-то особенное значение. Действительно, старая русская мера веса — «пуд» — содержала в себе не 10 и не 100 фунтов, а именно 40. То же самое число встречается нам в целом ряде старинных пословиц, поговорок. Пример: «Сорок мучеников — сорок утренников» (о весенних морозах), «на Самсонов день дождь — сорок дней дождь».

Вероятно, по этой же самой причине иногда русский человек прошлых дней охотно заменял словом «сорок» слова «очень много», когда произвести точный подсчет ему не удавалось или не стоило этим заниматься. Я думаю, именно поэтому одно из членистоногих животных — сороконожка⁷⁵ — носит доныне свое математически точное имя, хотя число лапок у нее отнюдь не равно сорока.

«Сороконожки, стоножки, тысяченожки и, наконец, просто многоножки — вот под какими названиями известны эти членистоногие, — говорят энтомологи, — но все же ни одна многоножка не имеет тысячи ног, хотя сотня-другая их бывает: известны многоножки со 172 парами ног...»⁷⁶

На этом примере особенно ясно видно, как слова «сорок», «сто» и «тысяча» заменяли собою выражение — «ужасно много». При этом, конечно, названия «стоножка» и «тысяченожка» — позднейшего и книжного происхождения; вначале же наш народ сам употребил для обозначения этого неопишуемого и поразившего его множества ног всё то же излюбленное им число 40.

Теперь мне хочется предугадать одно соображение, которое, несомненно, может прийти в голову кое-кому из читателей: а нет ли чего-либо общего между словом «сорок» и сходно звучащим словом «сорока» — названием птицы?

Нет. Хотя эти слова и звучат сходно, ни в каком прямом родстве друг с другом они не состоят. Иной раз совпадение различных слов одного и того же или двух разных языков настолько поражает воображение, что не только профаны, но и ученые-языковеды поддаются на эту «удочку» и начинают считать их связанными между собой, приходя порой к самым

«сорокоуст». Хотя можно найти некоторые доводы в пользу этого предположения (счет на «сороки» мог первоначально сложиться на торговом пути «из варяг в греки»; церковные «сороки»-«благочиния» тоже можно объяснить греческим влиянием), нам это толкование все же кажется искусственным. Слишком уж оно «специально», слишком узка его чисто культовая база. Нельзя же, например, слово «обед» выводить из названия церковной службы «обедня».

⁷⁵ В иностранных — западных — языках название этого животного тоже обыкновенно связано с числительным, но никогда не с числом 40. Болгары, поляки, чехи именуют его «стоножкой» или «стоногой», так же как испанцы и англичане; французы, немцы, румыны называют «тысяченожкой». Но любопытно, что число 40 всплывает, как только мы отправляемся на Восток: у турок «сорок» — «кырк», а «сороконожка» — «кырк аяк».

⁷⁶ Брем А. Жизнь животных. М., «Молодая гвардия», 1941, т. II, стр. 142.

нелепым выводам. Они забывают при этом, что каждое такое совпадение, каждая подобная этимологизация (установление происхождения слов) должны быть проверены исследованием и звукового и морфологического состава обоих слов. Необходимо убедиться, что их родство возможно с точки зрения тех законов языка и перехода слов от одного народа к другому, о которых у нас уже была речь.

Вот судите сами. В китайском языке есть слово «гермынь»; по-русски оно значит «братья». А в латинском языке слово «братья» звучало как «герма'ни». Сходство поражает тем сильнее, что совпадают не только звуки — смысл! Кажется, о чем можно еще спрашивать? Конечно, слова эти родственны друг другу. Наверное, или китайцы заимствовали римское слово, или же, наоборот, оно в Италию пришло из Китая...

Однако сто'ит внимательно всмотреться в состав обоих слов, и окажется, что они распадаются на вовсе несхожие части. В латинском языке была целая семья слов, родственных слову «герма'нус» (брат, родич): «ге'рм-ен» — росток, отросток; «герм-и'нарэ» — прорасти, давать отпрыски; «герм-ина'лис» — произрастающий. Ясно, что звук "м" относился тут к самой основе, а «ан», «ен», «ин» — все это были суффиксы и окончания, образующие родственные слова.

В китайском же слово «гермынь» распадается на совершенно иные части. Здесь «мынь» никак не связано с «гер»; «мынь» тут — самостоятельная частица речи, так называемый «показатель коллективной множественности»: «сюэшен» — учащийся, «сюэшенмынь» — учащиеся; «хули» — лисица, «хулимынь» — лисицы, и т. д. Да и происхождение слова «гер» — совсем свое, китайское, не имеющее ничего общего с латинскими ростками и отростками.

Случайность сходства выяснилась, как только мы взгляделись в состав слов, в их внутреннее строение.

СЛОВА-ИСКАПАЕМЫЕ

Что такое слово «смотреть»?

Что такое слово «зреть»?

Это современный глагол. Он значит: воспринимать при помощи глаз, глядеть. У Пушкина: «А нынче... посмотри в окно...»

Это старинный глагол. Он значил: воспринимать при помощи глаз, видеть. У Пушкина сказано: «Лициний, зришь ли ты?..»

Очевидно, оба эти глагола очень близки по значению.

От глагола «смотреть» (и «глядеть») можно образовать деепричастия. Они звучат: «смотря», «глядя».

И от глагола «зреть» можно точно так же образовать деепричастие. Оно будет звучать: «зря».

Слово «смотря» означает: «в то время, как (или „потому что“) смотрел». Например: «Я испортил глаза, смотря на солнце».

Слово «глядя» тоже равняется примерно выражению: «в то время, как глядел» или «тем, что глядел». Например: «Глядя пленному в глаза, капитан начал допрос»; «В упор глядя на меня, он изрядно смущал меня».

Значит ли это, однако, что, написав предложение с деепричастием от глагола «зреть», вы достигнете того же оттенка значения?

«Вы, товарищи, зря поехали кружной дорогой!»

Можно ли это предложение изложить так: "Вы, товарищи, поехали кружной дорогой **потому, что зрели** " или "**поехали в то время, как зрели** "?

Будет ли в этих предложениях словечко «зря» обычным деепричастием?

Сто'ит немного призадуматься, и каждый поймет: нет, здесь «зря» по своему смыслу совсем уж не связано с глаголом «зреть». Его значение можно скорее передать словами «напрасно», «попусту», то есть **наречиями**. Да и оно само является несомненным **наречием**.

А в то же время оно, бесспорно, остается настоящим деепричастием от «зреть».

Было время, когда фраза вроде "**Зря** на солнце, орел ширяет по небу" была вполне возможна и имела один, совершенно точный смысл: "ширяет, **смотря** ..." Когда же и как слово это потеряло одно свое значение и приобрело совершенно другой смысл? Почему с ним могло случиться такое?

Приглядимся повнимательнее к тому, что значит слово «смотря» в различных фразах.

Это значит:

"Я стоял над обрывом, **смотря** в неоглядную даль".

"Я стоял над обрывом и *смотрел* в неоглядную даль".

"Машину ленинградской марки можно купить и **не смотря**".

"Машину такой марки можно купить и *без того, чтобы. осмотреть ее* предварительно".

"Я уеду сегодня или завтра, **смотря** по погоде..."

"Я уеду сегодня или завтра, *в зависимости* от погоды" (то есть как бы все же «приглядевшись» к погоде).

"**Несмотря** на хорошую марку, машина оказалась неважной..."

"**Вопреки** хорошей марке машина оказалась неважной".

Разве не ясно, что́ тут происходит? На наших глазах одна из глагольных форм, деепричастие, как бы постепенно отрывается от своего отца-глагола, начинает жить самостоятельной жизнью, хотя порою и выступает в своей старой, обычной роли.

Но что случится, если сам глагол постепенно забудется, уступит место другим сходным словам (например, глагол «зреть» глаголу «глядеть»)? Тогда деепричастие от него тоже мало-помалу исчезнет из языка повсюду, где оно выступало именно как деепричастие.

А в тех случаях, где оно успело уже приобрести совсем другое значение, — скажем, значение наречия, — оно может превосходно сохраниться.

Вот это как раз и произошло некогда с нашим словечком «зря». И сейчас многие употребляют слово «зря», не подозревая, что оно связано, и даже очень тесно, с глаголом «зреть». Только историк языка может истолковать вам его происхождение, совершенно так же, как историк животного мира по темной полосе на спинах украинских быков может установить их родство с вымершим зверем — туром.

Наши **наречия** вообще являются любопытнейшим разрядом слов; их по праву можно назвать «живыми ископаемыми». Список русских наречий полон обломков далекого прошлого. Он напоминает, пожалуй, те каменные породы, в которых то целиком, то в виде кусков сохранились от давних эпох окаменелые останки древних животных и растений.

Вот несколько примеров этого любопытного явления.

Вы понимаете, как построено наречие «посередине»? Это сочетание предлога «по» с дательным падежом слова «середина» («середина»).

Так же образовались слова «поверху», «понизу».

Но скажите, от какого существительного образован дательный падеж в наречии «понаслышке»?

Никакого слова «наслышка» в нынешнем общерусском языке мы не знаем. Однако одно из двух: либо его кто-то придумал нарочно для того, чтобы, произведя от него дательный падеж, образовать нужное наречие, а само существительное выбросить вон (что, конечно, невозможно!), либо же такое слово — «наслышка» существовало когда-то и лишь позднее было забыто, потеряно нашим языком.

Наткнувшись на такой след древнего слова, языковед постарается отыскать и само слово где-нибудь в пыльных хартиях прошлого, в старинных рукописях и книгах.

Но вполне возможно, что его там тоже не окажется. Существует немало слов, которые поминутно употребляются нами в **устной** речи и лишь крайне редко в письменной: ну, хотя бы

довольно известное слово «авоська» или уже упоминавшиеся «пока», «бибикать» и т. п. Почему? Да очень понятно, почему. Мы постоянно говорим: "Такой-то **провалился** на экзаменах", а пишем чаще "**не выдержал** экзамена". Мы в устной речи спокойно именуем ночные туфли шлепанцами, но сомнительно, чтобы вы встретили вывеску «Продажа шлепанцев» или прочли статью, озаглавленную: «Проблема шлепанцев»! (Возможно в злом фельетоне.)

Поэтому лингвист, не найдя в старых грамотах искомого слова, не сочтет свое предположение ошибкой. Нет, он должен будет «восстановить слово теоретически». Точно так же ученый-палеонтолог рисует нам образ какого-нибудь «дроматерия», от которого не сохранилось ничего, ни единой косточки, кроме нескольких отпечатков его ног на окаменевшем песке далекого прошлого.

Легко понять

Трудно разобрать

состав таких слов, как:

на смех

наспех

назло

набекрень

наудачу

наискосок

потому что

нам известны слова:

где вы найдете слова:

смех

спех

зло

бекрень

удача

искосок

Не лишена интереса задача докопаться до происхождения этих пережитков прошлых эпох в жизни языка (не говоря уже о том, что такая работа весьма полезна!).

Любопытны и слова вроде:

кувырком⁷⁷

босиком

ничком

нагишом⁷⁸

⁷⁷ По сообщению моих читателей, в Смоленской области слово «кувыро́к» означает деревянный игрушечный снаряд. Его бросают к игровой черте так, чтобы он, ударяясь о землю заостренными концами, «перекувыркнулся» за этой чертой как можно больше раз.

⁷⁸ Читательница И. Бокулева пишет мне, что в Скопинском районе Рязанской области есть село Нагиши. Вот вам и самый явный именительный множественного от существительного «нагиш».

Мы привыкли видеть в них неизменные и **неизменяемые** части речи: наречия, и только.
Но попробуйте поставить рядом друг с другом такие близкие друг другу слова, как
кувырком
и
кубарем

нагишом
и
голышом,

как сразу же возникает подозрение: да не прячутся ли за этим «неизменяемым» внешним обликом самые обыкновенные творительные падежи, каких-то ныне уже позабытых, но существовавших когда-то существительных?

Нам-то сейчас представляется, что слово «кувырком» отвечает на один-единственный вопрос: **как? каким образом?** Но не могло ли раньше оно отвечать и на другой вопрос: **чем?** Если это верно, в то время должно было существовать слово «кувырок». «Чем ты меня хочешь порадовать?» — "Да вот новым **кувырком** !"

В подобном предположении неправдоподобного немного. Ведь некоторые из имен, которые сейчас кажутся нам немыслимыми, существовали совсем недавно если не в общерусском, то в областных языках-диалектах. Не исключена возможность, что они существуют там и сейчас.

Вот слово «бекре́нь». В. Даль утверждает, что оно живое и означает «бок», один из двух боков. Он приводит такой пример из своих записей: «На нем шапка бекренём»; слово «бекре́нить», по его свидетельству, означает «изгибать на бок», «бекре́ниться» — «гнутья, ломаться»⁷⁹.

Лет двадцать назад в Великолукской области я сам слышал выражение: «смех — смехом, а спех — спехом». Кроме винительного падежа — «наспех» — мы сами употребляем и дательный — «не к спеху». Выходит, что слово «спех» вовсе не плод досужей фантазии автора. Оно и сегодня живет в языке, только оно одряхлело. Некоторые его формы совсем атрофировались, отмерли; другие как бы заизвестковались и могут выступать, двигаться, лишь когда их поддерживают под руки смежные слова.

Любопытно также словечко «нагишо́м», означающее «без одежды». Звучит оно как правильный творительный падеж от слова «наги́ш». Сомнительно только, могло ли быть такое странное слово?

А почему бы нет? В областной речи известно близкое и по форме и по значению слово «телешо́м». Слова «теле́ш» мы тоже не знаем. Но нам знакома старинная фамилия **Телешо́вы**. А ведь **Телешо́в**, несомненно, значит "принадлежащий **телешу́**". Очевидно, существовало такое слово.

Ничего неестественного в этом нет. Есть слово «голыш», и если производное от него наречие «голышо́м» мы без колебаний связываем с ним, то именно потому, что слово «голы́ш» нам хорошо знакомо. А исчезни оно по каким-либо причинам, мы бы так же удивлялись существованию странного наречия «голышо́м», как сейчас удивляемся словам «телешо́м» и «нагишо́м».

Чтобы еще лучше почувствовать постепенность этих переходов от падежа существительного к неизменяемому наречию, сравните две пары предложений:

⁷⁹ Ср. у С. Есенина:
"Избы набекренились,
А и всех-то пять..."

Современные этимологи, впрочем, связывают наше «набекрень» с голландским «bekre\~nde\~n» — «накренья судно на один борт». У русских моряков есть для этого заимствованный от тех же голландцев термин: «креньговать».

Или:

"Какой-то тощий **голыш** плескался в мутной воде".

"Что ты, глупый, по холоду **голышом** ходишь?"

"На столе лежит **калачик**".

"Кошка свернулась **калачиком**".

Представьте себе, что через двести или триста лет вкусы людей несколько изменятся и в пекарнях перестанут печь калачи. Тогда, несомненно, умрет и слово «калач», позабудется самая форма этой булки. А наречие «калачиком» может великолепно остаться: его будут понимать как синоним слов «колечком», «крючком»...

ОТТАЯВШИЕ СЛОВА

"Когда мы находились в открытом море и плыли, весело болтая друг с другом, Пантагрюэль поднялся на ноги и оглянулся вокруг:

— Друзья, вы ничего не слышите? Мне показалось, что в воздухе разговаривают несколько человек. Но я никого не вижу...

Мы стали слушать во все уши, но ничего не услышали. Наконец и нам показалось, что до нас что-то доносится, или же у нас в ушах звенит. Чем сильнее мы напрягали слух, тем отчетливее слышали голоса, а потом стали разбирать и слова. Это нас испугало, и не без причины, потому что мы никого не видели, но слышали мужчин, женщин, детей и даже лошадиное ржание...

Однако шкипер сказал:

— Господа, не бойтесь ничего! Здесь граница ледовитого моря, на котором год назад произошло кровопролитное сражение. Слова, которые звучали тогда, крики, вопли и весь страшный гвалт битвы, замерзли, а теперь, когда наступает весна, они оттаивают и становятся вновь слышными. Так бывает в некоторых холодных странах.

— Похоже на правду! — воскликнул Панург. — Поищем, нет ли тут слов, которые еще не оттаяли.

— Да вот они, — сказал Пантагрюэль, бросив на палубу целую пригоршню замерзших слов, похожих на разноцветные леденцы.

Мы увидели среди них красные, синие, желтые, зеленые и раззолоченные словечки. Согреваясь в наших руках, они таяли, как ледяшки, и мы слышали их, хотя и не понимали: слова-то были все чужеземные. Когда они все растопились, вокруг загремело:

— Хип, хип, хип! Хис, хис, торш! Бредеден! Бредедак! Гог, Магог! — и много других слов, столь же непонятных".

Безудержная фантазия великого гуманиста Рабле сотворила эту совершенно неправдоподобную сцену. Но, если понаблюдать за жизнью слов в любом человеческом языке, очень скоро выясняется: не так уж этот рассказ нелеп, сто́ит только понимать его не в прямом, а в переносном смысле.

Мы с вами уже встретились со многими такими словами, которые некогда были живы, как вешние бабочки, и деятельно порхали всюду и везде. Потом они постепенно оцепенели, захирели, перешли в разряд слов «редких», неупотребительных и, наконец, стали «бывшими», «мертвыми» словами, как две капли воды похожими на те красные, синие, золоченые холодные слова-"драже́", которые мужественные путешественники топтали ногами на палубе своего необыкновенного корабля. От некоторых сохранились только куски, частицы, вплавленные в другие слова, подобно насекомым, застывшим в кусках янтаря (так в слове «судомойка» мы разглядели старую «мойку»); иные, как то делают осенью птицы, перекочевали с просторов общерусского языка куда-то в окраинные областные говоры и наречия. Большое же их число сохранилось в виде неподвижных и невнятных «ледяшек», в виде странных «пестрых леденцов» на страницах старых грамот, на полуистлевших бумажных листах. Они умерли? Да,

знаете: далеко не всегда это — смерть! Очень часто перед нами слова «замерзшие», только ожидающие дня и часа, когда им суждено будет оттаять и снова громко зазвучать. Рабле утверждает, что «оттаивать» могут и нечленораздельные звуки.

"Брат Жан согрел одно из слов в руках, и оно вдруг издало звук вроде того, какой издают брошенные на уголья каштаны, так что все мы вздрогнули от испуга.

— В свое время это, верно, было «пиф-паф!» из фальконета... — сказал брат Жан..."

В самом деле, сплошь и рядом кажущаяся «смерть» того или другого слова на поверку оказывается сном, краткой или долгой летаргией, а может быть, и анабиозом, временным замерзанием, иной раз многовековым. Только кончается этот период спячки не простым оттаиванием под влиянием случайного тепла. Нет, просто наступает время, и хозяин великой сокровищницы языка — народ вспоминает, что в его сундуках хранится такое-то слово, которое сейчас могло бы пригодиться. Оно словно было отложено в сторону до поры до времени, висело на вешалке где-то в темных чуланах языка. И вот совершенно неожиданно, нередко к общему удивлению, а порой и смущению, древнее слово появляется на свет дневной, отряхивается от пыли, «оттаивает», проветривается, расправляет измятые долгим сном крылья и превращается в живое и деятельное **обновленное слово**.

Все это было бы, вероятно, совершенно немыслимо, если бы, как мы уже знаем, слово человеческое не обладало удивительной способностью в одной и той же форме своей выражать не одно значение, а два, три, — сколько угодно.

А разве так бывает?

Представьте себе, да! В этом смысле наше слово напоминает провода современных телеграфных и телефонных линий: по ним можно, не путая и не смешивая их, передавать в ту и другую сторону сразу две, три, пять телеграмм, вести не один, а несколько различных разговоров.

Вот перед вами в двух различных предложениях употреблены слова «часы» и «орел»:

"На бронзовых часах сидел бронзовый же **орел**".

"Экий **орел** у вас на часах стоит!"

Каждому ясно, что слово «орел» (да и слово «часы») только в первом случае имеет свое обычное, **настоящее**, **основное** значение. Во втором же случае мы видим за ним воина с мужественной и гордой осанкой.

Это так. Но ведь мы могли бы сказать: «похожий на орла», «орлоподобный», «смелый» или «могучий, как орел». Мы же вместо этого сделали другое: просто употребили слово «орел» в смысле «молодец». И старое слово покорно приняло на себя новое значение. Оно само стало значить уже не «хищная птица из отряда соколиных», а «молодец матрос» или вообще «бравый человек».

Важно тут заметить одну тонкость. Допустим, что ваша сестра похожа на птичку ласточку. Вы можете прозвать ее: «Ласточка». Вы можете даже начать всех девочек, похожих на нее, — тоненьких, быстрых, говорливых, — именовать ласточками. Но если вы скажете просто кому-нибудь: «Я сегодня шел, вижу — навстречу мне две ласточки идут», — никто вас не поймет. Вам придется объяснять, что у вас тут значит слово «ласточка», чтобы не быть понятым неправильно. Если же вы услышите фразу: «Эх, какие орлы сражались с фашистами под Ленинградом!» — вам в голову не придет, что на фронте действовали отряды беркутов или подобных им птиц. Вы сразу поймете, что это значит. В чем же разница?

Каждое слово может в языке получать второе, третье и еще многие значения; но некоторые значения лишь временно и случайно связываются со словами, другие же навсегда соединяются с ними и придают им совершенно новый смысл; они делают их **новыми словами**. Это значит, что переносное значение этих слов принято всем народом, вошло в язык.

Сравните, например, такие два ряда предложений-примеров, в которых слова стоят в необычном, несобственном их значении:

"Что ты на меня таким *быком* смотришь?"

"Мост был построен на трех гранитных *быках*".

"О дева-роза ! Я — в оковах!"

"На картушке компаса изображается обычная *роза* ветров".

"Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить *окно* ;

Ногою твердой стать при море..."

"*Окна* в расписании — вещь, собственно, совершенно недопустимая".

"Скажите, какой *лисичкой* она вокруг него крутится!"

"Набрав полкузова *лисичек* , бабка повернула к дому".

Заметна разница? В левом столбце вновь приданное словам значение еще не пропитало их, не срослось с ними окончательно. Да, поэт назвал девушку розой, а Петербург — окном. Но в обоих случаях это понимание еще не вполне обязательно: недаром он находит нужным как-то подкрепить свои **образы** особыми разъяснениями. Он говорит не просто «роза», а «дева-роза». Он дает толкование: «прорубить окно» — укрепиться на морском берегу.

А вот в правом столбике значения выделенных слов совершенно переменились. Слыша сами по себе слова «бык», «лисичка», «окно», «роза», вы, собственно, не можете быть уверенными, что поняли их. «Бык» может значить «самец коровы», а может и «мостовая опора». «Лисичка» — это хищное животное, но «лисичка» — и съедобный гриб. И никаких оговорок не требуется: смысл обнаруживается из всего разговора. Про эти слова уже нельзя сказать, что они употребляются в переносном смысле. Они просто приобрели тут новое, второе значение, стали **другими словами** . А вот «роза», пожалуй, стоит еще на половине пути; она, так сказать, «от ворон отстала и к павам не пристала».

Благодаря этой замечательной способности языка — **старым словам** придавать **новые** значения, делать их новыми словами — и становится возможным то, что хочется назвать воскресением слов". Не буду пространно рассказывать вам о нем, а лучше начну с того, что задам вам еще одну, совсем простенькую задачку.



Перед вами четыре рисунка — два и еще два. Я прошу вас подобрать к каждой паре по подписи, состоящей из одного-единственного слова.

Долгой и полной неожиданностей оказалась жизнь слова «вратарь», подходящего к

первой паре рисунков. Неудивительно, что у художника явилось желание «сострить».

Что же до второго слова-подписи — «надолба», — то, можно сказать, оно спало лет двести. Усыпило его появление огнестрельного оружия, воскресила танковая война.

Думается, вам теперь совершенно ясно, что именно подразумеваю я под «оживлением» ранее умерших слов.

Явление это наблюдается нередко. За последние годы, так же как «надолба», благодаря Великой Отечественной войне ожило (или, может быть, просто вышло из областных говоров и профессиональных «жаргонов» на простор общерусского языка) старинное слово «лаз»⁸⁰. Оно теперь значит: выходное отверстие бомбоубежища или дота.

В военном мире после многих десятилетий (больше столетия) «сна» и отсутствия возродились к новой жизни слова «майор», «сержант»⁸¹ (таких званий не было в царской армии последних лет). Полвека назад их употребляли у нас редкие любители истории, а сейчас эти слова опять известны всем.

Я предоставляю вам самим поломать голову и подобрать еще несколько примеров подобных «оттаявших» слов — «красных, синих, золотистых» — каких хотите. Два примера — неплохо, пять — отлично. Десять — лучше не может быть!

НОВОЕ СЛОВО

Мы видели, как слова спят. Видели мы, как давно уснувшие слова просыпаются для новой жизни, как **омолаживаются** те, что состарились. Но мы еще не натолкнулись на **рождение новых слов**. Совсем новых!

А они рождаются?

Языковеды говорят: каждому слову соответствует какая-то вещь. Конечно, при этом никто не думает и наших обычных «вещах», которые можно ощупать и оглядеть: для лингвиста «вещь» — это все то, что требует от языка наименования. «Камень» — вещь. Но и «электричество», и «совесть», и даже «голубизна» или «неизвестное», — все это вещи, «реалии».

Вещи мира мы «называем» нашими словами. Среди них немало вещей древних; человечество назвало их века назад и переименовывать не видит надобности. Таковы «гора», «море», «лес», «совесть», «тепло» или «холод».

Однако все время человечество творит или узнает все больше таких вещей, о которых оно раньше не подозревало. Не было летающих машин — а вот они гудят над нашими головами! Никто не знал даже того, что существует «а́том» в дни, когда создавался русский язык, а теперь внутри атома мы рассмотрели ряд малых частей — и электроны, и протон, и нейтрон, и даже нейтрино, что по-итальянски значит «нейтрончик».

На всем протяжении России пятьдесят лет назад не было ни единой сельскохозяйственной артели, а нынче нет в нашей стране человека, который не знал бы, что такое «колхоз». Появились новые названия, новые слова. Откуда же взял их наш язык? Что, их выдумали совсем заново? Составили из разрозненных, просто существовавших в языке звуков или поступили как-нибудь иначе?

Разбираясь в этом вопросе, языковеды натолкнулись на множество интереснейших казусов. Приведу вам некоторые из них.

САМОЛЕТ ПРИ ПЕТРЕ I

⁸⁰ Слово «лаз» недавно еще употреблялось преимущественно охотниками (у них оно значило: звериная тропа) да кочегарами (люк для осмотра котла).

⁸¹ Звание «майор» было введено в русской армии Петром I; упразднено в 1884 году. У А. П. Чехова есть рассказ, основанный на этом факте: он так и называется «Упразднили». Звание «сержант» введено также в дни петровские, но упразднено уже в конце XVIII века. Таким образом, первое слово «спало» около полусотни лет, второе — целых полтора.

Вы снимаете с полки 78-й том Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и открываете его на статье «Шлиссельбург».

В статье, напечатанной, к слову говоря, в 1903 году, то есть еще до того, как вышла из пеленок авиация, рассказывается, как войска Петра I овладели крепостью Нотебург у истока Невы:

"...особый отряд... переправлен на правый берег и, овладев находившимися там укреплениями, прервал сообщения крепости с Ниеншанцем, Выборгом и Кексгольмом; флотилия блокировала ее со стороны Ладожского озера; на *самолете* устроена связь между обоими берегами Невы..."

Слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы во времена Петра I в армиях применялись **самолеты**, на которых можно было бы пересекать широкие реки?

Рев мотора под Санкт-Питер-Бурхом! Самолет в шведских войнах великого Петра! Да это прямо удивительное открытие! Посмеиваясь, вы говорите: «Тут что-то не так! Очевидно, речь идет не о наших воздушных машинах». А о чем же?

Приходится провести целое военно-историческое исследование, прежде чем мы добьемся истины. Да, двести лет назад **самолетом** называлось нечто, очень мало похожее на наши нынешние самолеты. Впрочем, если вы спросите у современного сапера, он сообщит вам, что слово это живо и донныне: и сейчас понтонеры на фронте, при переправах, применяют порою особые **самоходные паромы**, движущиеся силой речной струи. Эти своеобразные приспособления издавна называются **самолетами**.

На таком именно самолете поддерживал и Петр I связь между частями, находящимися по обе стороны могучей реки. Значит, слово «самолет» в нашем языке существовало за много времени до того, как первые пропеллеры загудели в небе. Только оно имело тогда совершенно иное значение.

В разное время оно знало таких значений даже не одно, а несколько.

Возьмем ту же энциклопедию, но только на слово «Самолет». Оно находится в 56-м томе; том этот вышел в свет в 1900 году. «Самолет, — говорится там, — ручной ткацкий станок, с приспособлением для более удобной перекидки челнока».

А кроме того, как мы хорошо помним с детства, в самых старых сказках именовалось искони **самолетом** все то, что может **само летать** по воздуху, — например волшебный ковер⁸².

Теперь нам ясно, что получилось в этом случае. Когда языку понадобилось дать имя новоизобретенной воздушной машине, каких до сих пор он не знал, люди как бы внезапно вспомнили, что подходящее для этого слово давно уже существует в сокровищнице русской речи.

Правда, оно не было «безработным», это слово: оно имело свои значения. Но одно из них (особый паром) было известно очень мало кому. Другое (ткацкий станок) употреблялось тоже только техниками да рабочими-текстильщиками. Третье значение — сказочное — никак не могло помешать: таких «самолетов» в настоящем мире не было; спутать их никто не мог ни с чем. И язык спокойно передал это название новому предмету: он создал новое слово, перелицевав, переосмыслив старое. Он придал ему совершенно иной, небывалый смысл.

Вы, может быть, теперь представляете себе дело так: народ наш по поводу названия новой машины устраивал специальные совещания, рассуждал и обсуждал, как поступать лучше, потом «проголосовал» этот вопрос и решил его «большинством голосов...»

А другим, возможно, все рисуется иначе: просто нашелся умный и знающий человек, который помнил старое слово; он придумал употреблять его в новом значении и «пустил в ход». И то и другое неверно.

⁸² Слово это вообще охотно применяли ко всему быстрому на ходу, подвижному. Одно из акционерных пароходных обществ на Волге до самой революции было известно под фирмой «Самолет». Отдельным пароходам тоже охотно давали это имя. В «Бесприданнице» А. Н. Островского Паратов спрашивает у Вожеватова: «Так вы меня, Василий Данилович, „Самолетом“ ждали? Мне хотелось обогнать „Самолет“, да трус машинист...» (действ. I. явл. VI).

Разумеется, новое употребление слова «самолет» **сначала** пришло в голову одному или двум-трем людям; не всем же сразу! Но совершенно так же другим людям казалось в те дни более удобным и подходящим назвать новую машину заимствованным из древних языков словом «аэроплан». В первое время, когда только возникла авиация, почти все говорили именно «аэроплан», а вовсе не «самолет». А потом, совершенно независимо от того, чего хотели отдельные люди, язык **как бы сам по себе** выбрал то, что ему казалось более удобным и пригодным. Слово «аэроплан» постепенно исчезло; слово «самолет» завоевало полное владычество. И сделано это было не моим, не вашим, не чьимнибудь одиночным вкусом или выбором, а и мной, и вами, и миллионами других — могучим чутьем к языку, свойственным всему народу — хозяину и хранителю этого языка⁸³.

СЛОВО-ОШИБКА

Все знают слово «зенит».

Еще не так давно, правда, им пользовались только немногие ученые люди: мало кого в народе особенно занимала та, практически ничем от других не отличающаяся точка небесного свода, которая приходится как раз у каждого над головой.

Поэтому, пожалуй, у слова «зенит» почти и не было «слов-детей», производных слов; лишь астрономы да землемеры употребляли такие выражения, как «зенитный круг» или «перевести через зенит»; кроме них, никто ими не пользовался.

Теперь же, за последние двадцать — тридцать лет, слово это удивительно пошло в ход. Если уж футбольные команды носят такое название, если таким словом называют папиросы или конфеты, — значит, оно стало известным.

Породило оно и целую семью детей, производных слов: «зенитка», «зенитчик», «зенитный», тоже отлично известных в народе. Изменилось его точное значение: теперь, говоря «зенит», мы чаще всего подразумеваем вовсе не единственную математическую точку небосвода, расположенную у нас как раз над головой, а всё небо вообще, воздух, верх.

Мы говорим: "Орудия, приспособленные для стрельбы по **зениту**", то есть поверху, по самолетам. "Сначала стреляли по танкам, потом перешли на **зенит**".

Все это случилось по очень понятной и важной причине: небо вместе со своим «зенитом» приобрело совсем новое значение в жизни людей с тех пор, как в нем появились военные самолеты. Но ведь вражеские самолеты не все и не всегда появляются точно в «зените»!

Меня, однако, сейчас интересует не весь этот период в жизни слова «зенит», а самый момент его рождения. Что значит это слово? Откуда взялось оно у нас?

Слово «зенит» существует не только в русском, но и во многих европейских языках. «Зенит» остается зенитом и по-французски, и по-немецки, и по-английски. Но, так же как в русском языке, сколько бы вы ни искали, вы найдете некоторое количество **произведенных** от него слов-детей, но не обнаружите нигде слова-**предка**, того, от которого родилось бы само слово «зенит».

Это и неудивительно: таких «безродных», на первый взгляд, слов можно указать немало в любом языке; чаще всего обнаруживается при этом, что повсюду они «взяты напрокат» из какого-либо третьего языка. В тех случаях, когда одно и то же безродное слово попадает в ряде языков Европы, обычно приходится предположить, что оно взято либо из греческого, либо из латинского языка, или же из языка арабов. Особенно это справедливо, если речь заходит о научных терминах, о словах астрономических, математических, географических и т. д.

Однако если говорить о слове «зенит», то тут-то и начинается странность.

⁸³ Интересно, что за протекшие с тех дней до нашего времени годы был сделан ряд попыток именно в области авиации вмешаться в дело и волю языка. Дальше я рассказываю, что вышло из такой попытки поэта Хлебникова: язык не принял выдуманных поэтом слов, а спокойно и уверенно создал свои. Много шумел по этому вопросу дореволюционный журналист Купчинский, предлагая заменить иностранные слова «ангар», «аэродром» русскими; и его старания успеха не имели. Знаток авиации Вейгелин долго работал над лётным словарем, в той части, где автор регистрировал слова, уже созданные языком, словарь этот сохранил значение. Слова-выдумки и тут совершенно исчезли.

Ни в одном из этих языков такого слова не обнаруживается. Нет даже похожих на него слов того же корня. Выходит, что слово это родилось во всех современных языках само по себе, а «родителей» нигде не имеет. Это вещь совершенно невероятная.

Понадобились сложные разыскания, чтобы разоблачить «беспаспортного пришельца», явившегося неведь откуда и самонадеянно обосновавшегося во всех странах. Что же оказалось?

The image shows two handwritten versions of the word 'Zamt'. The top version is 'Zamt' and the bottom version is 'Zanit'. In the 'Zamt' version, two vertical strokes are highlighted with arrows, indicating the source of the 'm' sound in the word.

Слово «зенит» — очень редкий пример слова-ошибки. Происхождение его, как выяснилось, все же арабское. Только в арабском языке самая высокая точка неба именуется вовсе не «зенит», а «замт». Да, «замт»!

Когда астрономы Европы ознакомились с арабскими астрономическими трудами, они стали охотно заимствовать из них многие термины, для которых еще не существовало соответствующих европейских слов.

Не было нигде в Европе и слова, которое бы значило: «верхняя точка небосвода». Показалось удобным наименовать ее арабским словом «замт».

Трудно уже сейчас сказать, когда и как именно была сделана ошибка, но какой она была — понятно.

Как только арабское «замт» переписали европейскими, латинскими буквами — *zamt*, в середине слова образовалось сочетание из трех вертикальных палочек. Они означали здесь букву "м".

Но малообразованным переписчикам чужое слово «замт» ничего не говорило; оно было непонятно, да и звучало для европейского, для испанского в частности, слуха как-то дико. Переписчики решили, что ученый, видимо, нечетко пишет, и те же три вертикальные палочки прочли не как *m* (м), а как *ni* (ни), то есть не «*zamt*», а «*zanit*», — так, на их взгляд, слово выглядело хоть и столь же непонятно, но все же более удовлетворительно. Ошибки никто не исправил: арабского языка не знали. Так и пошло в испанском языке астрономов гулять чужое слово «занит», которое скоро превратилось в «зенит». Слово родного языка недолго, конечно, просуществовало бы в таком искаженном виде. А слово языка чуждого, да еще столь малоизвестного в Европе, как арабский, не только осталось жить, но и начало путешествовать по всем народам и странам.

Не все ли было равно людям, так ли называется «зенит» по-арабски или иначе? У нас он называется так! И понадобились труды лингвистов, чтобы восстановить истину.

Теперь, прочитав на футбольном состязании или на пачке папирос слово «Зенит», вы будете знать, что перед вами одно из редчайших слов в мире: оно появилось во многих языках в результате простой ошибки (даже описки) переписчика.

Но, с другой стороны, перед вами одно из самых обыкновеннейших слов мира, имеющих самую обычную историю. Оно пришло в европейские языки из чуждого им азиатского языка; позаимствовано оно было для того, чтобы им можно было назвать понятие, у которого еще не было имени. Значит, и возражать против него не приходится.

Во всех языках большое число новых слов, особенно таких, которые нужны новейшим наукам и технике, заимствуется именно таким образом из древних языков. Как вы видели только что и как увидите сейчас, при этом происходят иной раз курьезные случаи. Против их наличия, против существования созданных ими слов тоже бессмысленно протестовать: победителей, как говорят, не судят.

СЛОВО, КОТОРОЕ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ

Каждому знакомо слово «автомобиль». Огромное большинство знает даже не только то, что наш язык **называет** сейчас этим словом, но и что **значит оно** само, если приглядеться к его

составу, Откуда оно взялось?

Авто-мобиль — слово, составленное из греческого местоимения «а́утоc», означающего «сам», и латинского прилагательного «мо́билис», которое значит «подвижной». «Автомобиль» — «сам собою подвижной».

«Мото-цикл» — тоже слово двойное и искусственное. «Мото» — часть латинского слова «мотор» — двигатель. «Ци́кλος», или «ки́кλος», у греков означало: «круг» или «колесо». «Мотоцикл» — моторное колесо, коляска с двигателем.

Совершенно так же слово «автобус» должно означать... Гм! Что такое? «Авто» — это «само», а вот «бус»?

Тут-то и начинается самое неожиданное. Никакого слова «бус», подходящего к нашему случаю, ни в одном из известных нам языков мы опять-таки не обнаруживаем. Нигде оно ровно ничего пригодного для нас не означает. Как же быть?

Как всегда в таких случаях, для того чтобы понять историю слова, разумнее всего обратиться к истории того предмета, который оно называет, к истории человечества или народа, наименовавшего так этот предмет.

«Автобус» получил свое имя сразу же после своего создания, как только он сменил собою своего предшественника — неуклюжий конный многоместный почтовый рыдван, возивший пассажиров столетие назад. Рыдван этот именовался «о́мнибус». **Омни-бус** ? Что же значит и из каких частей состоит это, теперь уже забытое, слово?

Тут все ясно. Слово «о́мнибус» представляет собою **дательный падеж множественного числа** от латинского слова «о́мнис». «Омнис» значит «весь», «о́мнибус» — «для всех», «всем».

Падеж здесь произведен по всем правилам латинской грамматики: ignis = огонь, igni-bus = огням; avis = птица, avi-bus = птицам.

Значит, это «бус» есть не что иное, как окончание **дательного падежа** некоторых древнеримских имен существительных и прилагательных. Только и всего.

В слове «омнибус» такое окончание было совершенно законно. **Омнибус** ведь был экипажем, предоставленным «всем», повозкой «общего пользования». Вот его название «omnibus» и означало «для всех», «всеобщий».

Однако тот инженер или предприниматель, который первым решился соединить **автомобильный** мотор с кузовом огромного **омнибуса**, был, вероятно, человеком изобретательным, но не языковедом, во всяком случае. Он не поинтересовался значением слова «омнибус» и, без раздумья отбросив его корень (а с корнем и смысл), спокойно присоединил окончание латинского дательного падежа к греческому местоимению⁸⁴. Получилось слово «автобус»; слово, которое, если судить по его составу, не значит ровно ничего или означает предмет довольно удивительный, что-то вроде «само+м» или «сам+ex» (сам+[для вс] ex); «сам+[вс] ем».

Но странная вещь язык! Именно это изуродованное и исковерканное слово-калека, слово чудовищный гибрид, отлично привилось во французском языке, стало сначала его полноправным гражданином, а потом поползло и в другие языки Европы.

Более того, оно начало испытывать своеобразные приключения. В скором времени, у него появилось немало «братьев», в составе которых механически отрезанное от корня латинское окончание стало с полным успехом играть роль полнозначного и полноправного «корня». Все мы свободно употребляем слово «троллейбус», которое, если разобраться, может быть переведено только как «роликобус» («троллей» по-английски — «ролик»). Стал довольно употребительным термин «электробус» — повозка с электрическим двигателем. Мне попалось, наконец, в одной статье даже слово «аэробус», то есть «воздухобус», потому что «аэр» по-латыни — «воздух»; слово это, по мысли автора, должно было обозначать «многоместный

⁸⁴ Впрочем, возможно, он действовал не совсем так. Он взял слова «автомобиль» и «омнибус», отбросил начало второго и конец первого и срастил остатки, не заботясь о их значении. Он полагал, что его составное слово должно будет означать «авто(мобильный омни)бус=»авто+бус". Но это не меняет наших рассуждений.

пассажирский самолет»⁸⁵.

Приходится признать, что все это — слова одного корня, и корень этот — все то же не имеющее значения «бус».

Вот что смешнее всего: в Англии у слова «автобус» главный корень «авто» и вообще затерялся, исчез. Осталось и сделалось целым словом только бывшее окончание латинского дательного падежа, частица почти ничего не означающая. В Англии **автобус** называется просто: «бас» (пишется «bus»). Попробуйте там сказать, что это «бас» не **настоящее английское слово**.

Некоторые из вас, может быть, опять подумают: как, значит, легко всё-таки составлять и выдумывать «новые слова»! Придумал, а оно живет и живет и даже расходится по всем странам мира!

Но это только так кажется. Все дело в том, что слово «автобус» **утверждено языками Европы и русским языком в частности**. А язык, как мы сейчас еще раз увидим, утверждает далеко не все предлагаемые ему слова. И заранее угодить на его причудливый вкус бывает крайне трудно.

ЛИЛИПУТЫ И СТРУЛЬБРУГИ

Когда вы в наши дни читаете цирковую афишу о "Выступлении труппы **лилипутов**", вам и в голову не приходит задать себе вопрос: а откуда взялось в языке это странное слово — «лилипут»? Вам оно кажется совершенно таким же «обычным» словом, как «карлик», «пигмей», «гном» и т. п. Между тем хотя у каждого из этих слов свое, и даже очень интересное, происхождение, но «лилипут» отличается от них всех. Это одно из тех редчайших слов человеческой речи, про которое можно положительно и наверняка утверждать, что оно «создано из ничего», просто выдумано. И выдумано притом совершенно определенным, всем известным человеком, с определенной — и тоже всем хорошо известной — целью.

В 1727 году впервые вышла в свет в Англии знаменитая доньше сатира — книга Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Автор среди прочих фантастических чудес описывал в ней сказочную страну, населенную крошечными, с мизинец, человечками, которым он придал племенное имя «лилипуты».

Свифт вовсе не собирался вводить в английский язык новое слово, которое обозначало бы «карлик», «гном» или «пигмей». Он просто нарисовал народец-крошку, людей которого звали «лилипутами», так, как англичан англичанами, а немцев немцами.

Но сделал он это с такой силой и правдоподобием, что в устах каждого читателя книги вскоре слово «лилипут» стало само по себе применяться ко всем маленьким, малорослым людям. А постепенно — и не в одном английском языке только — оно просто начало значить то же самое, что и «карлик».

Можно сказать наверняка: сейчас в мире несравненно больше людей, которые помнят и постоянно применяют слово «лилипут», чем таких, которые знают Свифта и его книгу. Слово это ушло из книги и зажило самостоятельной жизнью. И, пожалуй, у нас, в нашем языке, да, как мне сообщил один читатель этой книги, у венгров, эта самостоятельность его даже особенно заметна.

В английском «лиллипьюшн» (lilliputian) и во французском «лиллипюсьен» (lilliputien) все-таки еще чувствуется значение «лилипутиец» — житель «Лилипутии». А в русском языке эта связь давно исчезла. У нас «лилипут» — недоросток, малютка, и только.

Откуда Свифт взял такое причудливое слово? Об этом можно только гадать. Правда, было

⁸⁵ В одной корреспонденции из Антарктики, помещенной в «Известиях» от 4/IV 1956 года, сообщается, что в поселке «Мирный» тяжелые многоместные вертолеты именуют ветробусами. Даже если это ошибка журналиста, и зовут их вертобусами, к семейству «-бусов» прибавился еще один юный член. А в домах отдыха и санаториях Крыма сами отдыхающие затейливо окрестили маленькие автобусики марки «Латвия» «микробусами». Получилось «слово-чемодан», в котором таятся сразу две разных основы: с одной стороны — как бы «автобус», с другой — как бы «микроб». В общем же — микровавтобус, И ласково, и с насмешечкой.

несколько попыток сообразить, что он мог положить в его основу, но твердо установить ничего не удалось. По-видимому, самые звуки этого слова показались ему подходящими для имени таких людей-крошек, каких он себе представлял⁸⁶. Поверить же тому, что он просто переделал на свой лад английское слово «литтл» — «маленький» — крайне трудно. Это ничуть не более вероятно, чем предположить, будто он составил свое слово из перековерканного словосочетания «ту пут ин лили», «засовывать в лилию», намекая на крошечный размер своих человечков. Это все досужие домыслы.

Вот рядом с лилипутами в книге Свифта действуют еще и люди-лошади: их название — «гуигнгнмы» — является уже явным подражанием лошадиному ржанию.

Но следует отметить одно: ни труднопроизносимое слово «гуигнгнм», ни название страны великанов «Бробдингнэг», ни странное имя «струльбруги», приданное Свифтом несчастным и противным бессмертным старикам в другой из выдуманных им стран, не сделались самостоятельными словами. Читатели Свифта помнят их и иногда, может быть, применяют в переносном значении. Однако, увидев человека высокого роста, нельзя просто сказать: «Вот, смотрите, какой бробдингнэг идет» — вас не поймет никто. Назвав древнего старца «струльбругом», вам придется объяснить, что это значит. А слово «лилипут» ни в каких объяснениях не нуждается: его понимают все.

Языки мира приняли только одно из всех изобретенных Свифтом слов. Видно, творить новые слова — далеко не простое занятие, потому что составить из звуков нашей речи то или другое сочетание и придать ему какое-либо значение — это еще даже не полдела. Самое важное — чтобы язык и народ приняли все это соединение звуков и смысла, утвердили, начали употреблять и понимать и, таким образом, ввели бы вновь созданное звуко сочетание в словарный состав языка, сделали его словом.

ДВА СПОСОБА

И все-таки новые слова творятся, иногда удачно, иногда нет, но творятся постоянно.

Если вы заглянете в словарь и найдете там слово «газ», вы получите справку: «Слово изобретено в XVII веке физиком Ван-Гельмонтом». По-видимому, это так и есть.

Семнадцатый век оказался веком бурного развития физики. Впервые люди поняли, что в мире, кроме жидких и твердых тел, существуют особые тела, подобные воздуху, но все же отличные от него по разным своим свойствам. Таких тел раньше никто не знал. Понятно, что и слова, которым их можно было бы назвать, не существовало ни в одном языке.

Ван-Гельмонт взял на себя эту задачу. Ученые спорят теперь о том, почему ему пришлось в голову именно сочетание звуков «г+а+з». Пытаются установить связь этого сочетания с различными греческими и латинскими словами, относящимися к предметам и понятиям, более или менее близким, — например, со словом «хаос», которое по-голландски звучит похоже на «хас». Однако попытки эти пока остаются, по меньшей мере, сомнительными, так как сам Гельмонт не оставил нам на этот счет никаких указаний. И приходится слово «газ» считать таким же «измышленным», «изобретенным», как «лилипут» Свифта.

Тем не менее слово это вошло в словари огромного числа языков, совсем не родственных друг другу. И потурецки «газ» будет «газ»; даже в Японии оно звучит как «гасу». Так слово, созданное между 1587 и 1644 годами в крошечном фламандском городишке Вильварде, завоевало весь мир. Это случилось только потому, что оно было принято, утверждено человеческими языками.

Есть в русском языке не слишком употребительное, но все же известное слово «хлыщ». Употребляется оно тогда, когда надо с оттенком презрения обрисовать самонадеянного и неумного франта, щеголеватого пошляка. «Это был аристократически глупый хлыщ», — говорится у писателя Лескова.

Слова «хлыщ» вы не найдете ни в одном словаре позапрошлого века. Оно родилось на

⁸⁶ Стоит указать все же, что в шведском языке (а с ним Свифт был, вероятно, отчасти знаком) есть слова *lilla* (малышка-девочка), *lille* (малыш-мальчик) и *putte, puttifnasker* — «младенец, крошка».

свет всего лет сто назад, и в литературе нашей сохранились свидетельства, показывающие, что его придумал и пустил в ход другой писатель — Иван Панаев. Есть предположение, будто его изобретение основывалось на каком-то особом, бранном значении слова «хлыст», существовавшем в местном городе около Новгорода. Там-де «хлыстами» называли «беспроких» молодых людей, лодырей или что-то в этом роде, тогдашних провинциальных «стиляг».

Но вполне возможно, что создатель его шел и по совсем иному пути: просто он отправлялся от выразительного и неприятного слова «хлыст»=кнут, которое знали не в одном только Новгороде, а везде и всюду. Так или иначе, слово это сразу привилось в русских журналах и в газетах; через письменный язык оно пошло и в устный. От него, как от корня, возникло прилагательное «хлыщеватый», сходное по смыслу со «щегольский». «Хлыщ» стало как бы чисто русским дубликатом иностранного слова «фат».

Во всяком случае, про все три слова эти — «лилипут», «газ», «хлыщ» — можно сказать одно: при их создании человек, возможно, и не использовал старых корней, а создал корни, или «основы», новые. С ними увеличился не только «словарный состав» языка, всегда изменчивый и непостоянный. Они обогатили и самую заповедную, самую глубокую, самую «вечную» часть этого состава — его «ядро», которое состоит из «корневых слов». Это случается крайне редко⁸⁷. Гораздо чаще новые слова языка, его **неологизмы**, возникают другим, более простым способом. А именно: их производят от тех древних корней, которые издавна жили в языке.

В огромном большинстве случаев остается неизвестным, кто, как, когда и где **первым** сказал то или другое слово, хотя любое из слов языка когда-нибудь да было произнесено в **первый раз**.

Мы знаем, что слова «столяр» и «столешица» родились от слова-корня «стол». Но, разумеется, даже они не могли возникнуть **сразу** в головах тысячи или хотя бы сотни людей. Кто-то их придумал первым. Мы только никогда не узнаем, кто именно.

Установить это можно лишь в тех случаях, когда по каким-нибудь причинам их рождение было сразу же замечено или следы этого сохранились в каких-то записях.

Слово «тушь» (черная краска особого состава) известно в русском языке давно. Люди, работавшие с этой краской, также довольно давно начали употреблять и различные производные слова от этого слова-корня: «растушевка» (особый инструмент), «тушевать» (закрашивать тушью, а потом и вообще покрывать темным цветом) и т. д.

Но с середины прошлого века в языке наших писателей начало мелькать новое слово того же корня: «стушеваться». Оно означало: скрыться, сделаться незаметным. Слово это, как видно, ново не только потому, что отличается от старых своих собратьев по составу и форме. В нем и сам корень — «тушь» — получил новый, **переносный** смысл; оно уже не значит «покрыться темным цветом».

Мы бы никогда не узнали ничего о рождении этого слова, если бы в одной из книг писателя Ф. М. Достоевского не нашлось заметки, в которой он утверждает, что слово «стушеваться» придумано им.

В 1845 году Достоевский читал свой рассказ «Двойник» на квартире у Белинского. «Вот тут-то, — пишет он, — и было употреблено мною в первый раз слово „стушеваться“, столь потом распространившееся».

Действительно, слово это какое-то время было очень популярным. Надо сказать, что особенно любил и постоянно употреблял его сам Достоевский. У него «стушевался» герой «Двойника» Голядкин, «стушевался» даже один генерал. Однако рядом с этим особым

⁸⁷ К словам, указанным выше, ученые добавляют еще несколько, — например, слово «кодак». Так в начале века назывались и фирма, производившая фотоаппараты, и сами эти аппараты. Вошло в употребление даже слово «кодакировать» вместо «фотографировать». Два близких к свифтовским слова-термина изобрел Г. Уэллс, разделивший людей далекого капиталистического будущего (если счесть, что оно возможно) на «алоев» и «морлоков». «Морлокам» повезло: появился даже роман другого английского писателя о рудокопах, так и озаглавленный «Морлоки» (впрочем, так — «морлаки» или «морлоки» — именовалось когда-то одно из иллирийских племен). В последнее время на Западе появился целый ряд слов — «флоппник» (неудача, крах), «битник» (стиляга), новых для англичан наполовину, так как все они построены на использовании русского суффикса «-ник», ставшего им знакомым по слову «спутник».

употреблением данного глагола в значении «незаметно удалиться, трусливо и скрытно отступить» (равносильно теперешнему просторечно-вульгарному «смыться») язык знает и совсем другое значение слова: «образовать мягкий переход от темных тонов к более светлым». В этом значении оно употребляется художниками, фотографами и другими специалистами. Никак нельзя думать, что оно возникло путем придания второго, переносного, смысла слову, придуманному Достоевским; дело обстояло как раз наоборот: писатель по-новому переосмыслил пленившее его слух профессиональное словечко. Он сам рассказывает об этом.

Так или иначе, однако он его считал своим творением и, видимо, очень гордился этим словотворчеством. Впрочем, своей заслугой считал он и введение в литературный язык другого нового слова — «стряцкий», имевшего смысл «пустой, не заслуживающий доверия человек». Слово это тоже доныне держится в наших словарях.

Не будем отнимать у Достоевского чести введения в литературу этих слов, но скажем, что оба случая не являются примерами словотворчества в чистом виде. И там и тут родились не новые слова, а были переосмыслены или введены во всеобщее употребление старые. Это не одно и то же.

Но в то же время приходится сказать, что такого рода новые слова, производимые от корней и основ уже известных, имеют в языке куда большее значение, чем слова-курьезы, слова-редкости, порожденные вдруг «из ничего», вместе со своим корнем.

Великим творцом именно таких **полуновых** слов в нашем языке был гениальный архангелогородец, «первый наш университет» — Михаил Васильевич Ломоносов.

В этом нет ничего удивительного. Ломоносову приходилось заново строить на пустом месте целый ряд наук: физику, химию, географию, литературоведение, языкознание и множество других. Совершенно не было слов, которыми могли бы пользоваться первые работники этих наук. Ученые-иностранцы беззаботно засоряли наш язык великим множеством нерусских, неуклюжих терминов. Из-за них чтение тогдашних научных книг для русского человека становилось пыткой. Ломоносов взял на себя задачу создания основы для русского научного и технического языка.

Слов, которые Ломоносовым введены в русский язык, так много, что рассказывать о каждом из них нет никакой возможности. Из нашей таблички вы легко поймете, что очень часто встречающиеся вам в современной речи слова, про которые каждый из вас думает, что они «всегда были», на самом деле созданы лишь 180-200 лет назад, и созданы именно Ломоносовым. Некоторые из них построены по правилам русского языка, но из чужестранных корней, как «градусник» (от латинского слова «градус» — ступенька). Другие связаны со словами, и до Ломоносова жившими в нашей речи, например название «предложный падеж».

Вот те из них, про которые точно известно, что их впервые употребил Ломоносов:

зажигательное (стекло)

негашеная (известь)

огнедышащие (горы)

горизонтальный

преломление (лучей)

диаметр

равновесие (тел)

квадрат

кислота

минус

удельный (вес)

горизонт

квасцы

и др.

Немалое количество русских слов обязано своим появлением крупному писателю Н. М. Карамзину, жившему одновременно с Пушкиным. Хорошо известно, например, что он придумал и пустил в ход через свои произведения такие совершенно необходимые теперь для нас слова, как «влияние», «трогательный», «сосредоточить». Даже сло́ва «занимательный» не существовало до него.

Но, конечно, роль и Ломоносова и Карамзина не может равняться по своему значению той роли, которую в языке играли и играют все время, ежедневно, ежечасно, незаметно работающие, никому не известные рядовые творцы новых слов.

Можно довольно точно установить время, когда впервые прозвучало слово «большевик». Это случилось в дни II съезда РСДРП, в 1903 году. Можно сказать, что наше теперешнее слово «совет» приобрело свое новое значение не раньше 1905 года, а производное от него слово «советский» стало широко распространяться уже в послереволюционные годы. Но если вы захотите узнать, кто и когда в первый раз произнес каждое из этих слов именно в этом значении, вам придется совершить сложную и нелегкую работу, причем, весьма возможно, установить не удастся ничего. Тысячами наших самых ходких слов язык обязан великому творцу — народу.

СЛОВА В МАСКАХ

Среди слов, ежегодно, ежечасно создаваемых народами, особое место занимает одна их любопытная и даже курьезная группа. Я говорю о словах как бы переодетых, по разным причинам замаскированных.

С первым таким словом мы встретились в самом начале этой книги. Речь шла о выражении «рынду бей», этой своеобразной команде русского флота. Но замаскированных слов много, и происхождение их совершенно различно.

Вы, полагаю я, еще помните: в языкознании установление происхождения слов называется «этимологизацией». Когда такую же работу проделывают не осведомленные ученые, а сам народ, руководствуясь смутным ощущением сходства между словами, он обычно впадает в удивительные ошибки. Приравнивая чужое слово к своему схожему, стараясь дать ему объяснение на основании этого сходства, люди как бы вскрывают его этимологию. Но такие доморощенные этимологии недаром ученые именуют народными или «ложными». Надо сказать, что иной раз они приводят к самым неожиданным результатам.

В свое время католический монах Доминик основал в Тулузе, во Франции, новый монашеский орден. Его последователей стали звать по имени их духовного вождя — **доминиканцами**, по-латыни — «dominicanī» от слова «dominicanus»; точно так же последователей Ария звали **арианами**, а Нестора — **несторианами**.

Но слово «доминус» по-латыни значит «господин», «господь», а окончание слова «домини-кани» созвучно со словом «канис» — «собака». Этого оказалось достаточно: народная этимология сделала из имени ордена, словосочетание «до́мини ка́нэс», то есть «божьи псы». Создалась легенда: мать святого Доминика перед его рождением видела будто бы во сне собаку, бежавшую с факелом в зубах. Конечно, это было сочтено предзнаменованием, что ее сын станет «божьим псом», повсюду несущим светоч истинной веры. Кончилось тем, что изображение собаки с факелом сделалось гербом доминиканского ордена.

В любом языке мира есть немало слов, возникших именно благодаря таким ложным «этимологизациям». Французы из перешедших к ним латинских непонятных выражений «бо́нум и ма́лум аугу́риум», означавших «доброе и плохое предсказание», сделали свои «bonheur» и «malheur» — «счастье» и «несчастье». Но слова эти пишутся и произносятся так, что место непонятного слова «аугу́риум» в них как бы заняло понятное французское слово «heure» — «час»: «счастье» — «добрый час», «несчастье» — «дурной час».

Всем нам известно полушутливое выражение: «быть не в своей тарелке». Фамусов говорит Чацкому в «Горе от ума»: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен

сон!» Уже Пушкин заметил, что это русское выражение является переводом с французского, скорее точным, чем правильным. Во Франции одно и то же слово «ассьетт» означает и «тарелку» и «положение, расположение духа». Французы говорят «не в своем обычном расположении духа», «не в настроении», а мы перевели это каламбуром «не в своей тарелке». Это несомненная ошибка, но надо признать, что она никому не принесла ни малейшего вреда, а язык русский обогатила удобным и бесполезным, хотя и совершенно бессмысленным, если не знать его истории, постоянным словосочетанием. Оно прочно вошло и в нашу литературу и в разговорную речь.

Однако, разумеется, литературный язык гораздо реже принимает, а тем более сохраняет, подобного рода «слова-ошибки», чем народная речь.

В наших говорах и вообще в просторечье надолго прижились такие слова, как «полусадник» (от французского «palissade» — ряд растений, подвязанных к колышкам или к изгороди) или «полуклиника» (вместо греческого «poly» (много) «klyprike» (врачевание).

В народе упорно держалось смешное слово «спинжак» (то, что носят на спине), из английского «пиджак». Каждый, кто читал рассказы Н. А. Лескова, знает, каким великим мастером на отыскивание и комическое использование таких «маскированных слов» был этот писатель: «клеветон» (фельетон), «публицейские (полицейские) ведомости», «потная спираль» (спертый воздух), даже «гимназист Пропилей» (помесь слов «пропиливать» и «пропиле́и» — колоннада по-древнегречески) не составят и одной сотой его удивительной коллекции. Множество таких же народных этимологий встречается и в пьесах А. Н. Островского: достаточно вспомнить знаменитое «мараль пущать», вместо «морально чернить человека»,

Особенно распространены народные этимологии разных чужестранных имен, фамилий, географических названий. Это и естественно: имя не имеет ясного значения; его легче связать с любым желательным смыслом, нежели значимое слово. Поэтому, как только народ замечает хотя бы отдаленное сходство чуждой ему иноплеменной фамилии с тем или иным русским словом, переосмысление ее происходит легко и просто.

Известно, что фамилию любимого солдатами полководца Багратиона, которая по-грузински значит просто «Багратов», «сын Баграта», воины 1812 года произносили и толковали, как «Бог+рати+он», видя в ней своего рода благоприятное пророчество. Напротив того, талантливый и дальновидный, но непонятный солдатской массе медлитель Барклай де Толли превратился в устах рядовых в «Болтай, да и только»⁸⁸.

Старые имена географические, которые в значительной своей части достаются народам от их древних предшественников по жизни в той или другой местности, обычно бывают совершенно непонятны им по своему происхождению и составу. Их невозможно раскрыть обычными путями так, как раскрываются имена нового происхождения. Очень понятно, что значит слово «Владикавказ» или «Днепропетровск». А вот каково значение самих слов «Кавказ» и «Днепр», остается для неязыковеда довольно загадочным. Поэтому народная этимологизация таких старинных таинственных имен — явление в высшей степени частое. Она сплошь и рядом приводит к созданию сложных легенд, относящихся к происхождению имени, а нередко и самого населенного пункта или урочища, им названного.

Есть в Саксонии городок Бауцен. Это название — переделанное славянское «Будышын». Слово же «будышын», состав которого довольно темен, местные жители, лужичане (западные славяне), в свое время объясняли при помощи наивной легенды. Один из их древних князей, будучи на охоте в этих местах, получил-де из дому известие: у княгини родился ребенок. «Буди сын!» (то есть «Пусть это будет сын, а не дочь!») — воскликнул обрадованный князь, и город, который был основан на том месте, получил такое имя: «Будисын».

Топонимика (географические имена) любой страны дает сотни точно таких же, до

⁸⁸ С именами собственными бывают и другого свойства недоразумения. На предыдущей странице я говорил про слова «пиджак» — «спинжак» — «пинжак». Мне встретилась фамилия ПИНЖАКОВ. Я, как и все вокруг, толковал ее, как производную от просторечного и неправильного «пинжак». А потом выяснилось, что на северо-востоке РСФСР «пинжаками» зовут людей с реки ПИНЕГИ, и что фамилия ПИНЖАКОВ, собственно, означает: «потомок пинежанина».

странности похожих друг на друга «этимологий».

Жители Архангельска донине охотно рассказывают, будто предместье города **Соломбала** названо так в память первого бала, данного на этом месте Петром Великим. Было начало XVIII века, в Архангельске не существовало еще никаких подходящих помещений, и молодому царю пришлось устроить этот «бал» просто на лугу, устланном соломой. Отсюда и название: «Соло́ма-бал». Не говоря уже о том, что танцевать на соломе довольно неудобно, хорошо известно, что само слово «бал» было редким во дни Петра; вместо него говорили «ассамблея», «куртаг» и пр. Название же «Соломбала», безусловно, финского происхождения и, пожалуй, связано с финскими словами «suo» — «болото» и «lemboj» — «черт» плюс характерный (РайвоЛА, МууриЛА) финский суффикс названий местностей: «суолембо-ла» — «черто-болот-ское».

О возникновении имени города Калач Волгоградской области рассказывают, будто оно связано с никому не известной девушкой, якобы угощавшей некогда калачами своего изготовления проходивших мимо воинов. На деле же оно, всего верней, возникло из тюркского слова «кала», означавшего крепость, огражденное поселение.

Географических имен, включающих в себя это слово, множество на нашем юго-востоке; да и в соседней Воронежской области имеется еще один населенный пункт «Калач». Неужто и там сердобольная девушка тоже занималась пекарным делом?

Число таких примеров можно было бы легко удесятить. Стремление языка искусственно придавать заимствованным словам звучание и значение по образу и подобию слов собственных, по-моему, в лучших доказательствах и не нуждается. Может быть, впрочем, вам показалось, что это любопытное явление не столь уж важно, что ряженные, замаскированные чужестранцы не играют в языке большой роли?

Это не совсем верно. Во-первых, мы столкнулись и с примерами обратного положения вещей, когда говорили о словах с народной этимологией, получивших благодаря ей свою форму и вошедших даже в общерусский, даже в литературный язык («рынду бей» и т. п.). Во-вторых, мы, вполне возможно, далеко не со всех переодетых снимаем маски.

Спросите у десяти ваших друзей, от какого слова происходит название болезненного явления «ко́лики». Девять из них ответят вам: от того же, что и «ко́лотье», «коло́ть». Так называется «колющая» резкая боль в кишечнике и желудке. На деле же слово это французское, точнее — греческое, пришедшее в наш язык через французский. «Ко́лон» — по-гречески «толстая кишка»; «коликэ носос» — ее заболевание. Отсюда произошли и французское слово «colique» (ко́лики) и медицинский современный термин «коли́т». А к русскому глаголу «коло́ть» наши «ко́лики» не имеют никакого отношения.

Таких неразоблаченных пришельцев в нашем языке, если поискать, найдется не так уж мало, да и в языках других народов тоже. Надо сказать, что порою далеко не столь уж просто заставить их скинуть с себя маску утвердившейся народной этимологии.

Возьмите для примера название древнего нашего города Холм, стоящего на реке Ловати, на старом водном пути «из варяг в греки», — от чего оно происходит? От русского слова «холм» — пригорок, или же от скандинавского «хольм» — остров. Ведь у шведов много названий, в состав которых этот «хольм» входит: «Кексхольм», «Борнхольм», «Стокхольм». «Стокхольм» по-шведски значит «Палочный остров», а наши предки новгородцы в свое время тоже этимологизировали это слово по-своему: у них столица Швеции именовалась «Стеко́льна».

Словом, ясно: вопрос о словах, созданных при помощи народной этимологии из ввозного чуждого словесного материала, а затем вошедших так или иначе в общенародный (а порой и в литературный) язык и упорно скрывающих до сих пор свое происхождение, и не так уж прост, как может показаться, и гораздо интересней, чем представляется с первого взгляда. Им занимались пока еще далеко не достаточно.

БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО

Слова, имеющиеся в языке, составляют так называемый **словарный состав языка**. Главное в нем — **основной словарный фонд**.

Ядро основного словарного фонда составляют **корневые слова**. Основной словарный фонд гораздо менее обширен, чем словарный состав языка.

Зато живет он **очень долго**, в продолжение веков, и дает языку базу (материал) для **образования новых слов**.

Получается любопытная картина.

Все слова языка, какие мы знаем, можно, оказывается, вообразить себе в виде трех кругов, вписанных один в другой.

В самый большой круг, внешний, входят именно все слова, какие сегодня живут в языке; даже те, которые родились только вчера; даже те, что умрут завтра; даже те, что возникли лишь по случайным причинам, для какой-нибудь специальной надобности (вроде слова «кодак» или слова «хлыщ»). Этот круг и есть словарный состав языка.

Внутри этого круга существует другой, более узкий. Он содержит в себе уже не все слова, а лишь некоторую часть их. Какую?

Только те слова, которые язык отобрал и признал окончательно, которые существуют и развиваются в течение долгого, очень долгого времени, которые меняются, переосмысляются, дают начало и жизнь другим словам, — только они входят в этот второй круг, в основной словарный фонд.

Наконец внутри этого круга есть еще один, охватывающий самую отборную, исходную, основную часть слов. Здесь хранятся слова-корни, те самые, из которых — при помощи которых! — язык в течение долгих веков образует все нужные для его развития новые слова. Этот малый круг — ядро словарного состава и основного фонда, это святая святых языка. Здесь нет ничего случайного, ничего временного. Здесь таятся основы, созданные народом много веков назад, бережно и осторожно пополняемые. Крайне редко, в виде особого исключения, проникают сюда пришельцы-гости — слова, изобретенные заново. Но именно из этого ядра в основном течет в языке непрерывная струя обновления, освежения его запаса. Именно здесь находится главный, первый источник всего по-настоящему нового, огромного большинства всех образуемых заново слов.

Это легко представить себе. Но попробуем наполнить нашу воображаемую картину живым содержанием. Попробуем хотя бы на одном-двух примерах посмотреть, как же распределяются по этим кругам наши самые обычные, всем известные простые слова.

С незапамятно-древних времен находится во внутреннем круге — в ядре основных слов на самой глубине словарного состава — широко распространенное и известное слово-корень «лов». Искони, насколько мы можем знать, оно было связано с одним значением; хватанье, поимка. В самых старых рукописях наших мы уже встречаем слова с этим корнем.

В «Начальной летописи», под датой 21 мая 1071 года, сказано о том, как князь Всеволод за городом Вышгородом в лесах "деял звериные ловы", заметал тенета". «Лов» уже тогда означало: охота сетью, поимка зверя.

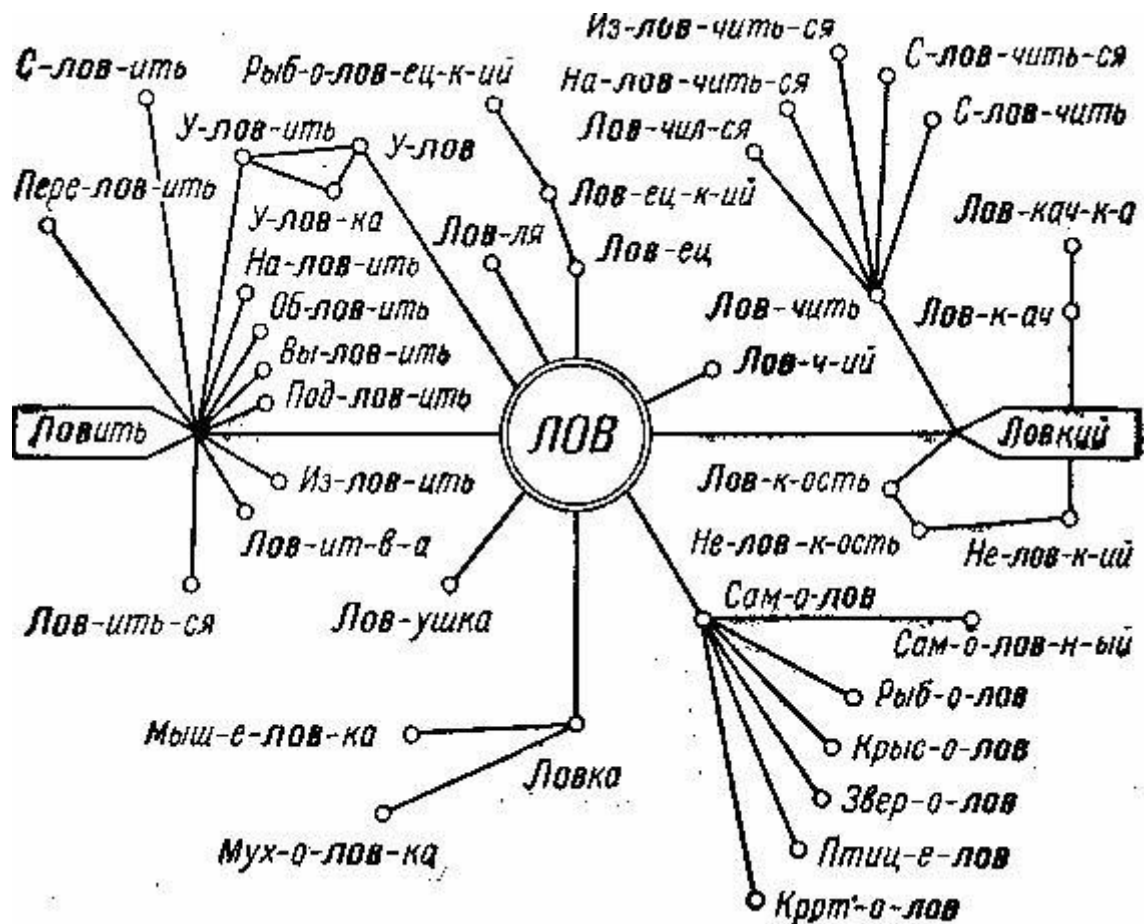
В поучении Владимира Мономаха детям тоже говорится, что великий князь много трудился, всю жизнь «ловы дея»: он связал своими руками 10 и 20 диких коней, охотился и на других зверей. Он же сообщает, что "сам держал ловчий наряд", то есть содержал в порядке охоту, конюшню, ястребов и соколов.

Значит, уже в XI веке слова «лов», «ловчий», «ловитва» существовали и были известны русскому народу. Слово «лов» означало тогда охоту, «ловлю» сетями или силками. Позднее, несколько веков спустя, оно приобрело иное значение: в многочисленных грамотах Московской Руси упоминаются «бобровые ловы», «рыбные ловы», которые один собственник передает или завещает другому. Очевидно, теперь «лов» стало значить уже не только действие того, кто охотится, а и место, на котором можно промышлять зверя. Но в обоих этих значениях сохраняется одна сущность: «лов» — это охота при помощи «поимки» добычи. Один и тот же корень живет и там и здесь.

И сейчас в нашем языке имеется слово «лов». Мы тоже понимаем его не совсем так, как понимал Мономах или московские подьячие времен царя Ивана IV. Иногда мы можем встретить выражение "начался подлёдный **лов** сельди", "закончился осенний **лов** трески". Здесь слово «лов» означает то же, что «ловля рыбы»; начался «лов зайцев» мы не скажем никогда.

Встречается и чуть-чуть отличное от данного употребление слова. "На этом омуте самый большой **ЛОВ**". Тут оно как бы обозначает «способность ловиться», близко к таким словам, как «клёв». Но, как и восемь веков назад, для нас совершенно ясна живая связь между всеми этими словами. Во всех них живет и дает им жизнь все тот же древний корень «лов».

Слова-родичи, потомки корня «лов-», к нашему времени образовали в русском языке обширную семью, **большое гнездо**. Я выписал их в виде схемы. Вглядитесь в многочисленное потомство старого «лова».



«Деды» и «внуки» различаются по многим признакам. Во-первых, тут есть слова очень древние и совсем новые⁸⁹. Слово «ловитва», например, в нашем современном языке совсем не употребляется; даже во времена Пушкина оно представлялось уже старинным, неживым словом. Им пользовались только в «высокой» речи, в стихах и других литературных произведениях⁹⁰. В «Словаре современного русского языка» вы его не найдете, хотя, встретив

⁸⁹ Читатели предлагают мне добавить сюда множество таких новых и новейших образований с корнем «лов»: лов-итки (пятнашки), само-лов-ка (верша, рыболовная снасть), тигро-лов, блох-о-лов, ондатро-лов (все — официальные названия профессий).

⁹⁰ Интересно, что А. Майков в стихотворении «Кто он?» употребляет это слово в значении «рыбная ловля». «Старый рыбак» у него говорит Петру Великому:

Да теперь мне что в ловитве?

Вишь, какая здесь возня!

Вы дрались, а бомбой в битве

Челн прошибло у меня...

Я думаю, в последний раз слово «ловитва» употребил в русском стихе поэт К. Д. Бальмонт в 1913 году:

Говорят, что пляска есть молитва,

Говорят, что просто есть круженье...

Может быть ЛОВИТВА или битва,

Разных чувств — в движеньи — отраженье...

его в какой-нибудь старой книге, поймете без особого труда. Очевидно, оно находится у самого внешнего края большого круга нашей схемы; оно готово вот-вот выпасть из словарного состава языка.

Очень старым является такое слово, как «ловчий». Но все же оно кажется нам более живым. Помните, у Крылова в басне «Волк на псарне» еще действует **ловчий**, с которым беседует серый разбойник? Слово это употребляется нами сейчас очень редко; однако в языке людей, занимающихся охотой, вы, пожалуй, еще и теперь встретите его. Стоит охоте с гончими собаками занять у нас место массового спорта (а это вполне возможно), и слово «ловчий» может ожить, как ожило во дни боев Отечественной войны слово «надолба», как воскрес на футбольном поле старый монастырский «вратарь». Да еще не только воскрес, а положил на обе лопатки иноплеменного «голкипера». Очевидно, слово «ловчий» все еще является законным обитателем «большого круга» — словарного состава русской речи.

Совершенной противоположностью этим словам являются такие, как «ловчить» или «ловчило». Они зарегистрированы в «Словаре современного языка». Но еще каких-нибудь столет назад их никто не знал и не слышал. Ученые проследили историю их появления. Пришли они в общий язык из военного жаргона, из тех слов, которые произвели для своих нужд офицеры и юнкера царской армии. «Ловчить» у них значило: умело и пронырливо пользоваться обстоятельствами; «ловчилой» назывался проныра, «ловкач».

Можно думать, что этим случайно родившимся словечкам не суждена долгая и плодотворная жизнь. Пройдет немного лет, и они исчезнут. Только в письменных памятниках прошлого найдет их будущий ученый, как сейчас он находит в них старое слово «ловитва». Они — временные гости нашего словарного запаса. Пусть живут в нем. Но им никогда не проникнуть внутрь **основного словарного фонда**.

В особенном положении находится слово «неловкость». Оно замечательно тем, что, исходя от того же старого корня «лов», имеет значение, очень далекое от понятий «поймать», «схватить», «сделать своей добычей».

Что значит, когда я говорю: «Ах, вчера я случайно совершил такую неловкость!»? Это значит: "Я допустил неправильный поступок, вел себя как неумелый, **неловкий человек**".

Слово «неловкость», хоть и несет в себе корень «лов», но здесь он употребляется нами в **совершенно новом, очень удаленном от первоначального, смысле**. Мы еще чувствуем связь слова «неловкость» со словом «ловкий» или «ловкач», а вот его связь со словами «ловля», «ловец» или «лов» совсем утратилась (если искать связи не только звуковой, но и по смыслу).

Сказать: «Я сделал неловкость» можно; но попробуйте скажите: «он допустил» или "он сделал,,**ловкость**""! Так выразиться нельзя. И получается, что теперь в языке образовалось уже нечто вроде нового корня «нелов», который почти совершенно отделился от старого «лов».

Слово «неловкость» принадлежит тоже к числу потомков «лова», родившихся почти на наших глазах в течение последнего столетия. Трудно сказать, какова будет его дальнейшая судьба и проникнет ли оно во внутренний круг, в основной словарный фонд нашего языка, породит ли оно там какое-нибудь свое потомство. Но в первом круге, в **словарном составе**, оно заняло свое прочное место. Многие, весьма многие из потомков «лова» имеют теперь уже свои обширные семьи.

С «лов» непосредственно связан глагол «лов-ить». А от него пошло великое множество производных глаголов; они были бы немыслимы без него: «на-лов-ить», «вы-лов-ить», «об-лов-ить», «об-лав-ливать». Легко заметить, что в последнем глаголе (так же как и в слове «облава»⁹¹) старый корень «лов» является перед нами уже в виде «лав», так что не каждый и не сразу тут его узнает.

Однако нас сейчас среди этого хоровода слов интересует только одно прилагательное, также происходящее от того же корня. Это «лов-кий».

Слово «ловкий» хорошо знакомо каждому; вряд ли кто-либо заподозрит в нем наличие какой-нибудь странности, неожиданности, загадочности. Тем не менее оно тоже ставит перед

⁹¹ По поводу слова «облава» в языкознании существует мнение, согласно которому тут мы имеем дело уже с другим корнем, не связанным непосредственно с «лов».

исследователем языка довольно любопытные задачи.

Попросите нескольких ваших знакомых, чтобы они объяснили вам, что́, по их мнению, значит слово «ловкий».

Несомненно, большинство из них, подумав, скажет примерно так: «Ловкий? Гм... ловкий... Ну, это значит: изящно, сноровисто двигающийся, хорошо развитой физически... Ловкий физкультурник. Ловкий акробат или наездник... Мало ли...»

Справившись в современном словаре, вы увидите, что и он согласен с таким определением. В словаре Д. Н. Ушакова сказано:

"ЛОВКИЙ, -ая, -ое: 1. Искусный в движениях, обнаруживающий большую физическую сноровку, гибкость...

2. Изворотливый, умеющий найти выход из всякого положения.

3. Удобный".

Действительно, рядом с «ловкий вратарь» мы часто слышим и «ловкий жулик» или "какой-то мне **неловкий** стул попался".

Но интересно вот что. Заглянув в словарь XVIII века, вы тоже найдете там слово «ловкий». Однако толкование этого слова удивит вас своей неожиданностью.

Там совершенно не будет указано наше современное, **основное**, первое значение этого слова: «искусно в движениях», «гибкий телом». Очевидно, его тогда совсем не знал язык. Статья словаря тех времен о слове «ловкий» выглядит примерно так:

"ЛОВКИЙ, -ая, -ое: 1. Сручной, удобный на обхват и держание: ловкий инструмент, ловкое топорище...

2. Двум господам слуга (то есть плут, двуличный человек)".

Нетрудно разобрать, что тогдашнее первое, основное, значение слова сохранилось и до нашего времени; только теперь оно стало для нас второстепенным и стоит под № 3: «удобный». Старое второе значение осталось вторым и у нас.

Но сто́ит обратить внимание вот на что: есть тонкая разница между выражениями «ловкое кресло» или «ловкое седло», с одной стороны, и «ловкое топорище», «ловкое косовье», «ловкая ручка, рукоять» — с другой. В чем эта разница?

Да в том, что и «косовье» и «рукоять» могут называться «ловкими» именно потому, что они хорошо **ловятся** охватывающей их рукой, подходят к этой руке. Здесь язык еще довольно ясно чувствует в слове, которое означает «удобный», самое исконное значение корня слов — «брать руками», «ловить». Недаром языковеды XVIII века вместо «удобный» говорили «сручной».

Когда же мы сейчас произносим: "по этой лестнице **неловко** подниматься", тут начальное значение почти исчезло; осталось и окрепло значение вторичное — «удобно». И его уже не заменить словом «сручно». На таком примере очень ясно, как развивались эти значения. Раньше они были более **картинными**, как говорят — **конкретными**. «Ловкий» значило «удобно охватываемый рукой». Затем постепенно они стали более **общими**, **расплывчатыми** и, выражаясь ученым словом, **абстрактными**. Теперь «ловкий» означает «вообще удобный», удобный и для руки, и для головы, и для всего тела. Теперь говорят: "как **ловко** сидит на нем костюм"; мы даже не замечаем, что, по сути дела, это означает: его костюм сшит так, что он как бы **ловит, обхватывает** его фигуру. Мы понимаем это слово более **абстрактно**: «удобно сидит» — и только⁹².

К великому сожалению лингвистов, во времена еще более ранние, чем XVIII век, у нас не было хороших, полных словарей русского языка, составленных современниками. Есть только такие словари языка тех дней, которые ученые составляют в наши дни. Составить же их сейчас

⁹² В других, близких к русскому, языках могут встречаться и еще дальше отстоящие от первоначального значения слова, происходящие от слова «лов». Так, например, на Украине слово «ловкий» стало уже вообще синонимом слова «хороший»; вы можете услышать там выражения: «ловкая дивчина» или «ловкий борщ», причем ни то ни другое никак не будет правильно понято нами, если мы попробуем разбирать их по уже знакомым нам значениям этого корня. «Ловкая дивчина» — может быть довольно неловкой в движениях, но просто красивой, хорошенькой девушкой. «Ловкий борщ» — это «суп, ловко приготовленный», то есть попросту вкусный.

можно лишь на основании **письменных** свидетельств о языке далекого прошлого, выбирая из старых грамот, рукописей, записей одно за другим все находящиеся в них слова. **Об устной** речи XVI или XIV столетия мы можем теперь только догадываться по косвенным признакам.

Тем не менее тот, кто займется разысканиями о слове «ловкий» по документам и по позднее составленным словарям старорусского языка, будет весьма удивлен: он этого слова там совершенно не встретит.

Вот непонятное явление! В XVIII веке слово «ловкий» существовало и имело даже несколько значений, а в XVI веке его как будто не было вовсе. Правдоподобно ли это? Как же возникло оно потом и когда? Куда делось? Или, вернее, откуда взялось?

Думается, что слово «ловкий» в разных значениях жило в нашем языке, входило в его **словарный состав** и задолго до XVIII века. А не можем мы его обнаружить там лишь потому, что в те времена оно как раз и было словом не **письменной**, а **устной** речи.

Впрочем, и сейчас это так. Подумайте, много ли шансов, что в каком-нибудь служебном заявлении, в переписке между двумя важными учреждениями, в учебниках по различным наукам встретится вам слово «ловкий» или «ловко»?

"Настоящим удостоверяется, что ученик Павлов **ловко** решает задачи". Шансов найти такую фразу не так уж много!

А в устной речи мы его употребляем постоянно. Разница, значит, в том, что в наши нынешние словари мы все же включаем и слова, живущие в устном языке, а лет триста назад этого никто не делал.

Заметьте и другое. В народном устном языке, в разных областных наречиях мы и сегодня можем найти такие значения слова «ловкий», которые не занесены ни в один большой словарь.

Около Пскова⁹³ мне приходилось слышать выражения вроде: «У нас этот черный кот — вот ловкий: мышей пять за ночь поймает!» или: «Рыбу ловить любишь? Ну ладно, сведу тебя на самое на ловкое место».

Вдумайтесь в эти примеры. "**Ловкий** кот" здесь значит: "искусно **ловящий** мышей". «Ловким» называется место, изобильное рыбой, где она хорошо **ловится**. Между тем в наших словарях таких значений, как «удачливый при ловле» или «искусный при ловле», для слова «ловкий» нет. Почему нет? Потому что живут эти значения не в **общерусском языке**, а только в отдельных народных говорах.

Можно наверняка сказать, что и четыреста лет назад в живой устной речи народа существовали все эти значения слова «ловкий». Однако они не попадали в письменные документы. Поэтому мы теперь и не можем найти их там. И именно поэтому лингвисты, когда им приходится восстанавливать словарный состав русского языка далеких прошлых дней, не могут ограничиваться только тем, что они находят в древних бумагах.

Слова «ловкий» нет в старинных грамотах. Но в тех песнях, сказках, былинах, которые русский народ, передавая из уст в уста, хранит долгие века в своей памяти, почти не меняя в них ничего (ведь говорится: «Из песни слова не выкинешь!»), оно имеется. И лингвист уверенно утверждает: значит, оно существовало в языке и тогда, когда эти старые песни и сказки слагались. Правда, оно не попало в письменные документы. Но это еще не доказательство его небытия.

Можно было бы на этом закончить рассказ о корне «лов». Но сто́ит отметить коротко, что корень этот жив не только в одном нашем языке. Древность его такова, что мы находим его же в языках многих братских славянских народов⁹⁴. И в их словарном составе существует немало слов — его потомков, производных от того же «лов». Повсюду каждое из них живет своей особой жизнью. Нет ничего любопытнее, чем сравнивать историю их в нашем языке и в

⁹³ Слово живет и далеко за пределами Псковщины. См., например, у В. Солоухина: «И мы... шли куда-нибудь в „ловкие“ места. „А то еще под Курьяновской кручей очень ловко место“, — говорил Петруха, а я запоминал». (Владимир Солоухин. Владимирские проселки. День шестнадцатый. «Московский рабочий», 1961.)

⁹⁴ Значит, он существовал еще до их разделения, в общеславянском языке-основе. А это было больше тысячелетия назад.

родственников,

Вот взгляните, какие семьи имеет древний «лов» в языках болгар, поляков и чехов:

В болгарском есть слова:

В польском есть слова:

В чешском есть слова:

ло́вица / лов — охота

ло́вы, лов — охота

лов — охота, добыча, улов

ловджи́я / лове́ць — охотник

ло́вчи — охотник

ло́вчи / ло́вец — охотник

ловя́ — ловить, хватать

ло́виць — удить

ло́вити — охотиться, ловить рыбу, зверей

ло́вски — охотничий

лове́цки — охотничий

ло́вцки — охотничий

ловджилък — занятие охотой⁹⁵

ло́виште — место охоты, ловли

В болгарском есть слова:

ловъкъ — ловкий

ло́вка — капкан

ло́вкост — ловкость

лови́тба / лови́тво — ловля

По этой табличке наглядно видно, до какой степени по-разному обращаются все эти языки с одним и тем же общим корнем, как из одного и того же корня рождаются в них совсем разные, хотя и родственные слова, — в каждом языке по его особым законам.

И вот что, кстати, особенно интересно.

У нас, в нашем русском языке, мы знаем слово «ло́вка» — капкан, западня, но встречается оно только в составе сложных слов: «мышеловка», «мухоловка». А в болгарском слово это живет совершенно отдельно: «ло́вка». Можно, значит, думать, что некогда оно так же самостоятельно существовало и у нас.

Любопытно и то, что слова, близкие к нашему «ловкий», имеются только у болгар: «ло́вок» там значит именно «ловкий». Рядом с ним живет и знакомое уже нам слово «сру́чен», то есть «сручно́й, удобный в руке». В чешском же и польском языках корень «лов» не образовал никаких слов, которые значили бы «удобный», «умелый», «гибко движущийся» или «изворотливый». Там эти понятия выражаются словами других корней: по-чешски «ловкий»

⁹⁵ Слово «ловджилък» и «ловджи́я» представляют особый интерес: они образованы из славянского корня «лов» при помощи турецких суффиксов. По-турецки «охотник» — «авджы», поскольку «охота» — «ав», а суффикс «-джи» («-джы») образует имена лиц действующих: «каикджи» — лодочник, «арабаджы» — извозчик, и т. д. По этому образцу создано и болгарское «лов-джи-я». Занятие же чем-либо по-турецки именуется словами с суффиксом (последелогом) «-лук», «-лык». Поэтому «занятие охотой» у турок будет «авджылык», а у болгар соответственно — «ловджилък». Сказалось вековое влияние турецкого порабощения.

будет, как это нам ни удивительно, «о́братны»⁹⁶, по-польски — «спры́тны», «спра́вны».

Таково большое, расселившееся через границы между племенами и между языками гнездо корневого слова «лов» — древнего слова славянских народов-братьев.

СЛОВО, КОТОРОМУ 2000 ЛЕТ

Мы говорили до сих пор о словах, либо принадлежащих русскому языку и его областным говорам, либо (как слова, связанные с корнем «лов») составляющих богатство сравнительно небольшой семьи языков, в данном случае — языков славянских.

Но бывают слова, сумевшие, путем ли заимствования или как-либо иначе, проложить себе путь на гораздо более широкую сцену, постепенно завоевать весь мир, пересекая границы не только между языками, но и между языковыми семьями. Чаще всего так путешествуют не готовые «слова», уже обросшие суффиксами, окончаниями, приставками, а самые корни, или бывает так, что готовое, целое слово одного языка становится основой для языка другого.

Познакомимся с одним или двумя примерами таких слов — завоевателей пространства.

По темной улице пробежал быстрый свет. «Что такое?» — спрашиваете вы. "Ничего особенного! — равнодушно отвечают вам. — Прошла **машина** с яркими фарами..."

Лет сорок — сорок пять назад вы на свой вопрос получили бы, пожалуй, не совсем такой ответ:

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Темный тихий, как сова, *мотор* , -

ответил бы вам, например, около 1910 года поэт А. Блок.

Вы, мой младший современник, несомненно, удивились бы: «То есть как это, мотор пролетает»? Один мотор, без самолета? Я не дивлюсь: и для меня слово «мотор» в те дни значило «автомобиль», «машина».

История соперничества между этими тремя словами очень поучительна: ведь она разыгралась на глазах у нас, старших. Автомобиль — это настолько новое явление в жизни мира, что в русском языке само название его установилось совсем недавно и, я бы сказал, как-то еще неокончательно.

В самом деле: вы теперь, так сказать, «пишете» чаще всего «автомобиль», а «выговариваете» «машина». Услыхав сообщение: "На улице сегодня сотни **машин** ", вы никак не представите себе, что ваша улица сплошь заставлена молотилками или турбинами (хотя ведь это все тоже машины!); вы сразу поймете — на ней много автомашин, автомобилей. И сами скажете: "Сергей Васильевич купил себе **машину** "; верно: как-то не принято в разговоре употреблять слово «автомобиль».

В начале же века фраза: "Они уехали на **машине** " — ни в коем случае не означала «на автомобиле». Под «машиной» в просторечье скорее подразумевали «поезд», «чугунку». Как же именовался тогда **автомобиль** ?

При своем первом вступлении в жизнь, в девятисотых годах, он официально получил именно это, созданное из древних основ, имя. Мы уже знаем: такие названия, как «аэроплан», «автомобиль», «мотоцикл», не существовали в древнем мире: ни грек, ни римлянин не признали бы их своими. Это искусственные слова-гибриды: они склеены в наше время из отдельных древнеримских и древнегреческих частей, сплошь и рядом не одно-, а двуязычных. «Авто» значит «сам» **по-гречески** , «мобилис» — это «подвижной» **по-латыни** ; слово, как видите, «греко-римское»: в природе таких почти не существует.

Значит, «автомобиль» был окрещен сразу же «автомобилем». Но у нас в России столь хитроумному слову не повезло. Оно осталось жить почти исключительно в книжной, письменной речи: в любой энциклопедии вы, конечно, найдете статью «Автомобиль», посвященную этому средству транспорта. В живом же разговорном языке самодвижущаяся

⁹⁶ А чему удивляться? Подумайте о таких наших словах, как «оборотливый», «оборотистый»...

повозка вскоре стала получать другие наименования.

Вероятно, потому, что наиболее поражающей воображение ее частью был совершенно новый тип двигателя — бензиновый мотор, автомобиль вскоре стал «мотором». Удивляться нечему: никаких других «моторов» широкая публика в то время еще не знала; самое это слово, так сказать, приехало в мир «на автомобиле» (отчасти на трамвае; но его "электро мотор" оказался для языка уже чем-то производным от простого мотора). Таким образом, около 1900 года слово «мотор» в смысле «автомобиль» стало общепринятым не только в чисто разговорном просторечье: оно употреблялось в газетах, в переписке, в ведомственных бумагах и даже в ходовых песенках.

На Островах летит стрелой
Мотор вечернею порой.
Шофер, склонившись головою,
Руль держит крепкою рукой... -

распевали мальчишки на улицах Питера в десятых годах нашего века, подражая тогдашним водителям «моторов». Если бы вам теперь сказали: "Наша улица полна **моторов**", — вы бы, вероятно, очень удивились, вообразив густо стоящие на мостовой бензино— или электродвигатели. А я в мои десять лет, в 1910 году, понял бы все как до́лжно: на улице много автомобилей. Ведь «мотор» это и значило «автомобиль».

В те времена от слова «мотор» стали появляться и производные слова. То, что мы теперь именуем «такси» тогда называлось «таксомотор» (впрочем, с недавнего времени слово это снова воскресло у нас: сейчас в Ленинграде можно повсюду встретить объявления о работе «таксомоторных» парков, станций и т. п.). Таким образом казалось, что это наименование для автомобиля сможет удержаться навсегда, а самое слово «автомобиль» исчезнет вместе со своим братом «аэропланом». Но случилось иначе. В советские времена, когда впервые число автомобилей в нашей стране стало понастоящему значительным, когда была основана отечественная автомобильная промышленность, язык резко переменял все. «Автомобиль» утратил имя «мотора»: разных, хорошо знакомых «моторов» и аппаратов с «моторами» стало теперь слишком много везде, начиная с самолета.

В письменном языке окончательно утвердилось название «автомобиль», а язык устный перешел на слово «машина». Это тоже случилось не без основания. Языковеды давно подметили, что из множества всевозможных механизмов люди всегда склонны называть просто «машиной» именно тот, который они встречают чаще других, который им ближе, важнее других, представляется им, так сказать, «машиной всех машин», «машиной» по преимуществу. Велосипедист говорит «машина» о велосипедах, тракторист — о тракторах, а весь народ в целом называет теперь «машиной» именно автомобиль.

Из всего этого вытекает одно: название автомобиля родилось совсем недавно. Оно еще не установилось окончательно: мы слышим то «автомобиль», то «машина», то «автомашина» и даже «таксомотор». Значит, слова эти совсем еще молоды. А вот слову, которое означает деталь автомашины, слову «фары», ему уже не сорок-пятьдесят, а все две тысячи лет, и оно живет и держится. Как получилась такая странность?

В III веке до нашей эры царь Египта Птолемей Филадельф приказал соорудить маяк у входа в шумную гавань города Александрии. Местом для новой башни избрали маленький островок у входа в порт. Островок этот по-гречески назывался «Фа́рос», — некоторые говорят, потому, что издали, с берега, он казался косым парусом идущей в море галеры. А слово «парус» по-гречески звучит именно так: «фа́рос». Впрочем, возможно, что имя это имело и другое происхождение.

Маячная башня вознеслась на 300 локтей в высоту (около 180 метров). Подходившие к городу моряки издали видели языки огня, развеваемые ветром на ее вершине. Слава о Фаросском маяке разнеслась по всей земле. Его стали упоминать в ряде «семи великих чудес света», рядом с пирамидами нильской долины и колоссальной статуей на острове Родос. И так как это был самый замечательный из всех тогдашних маяков, самый знаменитый и самый большой, то все чаще в наиболее далеких углах морского побережья в языках различных

народов вместо слова «маяк» стало звучать слово «фарос»⁹⁷. Сочетание звуков, у греков когда-то означавшее «ветрило», начало теперь на многих языках означать маячный огонь, световой сигнал. Из греческого слово стало международным.

Конечно, переходя из языка в язык, оно несколько меняло свою форму; мы уже знаем, как это бывает. Но все же везде его можно было узнать. Можно узнать его и сейчас.

Заглянем в иностранные словари. В португальском языке вы найдете слова «faro!», «faros», «fagus». Они значат именно «маяк» или «маячный огонь».

Слово «faro» (по-английски буква "a" выговаривается, как «эй») есть в Англии. Тут за ним тоже сохранилось его древнее значение — «маяк».

То же самое значило слово «faro» сперва и у испанцев. Но затем, чуть изменив его, превратив в «faro!», им стали называть всякий уличный фонарь. А затем и каждый фонарь вообще начал именоваться «faro!a».

Позаимствовали от древних мореходов это слово и во Франции. Оно само в форме «fage» означало тут маяк; уменьшительно «farillon» значило рабочий фонарик, малый маячок-мигалка, бакен. Однако к нашим дням слово «фар» (phare, fare) осталось здесь только в одном значении: оно означает именно такого типа фонарь-прожектор, какие мы видим на наших машинах. Всякий другой фонарь именуется совсем не похожими словами, происшедшими от других корней: «лантэрн», ревэрбэр" и т. п.

Есть, как вы знаете, это слово, ставшее давно уже не греческим, не французским, не английским, а всеобщим, международным, и в нашем, русском языке. Тут оно тоже прежде всего означает: «яркий фонарь автомобиля». Но теперь, по сходству между самими предметами, оно применяется и к небольшим прожекторам, укрепляемым на паровозах, самолетах и даже велосипедах. Оно стало значить: «всякий яркий электрический фонарь, снабженный отражающим свет зеркалом».

Но пусть оно значит что угодно. Как только я слышу его, мне мерещится там, за туманом времени, за длинным рядом веков, над далеким старым морем дымный факел Фаросского маяка. Представьте себе ясно, как невообразимо давно это было! Пламя Фароса давным-давно погасло. Рухнула его гордая башня. Искрошились те камни, из которых она была сложена. А самая, казалось бы, хрупкая вещь — человеческое слово, называвшее ее, — живет. Таково могущество языка.

РОДСТВЕННИКИ КАПИТАНА

Из всего того, с чем мы уже познакомились, вы, вероятно, успели заметить, что язык обладает своими особыми вкусами, симпатиями, антипатиями, привычками и привязанностями, зачастую отличными от привычек и вкусов любого отдельного говорящего на нем человека.

Мы видели, как в различных языках появляются свои излюбленные и, наоборот, «презираемые» ими сочетания звуков.

Но и к словам у языка, по-видимому, возникает также **свое**, не всегда вытекающее из личных вкусов людей, отношение.

Весьма часто оно проявляется в труднообъяснимых различиях между судьбами различных заимствованных слов или, еще чаще, корней. Иной раз мы с полным недоумением видим, как какое-либо слово древнего или современного языка, какой-то его корень или основа внезапно и словно бы без особых причин начинает распространяться из языка в язык, все шире и шире, все дальше и дальше, тогда как другие, во всем ему подобные, никак не могут выйти за естественные пределы своей страны.

Довольно широко, как вы только что убедились, расселилось по языкам земли бывшее древнегреческое слово «фарос» (точнее — его корень, слог «фар»). Притом во многие языки оно вошло, почти не меня первоначального смысла.

Случается и обратное: слово не только переходит от народа к народу, но везде на своем

⁹⁷ Примерно так же у нас сейчас появилась склонность любой большой стадион называть «Лужники»: «Воронежские Лужники», «Тбилисские Лужники»...

пути как бы обрastaет новыми и новыми значениями. Один и тот же корень и в родном языке и в чужих дает неожиданно большое число производных слов. И часто даже трудно бывает узнать в далеко расселившихся потомках хоть одну черточку давно забытого предка.

В Древнем Риме в его латинском языке было большое гнездо слов, происходящих от корня «кап». Пожалуй, самым важным и основным из них оказалось на протяжении веков слово «ка'пут» — голова.

Рядом с этим словом, однако, в древних латинских рукописях встречается немало его родственников, его прямых и косвенных потомков. Нам известны такие слова, как «капициум» (capicium) — головной убор известного покроя, «капиталь» (capital) — сначала тоже головной убор, а затем кошелек для денег, в который суеверные римляне «на счастье» вплетали «капилли» (capilli), то есть собственные волосы... Далее следуют «капитулум» (capitulum) — книжная глава, «капителлум» (capitellum) — верхушка столба или колонны, «капиталис» (capitalis) — прилагательное, означавшее «уголовный», то есть связанный с жизнью и смертью, когда дело идет о «голове» человека... Все это одна семья, веточки одного корня «кап».

Не было бы ровно ничего удивительного, если бы некоторые из этих слов были просто унаследованы от римлян другими близкими или родственными им народами: такие вещи происходили со многими латинскими корнями. Но корню «кап» (cap) повезло особенно.

Если я спрошу у вас, что общего между столь различными словами, как «капитан» (слово, живущее во многих языках), «шапка» (слово, казалось бы, чисто русское) и «Уайтчэпел» (название района английской столицы, заселенного беднотой), вы наверняка ответите, что ничего общего между ними не усматриваете ни по смыслу, ни по звукам. А на самом деле слова эти — близкие родственники.

Прежде всего зададим себе вопрос: что означает звание «капитан»? Капитан — это тот, кому положено командовать в армии ротой, быть ее **главой**, как «полковник» является «главой полка». Слово «капитан» — нерусского происхождения; это — слово, давно ставшее международным. По-французски соответствующее звание будет «капитэн» (пишется: capitaine), по-английски — «кэптин» (captain). Итальянец именуется командира роты «иль капитане» (il capitano), испанец — «эль капитан» (el capitán). Попало это слово даже в турецкий язык: одно из высших морских званий там одно время было «капудан-паша», нечто вроде адмирала. Но ведь и у нас капитан — глава не только роты, но и экипажа корабля.

Ни в одном из этих языков, однако, слово «капитан», как бы оно ни произносилось, не связывается с другими их словами. Как и по-русски, оно в них стоит совершенно особняком; его нельзя объяснить при помощи других слов, как можно, например, слово «облако» объяснить при посредстве слова «обволакивать» или слово «ловкий» — при помощи слова «ловить».

А вот в Древнем Риме такое объяснение могло быть дано очень легко и просто: «капитан», естественно, одного корня с «ка'пут» (caput) — «голова», потому что слова эти близки по смыслу. «Капитан» значит: «главный», то есть «головной». Это так же понятно, как понятно нам дореволюционное звание «градского головы», которым наделялся председатель Городской думы.

В наши современные языки, в языки народов Европы, проникло огромное число слов, производных от древнелатинского корня «кап», слов, так или иначе связанных с понятием «головы».

Во-первых, здесь большое количество различных названий **головных** уборов. И наша «шапка», как и французское «шапо» (пишется: chapeau), и слово «капор», и английское слово «кэп» (пишется: cap), и южнославянское «капи'ца», и ставшее чисто русским «кепка» — всё это, с точки зрения лингвиста, различные «наголовники», головные уборы. Все они — отдаленные потомки того же латинского «капут».

Во-вторых, тут немало слов, означающих так или иначе «верхнюю часть» какого-либо предмета, его «голову», «главу».

Многим из нас, несомненно, попадалось в различных русских описаниях архитектурных памятников слово «капитель». Так называют верхнюю часть, «голову» колонны.

В нашем языке купол церкви много столетий именовался «главой».

Перед нами
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы...

А. С. Пушкин

«Глава» и значит «голова». Это понятие могло легко перейти на купола церквей и в других языках. Так оно и было. Латинское слово «капе́лла», потом во французском языке зазвучавшее как «шпель» (chapelle), надо полагать, также связано с понятием о «главе». А значило оно: часовня, церковка с одним алтарем. В славянских языках это слово превратилось в слово «каплица» (часовня). В английском оно же дало слово «чэпел» (пишется: chapel). Название, которое привлекло наше внимание, — «Уайтчэпел» — означает: не более не менее, как «белая часовня». Можно полагать, что оно, в свою очередь, связано сложными и давними связями с тем же римским корнем.

Но этого мало. К нему же «восходят» и бесчисленные другие наши слова и термины, часто весьма важные, часто употребляющиеся, применяющиеся в самых различных языках.

«Капитал», «капиталист», «капитализм», «капиталистический» — все это потомство латинского «капиталь», означавшего «кошелек со вплетенными в него волосами хозяина», или «капиталис», значившего: «самое основное, главное, важнейшее».

«Капи́тул» еще недавно в русском чиновничьем языке означало «место собрания», особое учреждение. В дореволюционной России «Капи́тул орденов» ведал всеми делами о награждениях и помещался в столице — Петербурге.

Русский язык для термина, являющегося названием раздела текста, взял славянского происхождения слово «глава». Но и тут значило-то оно: «голова», «сарут».

Во многих же западноевропейских языках для той же цели был использован не «отечественный», а латинский корень, означающий голову: у французов «глава» — «шапи́тр» (chapitre), у англичан — «чэптэ» (chapter), в Германии — «капи́тель» (Kapitel). Все эти слова идут от латинского «капи́тулум», которое среди других значений имело также: «книжная глава», «оглавление». От «ка́пут» происходит и наименование католического монашеского ордена капуци́нов: его головным убором были особые колпаки — «капу́ццы». От «ка́пут» родился и тот панический, на всех языках ставший понятным возглас: «Капу́т!», с которым сдавались в плен во время Великой Отечественной войны фашистские головорезы.

Вот какой, действительно гигантский, круг потомков оставил по себе один из корней давно замолкшего языка — латыни.

Разумеется, не вполне случайно, что именно он и порожденные им слова приобрели такую удивительную популярность, такое широкое распространение: слишком уж важным, поистине одним из «главных», «капитальных», являлось и является понятие «голова» в жизни человека.

Любопытно отметить, однако, что в самом латинском языке к концу его существования, — вероятно, именно благодаря непомерно выросшему числу слов, родственных с «капут» (голова), — возникла необходимость заменить его каким-либо другим, более «сильным», менее «стершимся» от постоянного употребления словом. Прежде всего необходимость эту почувствовало тогдашнее «просторечье», тот «вульгарный» язык, на котором говорили городские низы. В их

речи слово «капут» постепенно перестало употребляться. Его заменило другое, более «грубое», но зато и более выразительное слово — «тэста»; первоначально оно значило «глиняный горшок», затем «черепок», потом «череп» и наконец «голова». Произошло точь-в-точь то, что происходит у нас, когда мы говорим иронически про человека: "У него котелок не работает" или: "Да у него чердак совсем пустой".

Но подобные словечки у нас остаются пока на задворках языка, а римскому «черепку» — «тэсте» — посчастливилось. Во многих современных нам романских языках слова, означающие голову, происходят именно от этой простонародной «тэсты», а не от аристократического «капут». По-каталонски «голова» — «тэста», так же как в провансальском и итальянском языках. По-французски она — «тэт». Очевидно, в формировании этих языков принимала участие не книжная, не литературная, а народная латынь. А вот в испанском языке «голова» означает словом «кабе́цца», да румыны именуют ее «кап». Чем это объяснить? Можно предполагать, что те римские воины и поселенцы, которые занесли латинский язык в Древнюю Иберию и на берега Дуная, ушли из своего отечества до того, как слово «тэста» окончательно взяло верх над «капут».

Рассматривая членов семьи этого «капут», его внуков и правнуков, удивляешься, до чего дошла разница между ними. Что общего между древним римским «капут» и современным английским «чептэ» или между важным, сановным словом «капитул» и нашим задорным «кепочка»? Но нас этим не поразишь: мы уже видели, как сильно меняются слова, как много они теряют и как много приобретают, переходя из одного языка в другой или даже просто существуя долгие века в устах одного народа.

Да, внуки не похожи на дедов, и двоюродные братья друг на друга: нелегко установить родство между ними. Впрочем, так же нелегко разоблачить и иных «самозванцев». Латинское слово «капелла» (capella) — «козочка» — очень напоминает «капи́лла» (capilla) — «волос», а происходит от «ка́пра» (capra) — «коза». Да и наши русские «ка́пля» или «капе́ль» тоже похожи и на «капе́лла» и на «капи́лла», а общего между ними нет решительно ничего.

Глава 6. ГЛОКАЯ КУЗДРА



Мы теперь хорошо знаем, что такое слово, целое живое слово, — слово, так сказать, «видимое снаружи».

Мы рассматривали разные слова. Нам известно кое-что и об их жизни. Мы знаем: подобно тому как машина бывает сделана из железа и меди, так и слово состоит из звуков.

Но ведь машина не просто «состоит» из железа. Железо — только материал, который образует ее части. Человеческое тело тоже не «состоит» просто из клеток: из них состоят его органы. Оно же само **устроено** уже из этих органов, и устроено очень сложно.

Никто не мешает нам задать себе вопрос: а как же **устроено** слово нашей речи? Из каких **частей** состоит оно? Что у него **внутри** ?

Попробуем приглядеться к **анатомии слова** . Для этого придется вскрыть его, так сказать, развинтить, разять на части. Начнем мы и тут издалека.

«КАЛЕВАЛА» И «ГАЙАВАТА»

Около полувека назад в нашей литературе одно за другим произошли два замечательных события. На русский язык были заново переведены интереснейшие произведения: «Гайава́та» — собрание преданий североамериканских индейцев-ирокезов, обработанное и изданное в свое время знаменитым поэтом Генри Лонгфелло, и прекрасный свод карело-финских народных легенд — «Ка́левала».

«Гайавата» была переведена с английского языка И. Буниным, «Калевала» — прямо с финского Л. Бельским.

Оба перевода имели одну интересную для нас особенность: и там и тут стихи были написаны совершенно одинаковым четырехстопным и восьмисложным размером. Сходство настолько велико, что какой-нибудь шутник-декламатор мог бы, начав читать «Калевалу», затем незаметно перейти к стихам из «Гайаваты», и люди неосведомленные не заметили бы этого перехода. Судите сами:

Мне пришло одно желанье,
Я одну задумал думу, -
Чтобы к пенью быть готовым,
Чтоб начать скорее слово,
Чтобы спеть мне предков песню,
Рода нашего напевы...

Это «Калевала».

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды,
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? -
Я скажу вам, я отвечу...

А это «Гайавата».

Такое удивительное сходство не было случайным. Обе поэмы передают сказания народов, родившиеся и созревшие в далекой глубине времен. Дух их во многом одинаков. Что же до стихотворной формы, то она оказалась одинаковой в обоих случаях по особой причине: Лонгфелло после долгих поисков принял для своей работы именно тот размер⁹⁸, который нашел в финских записях «Калевалы». Все это не более как курьезное совпадение, но для нас сейчас оно имеет особое значение.

И Бунин и Бельский были хорошими мастерами стихотворного перевода; они справились со своими задачами отлично. Но любопытная вещь: в предисловиях к книгам оба обратили внимание на чрезвычайную трудность, с которой встретился каждый из них. В чем она заключалась?

Вот тут-то и начинается самое занятное.

Л. Бельский горько жаловался на **чрезвычайную краткость русских слов**. Финские слова, говорил он, отличаются удивительной сложностью состава и непомерной длиной. В восьмисложную строку финн уместит два, редко-редко три слова. Русских же слов, чтобы заполнить то же пространство, требуется три-четыре, порою пять, а в отдельных случаях и шесть. Вот сравните первые строки «Калевалы» в финском подлиннике и в переводе Бельского:

Mielleni minun tekevi,
Мне пришло одно желанье,

Aivoni ajatelevi.
Я одну задумал думу, -

LShteani laualamahan.
Чтобы к пенью быть готовым,

Sa'ani sanelemahan
Чтоб начать скорее слово,

Sukuvirtta suoltamahan,
Чтобы спеть мне предков песню,

Lajivirtta laulamahan...
Рода нашего напевы...

При таком соотношении получается, конечно, очень неприятная вещь: русская речь все время как бы опережает финскую: финский стих непрерывно отстает. А все дело в том, что

⁹⁸ А отчасти и тот стиль и слог.

русские слова очень коротки.

Все это звучит вполне естественно, тем более что Бельский приводил в виде примера такие действительно довольно длинные финские слова, как «Sananlennatinvirkkamies», означающее «телеграфист»: одного такого слова вполне хватит на целую строку «Калевалы», — в нем как раз восемь слогов, если не все девять.

Но беда-то вот в чем: Бунин сетовал на прямо противоположную трудность. Он указывал на **непомерную длину русских слов**, делающую особенно мучительным перевод с английского языка, слова которого весьма коротки. Восьмисложная строка лонгфелловской поэмы вмещает в себя пять, семь и даже восемь английских слов, а русских в нее еле-еле уложишь четыре, пять, да и то редко. Английский стих бежит вперед, как подстегнутый; русский безнадежно и медлительно отстает... А в чем дело? Дело в большой длине русских слов!

И, подобно Бельскому, Бунин иллюстрировал свои жалобы подбором множества коротких слов — английских. Они в подавляющем большинстве были односложными: «бук» (book) — книга, «пэн» (pen) — перо, «биг» (big) — большой, «пиг» (pig) — свинья, «ту рид» (read) — читать, и т. д.

Все это производит крайне странное впечатление. Каковы же, спрашивается, на самом деле русские слова — длинны они или коротки? Кому верить? Но, с другой стороны, как можно говорить так о словах какого бы то ни было языка? Ведь, наверное, в каждом встречаются среди них и более длинные и более короткие... Разве у слов, как у призываемых на военную службу новобранцев, можно установить какую-то среднюю норму «роста»?

А в то же время, если на деле английские слова почему-то всегда оказываются короче русских, а русские короче финских, то отчего это зависит? Пожалуй, тогда любопытно поставить такой оригинальный вопрос: какое из человеческих слов является самым длинным во всем мире и, наоборот, которое из них может получить звание чемпиона краткости?

Такой вопрос поставить можно. Правда, ученый-языковед вряд ли отнесется к нему благожелательно. Вероятнее всего, он назовет его «не имеющим никакого интереса», может быть, даже «пустым». Но ведь мы пока еще не ученые-языковеды; нас и это может заинтересовать. А разбирая даже столь несерьезную проблему, мы можем попутно столкнуться с такими явлениями внутри слова, с такими его особенностями, с такими закономерностями, свойственными различным человеческим языкам, которые никак уж не назовешь ни малозначительными, ни несерьезными. Так не будем стесняться поднимать и так называемые «пустые вопросы». Как сказал когда-то Д. И. Менделеев, «истина часто добывается изучением предметов на взгляд малозначащих».

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РОБИНЗОН КРУЗО

Вот вам задача: садитесь и напишите на русском языке самый маленький рассказик, строк в пять или десять, но так, чтобы в нем не было ни единого слова больше чем в один слог «длиной».

Сделать такую вещь **всерьез** почти невозможно. Шутки ради попытаться можно:

"Я в тот миг шел с гор в лес. Шел вниз, там, где ключ. Влез в лог. Глядь — кто там? Пень или зверь? Ой нет, то — барс! Я так, сяк... Мой ствол пуст, пуль нет... Как быть? Вот я стал бел, как мел... Раз — и в тень! Цап за нож, а нож — бряк у ног вниз, в мох... Ни сядь, ни встань! Бьет дрожь... Во лбу гром, звон, хоть плачь! И что за страх? Стыд и срам...

Вдруг из-под трав — шасть еж! Хвать мышь за хвост — и в куст: чтоб мышь ням-ням. Чтоб съесть! Я в сей бок, барс в тот! Скок, прыг... Шаг, два, три, пять, сто... Все вдаль, все вдаль!.. Где зверь? Вдруг — мрак, глушь, тишь...

Я сел на пень. Зуб о зуб так: щелк, щелк! А мне в мозг мысль: ведь я трус! Да! да! Трус!"

Как видите, я довольно долго боролся с тем твердым законом русского языка, который не позволяет нам обходиться только односложными словами. Нельзя сказать, чтобы я одержал полную победу: рассказик получился неважный: читать его так же трудно, как идти по

железнодорожным шпалам⁹⁹.

А ведь надо заметить, что я составлял его очень простым способом, подбирая, так сказать, не слова по мысли, а подходящие мысли по заранее намеченным словам. Куда труднее было бы рассказать или пересказать таким образом даже самую простую, но уже готовую историю. Но вот однажды мне лопала в руки довольно толстая английская книжка: «Робинзон Крузо» для самых младших школьников, едва начинающих читать.

Поверьте, если можете: заботливые британские педагоги переписали весь роман так, что в нем, кроме имен собственных, не осталось ни единого слова длиннее, чем в один слог! И, надо сказать, на первый, по крайней мере, взгляд и слух, эта искусственность не бросалась в глаза, не была очень заметной. Почему?

Чтобы понять это, достаточно прочитать (даже не понимая их смысла) любые несколько строк из какого угодно английского стихотворения. Возьмем для примера хотя бы начало серьезной, отнюдь не шуточной, поэмы Дж. Байрона: «Шильонский узник».

My hair is grey, but not with years,
Nor grew it white in a single night,
As men's have grown from sudden fears..."

Наверное, вы помните, как звучит это начало в превосходном русском переводе его, сделанном В. А. Жуковским:

Взгляните на меня: я сед,
Но не от хилости и лет;
Не страх внезапный в ночь одну
До срока дал мне седину...

В подлинном тексте — 23 слова, в русском — 22. Но Байрону понадобились три восьмисложные строки там, где Жуковский едва уложился в четыре. Откуда взялась лишняя строка? Подсчитайте: из английских слов односложны, строго говоря, 21, потому что такие слова, как «have» (произносится «хэв») и «white» (звучит как «уайт»), для англичанина имеют явно по одному слогу и только «single» и «sudden» являются двусложными. А в русском переводе?

У Жуковского односложных слов только 15, двусложных — 3. Остальные четыре («внезапный», «хилости», «взгляните» и «седину») содержат по три слога каждое.

Нельзя при этом забывать, что В. А. Жуковский, безусловно, очень старательно подыскивал для перевода самые короткие русские слова; не мог же он допустить, чтобы строка Байрона по-русски стала в полтора или два раз длиннее!

Теперь ясно: английскому языку «краткословие» действительно очень свойственно. Более того, англичанина затрудняет произнесение слов больше чем в дватри слога длиной: таких в его словарном запасе крайне мало. По этому поводу можно даже вспомнить забавный рассказ.

Один человек, русский, поспорил будто бы с неким заносчивым англичанином, чей язык труднее изучить. Чванливый британец полагал, что трудность языка — лучшее доказательство его совершенства, и страшно кичился своим знаменитым по сложности произношением. «Попробуйте научиться выговаривать эти звуки правильно! — хвастался он. — А у вас? Ну какие там у вас затруднения? Да я выучусь по-русски в несколько дней!»

Пока дело шло о произношении звуков и о их изображении на письме, русскому и впрямь

⁹⁹ В давно забытой книжке «Занимательное стихосложение» Шульговского приводился такой стихотворный пример на «краткосложные слова»:

Гол бес шел в лес,
Вдруг — стоп: жук в лоб!
Бес рад: влез в ад.
Ей-ей, «стих» так же плох, как мой рассказ!

пришлось туговато: он чуть было не сдался. Самонадеянный соперник торжествовал уже.

Но вот началось чтение текста. "И тут, — говорит автор, — я задал ему прочитать одну фразу. Самую безобидную фразу: "Берег был покрыт **выкарабкивающимися** из воды лягушками". «А, голубчик, — сказал я ему. — Что? Не выходит? Пустяки! Заучите это наизусть! Ничего, ничего, не пугайтесь: я не спешу...»

Затем я рассмеялся сатанинским смехом и ушел. А он остался **выкарабкиваться** из этой фразы. Выкарабкивается он из нее и до сих пор".

Как говорит итальянская поговорка: «Если это и не правда, то это хорошая выдумка».

Так обстоит дело с английским языком. А с финским — наоборот. Слова финской речи, конечно, бывают самого различного «размера», порой даже короче соответствующих русских: работа — «тюо»; девушка — «нэйто»; пуговица — «на'ппи». Но для финского языка характерны не короткие, а, наоборот, очень длинные, многосложные слова:

босой — пальясйалькайнен,

десант — маихинноусуйоукко,

диспансер — тервеюдентаркастуслаитос,

доставка — периллетоимиттаминен,

отчет — тоиминтакертомус.

Именно они приводили в отчаяние Бельского, переводчика «Калевалы». Именно по сравнению с ними наши русские слова по своей «длине», по числу звуков и слогов, на которые их можно разделить, кажутся такими «коротенькими». Именно их мы и будем иметь в виду, разрешая вопрос о причинах «длиннословия» и «краткословия» различных языков.

Так что же? Финский язык как раз и является всемирным чемпионом такого, «длиннословия»? Отнюдь нет! И Бельского и Бунина, который с таким трудом переводил «Гайавату» с английского, «краткословного» языка, могло бы утешить одно соображение: их труд был «детской игрой» по сравнению с работой американских фольклористов, собиравших и перелагавших индейские легенды в английские стихи. Почему? Да потому, что им-то ведь приходилось иметь дело с **индейским** языком. А вот полюбуйте на индейское (племени паю'т) слово, которое сами лингвисты называют «немножко длинноватым даже и для этого языка, но все же отнюдь для него не чудовищным»:

«Виитокучумпункрюганиюгвивантумю».

Ничего себе словечко, а?

Очевидно, способность к производству либо очень коротких (то есть малосложных), либо очень длинных (многосложных) слов бывает действительно не в одинаковой мере свойственна всем языкам.

Но тогда ответ на вопрос «От чего зависит и чем регулируется, управляется эта способность?» — является уже отнюдь не пустым вопросом.

АНАТОМИЯ СЛОВА

Когда мы рассматривали гнездо корня «лов», нам встречались слова разного «состава» и разного «размера».

Мы видели и русские и болгарские «лов», равнозначные слову «охота». Они были замечательны тем, что состояли как будто «из одного только корня».

Слово:

Корень:

ЛОВ

—ЛОВ-

ДОМ
—ДОМ-

ЁЖ
—ЁЖ-

Однако рядом с этими словами мы встречали и совершенно иначе устроенные:

Слово:

Префикс:

Корень:

Другие части:

ЛОВИТЬ

—ЛОВ-
+ ИТЬ

ЛОВЛЯ

—ЛОВ-
+ ЛЯ

НАЛОВИТЬ

НА +
—ЛОВ-
+ ИТЬ

НАЛОВЛЕННЫЙ

НА +
—ЛОВ-
+ Л + ЕН + Н + ЫЙ

В этом как будто нег ничего удивительного. Любой школьник отлично знает, что́ это за части. Это так называемые **аффиксы**. Они разделяются на **приставки**, стоящие **перед** корнем, **суффиксы** — следующие за ним, и **окончания**, место которых на конце слова.

Каждому известно: мало слов, которые состояли бы из **одного лишь корня**. Большинство устроено гораздо сложнее. Но что же тут интересного?

А вот, например, что.

Совершенно ясно: «краткость» и «длина» русских слов прямо пропорциональны сложности их устройства. Слова, состоящие из одного только корня, волей-неволей короче, чем те, которые построены из корня и других частей. Но тогда приходится, по-видимому, сказать, что в нашем основном вопросе — какое слово самое длинное? — всё дело в аффиксах слов. Видимо, те языки, которые богаче и щедрее в употреблении аффиксов, имеют более длинные слова: там же, где их роль меньше, где их не так много, там и слова короче.

Это бесспорно, если только все языки строят свои слова по тому же способу, что и русский язык, то есть присоединяя к короткому корню множество дополнительных частей и перед ним и после него. Но верно ли такое предположение? Нет, не верно.

ЯЗЫКИ «НА ШИПАХ», ЯЗЫКИ «РОССЫПЬЮ» И ЯЗЫКИ «НА КЛЕЮ»...

Посмотрим, как склоняется слово «рука» в русском и в болгарском языках.

По-русски:

По-болгарски:

Именительный

рук-а
ръка

Родительный

рук-и
на ръка

Дательный

рук-е
на ръка

Винительный

рук-у
ръка

Творительный

рук-ой
с ръка

Очень легко заметить разницу. В русском языке «склонять» — это значит изменять само слово, присоединяя к одному и тому **корню** все новые и новые окончания.

А в языке болгарском «склонять» — значит, **ничего не меняя в самом слове**, сочетать его то с тем, то с другим предлогом. Та работа, которую у нас выполняют при этом окончания, то есть части самого слова, там выполняется совсем другими словами — предлогами. Значит, бывают языки, где аффиксы играют меньшую роль, чем у нас. (Правда, сто́ит в болгарском языке перейти от единственного числа к множественному, как положение изменится: изменение появится и тут: «ру́ки» по-болгарски будет «руце́». Но все падежи множественного числа опять-таки ничем не изменят этой единой формы слова.)

Возьмем теперь другой пример и из другого языка.

Вот русское слово «мочь».

Вот английский глагол «кэн» (мочь).

Оба глагола можно спрягать:

Я мог-у
I can

Ты мож-е-шь
You can¹⁰⁰

Он мож-е-т
He can

Мы мож-е-м
We can

Вы мож-е-т-е
You can

Они мог-у-т

¹⁰⁰ Буквально это значит: «вы можете», — форма второго лица единственного числа в английском языке неупотребительна.

they can

Как видите, многочисленным и разнообразным суффиксам и окончаниям русского языка **внутри** английского слова **ничего не соответствует**. А **вне его** их работу исполняют, местоимения «ай», «хи», «уй», то есть "я", «он», «мы» и т. д.

Точно так же мы, чтобы от одного слова произвести другое, применяем наши суффиксы (смех — сме+ять+ся; дом — дом+ик), приставки (за+сме+ять+ся) и окончания.

А англичане для той же надобности очень часто **ничего не меняют в самом слове**. Но перед ним, для производства, скажем, глагола от существительного, они ставят словечко «ту». Это «ту» как бы говорит: «Внимание! Здесь данное слово, то же слово, надо понимать уже не как существительное, а как неопределенную форму глагола!»

Так, по-английски:

трэйд (trade)

— работа

(to trade)

ту трэйд

— работать

бридж (bridge)

— мост

(to bridge)

ту бридж

— строить мосты

нок (knock)

— стук

(to knock)

ту нок

— стучать

Мы, спрягая глагол, меняем суффиксы и окончания. А они, как вы видите, довольствуются тем, что, ничего в нем не трогая, ставят перед ним различные местоимения:

Я мог...

мы мог...

ты мог...

вы мог...

он мог...

они мог...

она мог...

По-русски нельзя осмысленно сказать «я сме...» или «он работ...», а по-английски — пожалуйста.

Зато мы спокойно говорим просто «смеюсь», и все понимают, что речь идет обо мне, а не о нем и не о тебе.

По-английски же это немыслимо: никто не разберет, про какое лицо идет речь, если я просто скажу «кэн». Правда, и здесь, как в болгарском языке, нельзя обойтись без оговорок. Глагол «кэн» в этом смысле редкость: все остальные глаголы в третьем лице единственного числа получают все же окончание «-s»:

ай рид

(I read)

но: хи ридс
(he reads)

ай смоук
(I smoke),
но: хи смоукс
(he smokes)

Причастия тоже образуются при помощи особого суффикса «-инг»: «рид-инг» (read-ing) — «читающий»; «смоук-инг» (smok-ing) — «курящий».

Однако, так или иначе, суффиксы, окончания — всё это играет в английском языке несравненно меньшую роль, чем у нас; меньшую даже, нежели в болгарском.

Возьмем для примера то же слово «смоук».

По-английски:

э смоук
— дым, курение, папироса

ту смоук
— курить

ту смоук аут
— выкуривать

ай смоук
— я курю

ю смоук
— вы курите

Не следует только думать, что английский язык является, так сказать, образцовым среди языков с неизменяемыми словами. Совсем нет.

Подобно болгарскому, он еще сравнительно недавно (не забудьте только, что для лингвиста слово «недавно» может означать и пять и десять столетий назад!) был, употребляя научный термин, языком «аффигуирующим». Он тогда походил на наш русский язык или на латынь древности. Как и они, он широко и свободно прибегал к суффиксам, префиксам, окончаниям для изменения и производства слов. Все эти «аффиксы» сливались с корнями и друг с другом очень плотно, как сливаются части деревянных предметов, изготовленных столяром «на шипах». Прирастая к корням, они усложняли состав слова, придавали им, естественно, и всё большую длину.

Затем мало-помалу английский язык потерял эту свою способность. Суффиксы и флексии были уволены, так сказать, в отставку. На их место встали совершенно другие способы и приемы обращения со словами. Дело зашло столь далеко, что, если оно будет и дальше развиваться в этом направлении, английский язык превратится когда-нибудь в язык совершенно иного типа, не «аффигуирующий», не «на шипах». Он может уподобиться тогда тем языкам, которые названы наукой «корневыми», или «изолирующими», и которые несколько десятилетий назад носили еще всем известное, хотя по разным причинам и неправильное, название языков «бесформенных», «аморфных». Если постараться распространить и на них наше несколько легковесное сравнение, их пришлось бы назвать не «клееными» и не «свинченными» языками «на шипах», а «языками россыпью». Сейчас я попытаюсь показать вам, почему такое название к ним подходит.

Пример стопроцентно-корневого, изолирующего языка в его чистом виде подыскать не так-то просто: чаще всего такие языки относятся к малоизвестным языковым семьям и не слишком хорошо изучены. Но кое-какие важные свойства и особенности этого типа можно

наблюдности, рассматривая могучий и древний язык, проживший долгую историческую жизнь и испытавший ряд глубоких изменений. Пять и шесть тысячелетий назад в мире существовало не одно государство, но только Китай дожил как целое с тех пор до наших дней. Были на свете языки шуммерский, ассирийский, хеттский, египетский; от них остались только молчаливые надписи, которые мы расшифровываем с таким трудом. А китайский язык живет и сейчас и изменяется, подобно самым молодым языкам мира. Понятно, что на протяжении такого грандиозного периода он не мог остаться неизменным. Когда-то, предполагают специалисты, он был языком полностью «корневым». Сегодня он все сильнее приобретает черты, свойственные языкам «аффигирующим». Но от прошлого он сохранил достаточно пережитков, чтобы мы могли на его примере уяснить себе лицо «языков россыпью».

Загляните в китайскую грамматику для иностранцев (учебники для самих китайцев написаны иероглифами: в них вам не разобраться). Сразу же вам бросится в глаза одно: небольшая длина, немногосложность слов. Предложения-примеры почти всегда состоят из слов односложного, двусложного, куда реже — трехсложного состава:

«Та бу шо,,шы", е мэй шо,,бу шы"».

Это значит: «Он не хотел говорить,,да", однако не произнес и,,нет"».

Возьмите другую фразу:

«Во вэньго суйдо жэнь ла; тамынь ду шы чжэян шо».

В переводе она значит: «Я расспрашивал уже многих; все говорят одно и то же».

Как видите, слова недлинные, хотя и не все односложные. Китаисты объясняют вам: это естественно. Хотя теперь китайский язык все дальше отходит от первоначального «корневого» типа, все же по происхождению он остается языком корневым и даже более того — моносиллабическим, однослоговым. По этой причине, изучая его, натолкнемся на чрезвычайно любопытные, даже странные для европейца явления и особенности, совершенно несвойственные нашим языкам.

Понятно, что в чисто корневом языке не может быть решительно никаких аффиксов, никакого изменения формы слов: недаром в свое время подобные языки называли, как я уже сказал, «бесформенными». Простые односложные слова таких языков трудно сравнивать даже и с нашими «корнями»: непонятно, что можно считать «корнем» растения, у которого вы не видите ни стебля, ни листьев, ни ветвей! Если уж нужно сравнение, слова такого языка можно уподобить «марсианам» Герберта Уэллса: у этих существ все тело представляло собой голову; не было ни туловища, ни конечностей, ничего. Голова, и только!

Чтобы дать некоторое, очень отдаленное представление о таких словах, указывают обычно на те из наших слов, которые по своему составу не отличаются от корней вроде:

«дуб», «кот», "я", «бык», «он»,

или на немецкие и английские:

«тиш» (стол), «криг» (война), «думм» (глупый), «биг» (большой).

В этих двух языках такие слова-корни обладают даже способностью сливаться друг с другом без всяких видимых изменений в слова-двойшки, точно их магнитом притягивает одно к другому:

«бан» (по-немецки — путь) + «хоф» (двор) = «банхоф» (вокзал).

Однако между ними и словами «моносиллабических» корневых языков огромная и существенная разница.

Мы, русские, люди аффигирующие, всегда чувствуем, что к каждому нашему корню в любой миг можно присоединить и приставку, и суффикс, и окончание. Мы не можем даже мысленно отнять от них способности к изменению: только ею слова и живут в предложении.

ДУБ, но рядом ДУБ+а, ДУБ+у, ДУБ+ами, или:

ДУБ+ок, под+ДУБ+ный, ДУБ+ов+ат+ы+й

Именно благодаря этим «формам» слова мы можем склонять имена, спрягать глаголы, производить от одного слова другое, связанное с ним по смыслу, превращать существительные в глаголы или глаголы в прилагательные. Благодаря им — только благодаря им — мы получаем возможность легко и свободно построить из отдельных кирпичиков-слов целое живое

предложение, выразить любую мысль. Что́ бы вы стали делать, если бы вам вместо обычных слов дали несколько не поддающихся никаким изменениям слов-корней, вроде:

«гриб», «жук», «бор», «полз», «кус», «зуб», «бег», «лет»,

и попросили бы, ничего не меняя в них, рассказать при их посредстве какую-нибудь историю?¹⁰¹ Сомневаюсь, чтобы у вас что-либо получилось. А ведь корневые языки потому-то раньше и называли «аморфными», что они обходятся без всякого изменения корней.

Как же это возможно?

Существенную роль играет в них при построении предложений сам строго узаконенный порядок слов, точно выверенное сочетание данного слова с соседними. В связи с этим одно и то же слово может принимать на себя весьма различные роли в предложении.

Вот, например, сочетание слов «хао жень» переводится на русский язык, как «хороший человек». Каждый из нас сделает из этого вывод, что если «жень» — существительное «человек», то «хао», очевидно, прилагательное в единственном числе и именительном падеже мужского рода.

Но не так просто это. Вот вам другое китайское предложение:

«Та шо чжунго-хуа, шоды хэнь хао».

Означает оно в целом: «Он хорошо говорит по-китайски». Но если попытаться перевести его дословно, буквально, то у нас получится что-то вроде:

«Он говор китай-слово, говор очень хорош».

Легко заметить, что тут слово «хао» выполняет уж никак не задание быть прилагательным, определением при имени: у него скорее роль именной части сказуемого. А ведь оно осталось неизменным.

Фраза «на хэнь хаоканьды» («это очень красиво») построена примерно вот как:

«Это очень хорош смотрит».

Слово «кань» имеет значение «глядеть», «смотреть», а «хаокань» — нечто вроде нашего «миловидно».

Даже в одном предложении не редкость встретить одно слово в двух различных ролях и значениях. Так, фраза:

«Кань шы хаокань, хао чы бу хао чы ни»

составлена приблизительно таким образом:

«Смотр есть хорош-сметр, хорош вкус не хорош ли?»

Конечно, это не перевод; это только неуклюжая попытка как можно точнее передать, как строится речь из неизменных корней. Перевели бы мы тут совершенно иначе: «На вид-то оно хорошо, но вопрос: вкусно или не вкусно?»

Хитрое дело! Но так или иначе, поразмыслив, вы согласитесь, что особой премудрости здесь нет: каждый может наострить выразить свои мысли на такой манер. Конечно, для нас на первых порах это нелегко. Представление о «чистом корне» плохо укладывается в голове «аффигирующего» человека. Нам не только корень всегда представляется в сцеплении с разными аффиксами — **сметр-еть, над-сметр-щик, смметр-о-в-ы-й** , — но, даже взяв слово «сметр», мы склонны относиться к нему так, как если бы за его конечным "р" чувствовался призрак еще какого-то звука. Ведь недаром языковеды так и говорят, что в именительном падеже существительные мужского рода на твердый согласный обладают «нулевым окончанием». Не просто «не обладают никаким», а «обладают нулевым». Огромная разница!

А китайцу все это совершенно не нужно. Его части речи отличаются друг от друга не звуковой формой, не ее особенностями, а другим свойством: разными способностями вступать в связь со словами-соседями.

Этому содействуют многие важные свойства китайской грамматики.

Прежде всего — порядок слов в предложении. В китайском языке он установлен твердо и раз навсегда. Подлежащее обязательно идет перед сказуемым, сказуемое перед прямым дополнением. Свои точные места соблюдают и обстоятельства. Хорошо, скажете вы, но чему это помогает?

¹⁰¹ Это не в пример труднее, чем составить рассказик вроде приведенного в этой книге.

Возьмем и сравним равнозначные предложения в русском (аффигирующем) и английском (приближающемся к корневым) языках.

В русском языке:

В английском языке:

Сын любит отца — отца любит сын.

(Если тут и ощущается какая-то разница, то она в оттенках мысли, а не в самой мысли. Мы можем сказать и «сын отца любит» и «любит сын отца» — все равно будет ясно, что действующим лицом является «сын», а не «отец».)

The son loves the father — the father loves the son¹⁰².

(Тут уже дело не в «разнице», а в прямой противоположности по смыслу между этими двумя совершенно различными предложениями. Их члены поменялись местами: тотчас подлежащее стало дополнением, дополнение — подлежащим. Невозможно по произволу менять места слов в английской речи: это изменение резко меняет и смысл.)

Этот пример достаточно ясен. Он показывает, что мы, русские, чтобы изменить значение слов в предложении, меняем их формы; англичанин формы оставляет неизменными, а переставляет слова. Там, где существительное предшествует глаголу, оно является подлежащим; если оно следует за глаголом, оно становится уже дополнением.

Примерно так же (но значительно более широко и сложно) использует порядок слов в предложении и китайский язык.

Между ним и английским языком есть и еще одно сходство. Отказавшись от изменения формы своих слов, англичане поставили на его место игру всевозможными служебными частицами — предлогами и т. п. Китайские грамматики различают среди слов своего языка два больших разряда: «ши-цзы» — «значимые слова» и «суй-цзы» — «пустые слова». Эти последние не могут употребляться сами по себе; их значение в том, что они, сочетаясь с «ши-цзы», придают им то или другое значение. Теперь наблюдается все большее сращение «суй-цзы» со «значимыми словами»: они как бы стремятся стать чем-то вроде наших суффиксов. В былые времена они действовали не сливаясь с ними, а только располагаясь рядом.

Но ведь я уже сказал: развитие китайского языка идет по пути от корневых языков к языкам аффигирующим.

Изменение слова у нас служит также для производства новых слов. Китайский язык и тут заменяет его другим приемом: новые слова он легко получает путем «словосложения»: два слова как бы слипаются, и получается третье, новое: «гао» — высокий, «лян» — хлеб, «гаолян» — вид проса, хлебный злак; «дунъю» — животное, «юань» — парк, «дунъюань» — зоопарк. Впрочем, примерно то же мы уже видели в немецком языке.

Все эти способы и приемы очень важны и характерны для китайского языка. Но все же одним из самых основных и самых удивительных для нашего ума приемов является то, что называется тонами,

Мы, русские, превосходно понимаем, как велико в нашей речи значение «интонации», того «тона», которым мы произносим наши слова и предложения. Я думаю, каждый вспомнит в своей жизни случай, когда на его утверждение, что он сказал в общем вполне вежливую фразу, ему отвечали: "Да, но в каком **тоне** ты это сказал!" Вот это и была «интонация».

Попробуйте в трамвае, троллейбусе или автобусе задать впереди стоящему обычный вопрос: «Вы сейчас сходите?» Вероятно, вы получите в ответ одно-единственное слово: «Да», но произнесено оно может быть на несколько совершенно различных ладов.

На письме такие вещи передаются плохо¹⁰³, но всё же вам могут ответить:

¹⁰² То есть «сын любит отца» — «отец любит сына», В первом предложении — сын любит отца, во втором — отец сына. Иначе этого у англичан не поймешь: будет ошибка!

¹⁰³ «Есть 50 способов сказать „да“ и 500 способов сказать „нет“, и только один способ написать это». (Б. Шоу.)

или: «Да», — просто, вежливо и равнодушно,

или: «Да!» — с некоторым нетерпением.

или: «Да-а-а...» — рассеянно и задумчиво,

или, наконец: «Да, да, да!» — так, что это прозвучит, как «Ах, отстаньте, вы уже сто раз спрашивали!»

Как видите, «тон», «интонация» может существенно изменить значение слова. Но, во-первых, у нас этот «тон» будет чем-то совершенно случайным: каждый, в каждом данном случае, выговорит свое «да» так, как ему на этот раз вздумается: никаких общих правил на этот счет не существует. А во-вторых, если бы вместо ответа ваш трамвайный собеседник просто показал вам бумажку с написанными на ней двумя буквами «д+а» или произнес свой ответ звук за звуком, «без всякого особого тона», вы бы тоже поняли, что он отвечает вам утвердительно. Слово осталось бы самим собою: вместе с «интонацией» исчезли бы только какие-то тонкости его выражения, но не самый смысл.

Не то в китайском языке. Прежде всего само сочетание звуков «х+а+о» там ровно ничего не значит, **пока оно не произнесено особым образом**, с той или другой, но всегда совершенно определенной «интонацией», в каком-либо «тоне». Пока этого нет, оно остается просто «однослогом без значения», как наш слог «да», если его извлечь из слова «вода» или из глагола «под-да-вать». Да, впрочем, китаец и не может изобразить свое слово в виде ряда букв: слова в Китае изображаются иероглифами, а каждый из них передает не только звуки, но и «тон» слова.

Произносить каждое из слов китайского языка надо не как вам придет в голову, а обязательно в одном из четырех (в областных диалектах даже в одном из девяти) различных, но строго и точно установленных «тонов». Только произнесенный в определенном тоне слог становится значащим словом и может войти в состав фразы.

Вот существует, например, в китайском языке слог «ма». Что он может значить? Ничего сам по себе, и множество различных вещей, смотря по «тону», в котором вы его произнесете, когда он станет словом.

ма -

произнесенное

в первом

тоне

значит

мать

ма -

„

во втором

„

„

конопля

ма -

„

в третьем

„

„

либо агат, либо муравей

ма — переводится как глагол «браниться».

К этому можно добавить, что даже «ма», отмеченное одним определенным номером, может иметь несколько значений; «ма3», например, означает еще и «гири» и «лошадь». Но это-то нам не так уж удивительно: у нас самих слово «ключ» имеет пять различных смыслов. А вот к иероглифам, изображающим эти разные «ма», я советовал бы вам приглядеться внимательно. Они либо неодинаковы вообще, либо один основной значок сопровождается в них

другим, добавочным, указывающим, в каком смысле надо понимать (а значит, и как произносить) этот слог в данном случае: «ма»-муравей отмечен иероглифом «насекомое»; «ма»-агат — значком «камень», и т. д. Я уверен, вас поразила эта удивительная сложность: как же запомнить для каждого слова его разнообразные «тоны»? Но каждый «чжунго-жень», каждый китаец, с полным правом не согласится с вами.

媽媽

ма ма (мама)

大麻

да ма (конопля)

螞蟥

ма нао (агат)

瑪瑙

ма'и (муравей)

«Позвольте, — скажет он. — Тонов всего четыре, если говорить о нашем литературном языке. Разобраться в них совсем просто. А вот как вы обходитесь вовсе без них, да притом не путаетесь в ваших бесчисленных, совершенно различных аффиксах, которые одному корню могут у вас придавать не четыре, а головоломное множество самых различных значений, — вот это уж прямо уму непостижимо!»

И по-своему он будет, конечно, прав! Нет, правду говоря, языков «вообще трудных» и «вообще легких», как нет языков «вообще красивых» и «вообще некрасивых». Каждый язык и легок и прекрасен для того, кто говорит на нем с детства. А чужестранцу он обязательно дается с трудом, большим или меньшим, — это зависит уже от того, каковы языковые навыки этого самого чужестранца.

Теперь все понятно. Китайскому языку нет никакой надобности в наших аффиксах: он выработал другие способы и производства слов и их изменения. У нас и в Китае слова как бы живут разной жизнью в живой речи. Наши слова точно должны все время надеяться на собственные силы, расти, наращивать, как мускулы, суффиксы, префиксы, окончания. Слова же китайского языка действуют больше «в порядке взаимопомощи», поминутно тесно примыкая друг к другу, определяя даже самих себя через общение с другими. Естественно, что они могут оставаться более простыми по внутреннему составу своему.

Поэтому в смысле краткости слов состязаться с корневыми языками другим языкам нелегко. И создается впечатление, что мы уже решили нашу небольшую задачу: самые

короткие слова должны как будто найтись в языках, близких к китайскому, самые длинные — в языках, пользующихся всевозможными аффиксами. К последним принадлежит и русский язык.

В самом деле: в нашем языке, как и в его ближайших родичах, части слов срастаются друг с другом очень тесно и прочно. Они как будто врезаются, ввинчиваются одна в другую до того, что порою крайне трудно различить, где кончается одна и начинается другая. Попробуйте определить, что является корнем в таких словах, как «обувной» или «одежда», и вы сами скажете, что это так.

Поэтому я и назвал эти языки «языками на шипах», а корневые — «языками россыпью». Но, во-первых, кроме них, существуют в мире языки третьего типа, «языки на клею», которых мы еще не коснулись. А во-вторых, далеко не все причины разрастания слов исчерпаны нами. Поговорим об этом еще немного.

О ФЛЕКСИИ И О ПРОЧЕМ

Что такое суффиксы и окончания, мы знаем хорошо. Но в наших европейских языках наряду с ними большую роль играет при образовании и изменении слов **флексия**. Из-за нее такие языки носят даже название «флективные». Вот до какой степени флексия важна и характерна для них! Что же она собой представляет?

В старых школьных грамматиках флексиями называли иной раз самые обычные окончания слов. Теперь от этого давно отказались. Имя это придано совершенно другому явлению.

Среди большой группы языков «аффигирующих» (мы уже говорили об этом названии) ученые видят два различных типа.

Вот, например, немецкий язык.

Есть в нем корень «финд», означающий «находка». От этого корня произведено немало слов, и у каждого слова есть разные формы. Но, поставив их в ряд, не всегда непосвященный легко определит, что они относятся именно к одному корню:

находить — финден.

я нашел — их фанд.

эта книга была найдена — дас Бух вар гефунден.

Как видите, при изменении слова перемены коснулись не только суффиксов (-ен) и префиксов (ге-), но и самого корня: «финд» превратилось в «фанд», потом в «фунд». И изменение гласного звука внутри корня привело к изменению смысла слова.

В немецком языке это явление постоянно. Вот несколько примеров:

манн — человек

меннер — люди

зинген — петь

занг — пел, гезунген — спетый

баум — дерево

боймэ — деревья

кнабе — мальчик

кнэблайн — мальчишка

Еще более удивительное положение можно встретить в арабском языке. Там корень слова вообще всегда состоит только из одних **согласных** звуков; обыкновенно из трех, редко из четырех. Гласные же могут быть любыми, но каждое чередование их придает корню один, строго определенный смысл.

Вот, например, корень «ктб». Он означает «письмо». Когда араб вводит в него два

гласных "а", возникает глагол действительного типа, и притом прошедшего времени.

КаТаБа — написал.

Если на те же места попадут гласные "у" и "и", глагол в том же прошедшем времени приобретает страдательное значение:

КуТиБа — был написан.

Совершенно так же:

КаТаЛа

— убил (корень «ктл»)

КуТиЛа

— был убит

ДаРаБа

— побил (корень «дрб»)

ДуРиБа

— был побит

И тут, как в немецком языке, только гораздо чаще и правильнее, изменение смысла слова выражается при помощи изменения гласных звуков корня. Корень как бы «ломается», «изгибается» при этом, становится не самим собою. Именно потому такое явление, характерное для части «аффигирующих» языков, и называется «флексией»: слово это по-латыни означает «изгиб».

Наличие «флексии» резко отличает такие языки (и русский в их числе) от многих других. Поэтому они называются «флектирующими».

Нужно заметить, что между «флектирующими» языками и «корневыми» (вроде китайского) нет непроходимой бездны. Мы знаем, что английский язык относится к «флектирующим». Но ведь в нем же мы встречали корни слов, которые ведут себя **почти** как китайские слова-слоги. Таких корней в английском языке становится все больше и больше; значение суффиксов и приставок в нем снижается. Видимо, язык этот был таким же, как немецкий или русский, а станет, может быть, похожим на китайский.

С другой стороны, ученые выяснили, что многие «флектирующие» языки **прежде** были «корневыми»; только постепенно они сделались тем, чем являются сейчас.

В то же время рядом с этим типом языков есть в обширной группе «аффигирующих» языков еще другие, резко отличные от всего, что мы видели, языки.

Эти так называемые «агглютинирующие» языки стоят как бы посередине между теми разрядами, которые мы уже разобрали.

Слово «агглютинирующий» значит «склеивающий». Почему так назвали эту группу языков?

В языках вроде китайского их «суй-цзы» — вспомогательные словечки, наподобие английского «to» меняющие значение слов, — вовсе не связываются с самими «ши-цзы», настоящими, значимыми словами. Они живут там особой, самостоятельной жизнью.

Напротив, в языках, похожих на русский, наши суффиксы так тесно срастаются и с корнями и друг с другом, что иной раз трудно даже разобрать, где кончается один и начинается другой¹⁰⁴. Сами по себе, в отдельности от корня, они существовать никак не могут.

А в некоторых языках сочетания звуков, подобные китайским «суй-цзы», или нашим суффиксам, можно сказать, «от одних отстали и к другим не пристали». Они, правда, потеряли всякую самостоятельность, перестали быть отдельными словами, но не стали, как у нас, в полном смысле «частями слова».

¹⁰⁴ См. об этом ниже, в главе «Два слова о суффиксах».

К таким языкам относятся многие языки Советского Союза, родственные татарскому, азербайджанскому, узбекскому, казахскому. Это так называемые «тюркские языки». В ту же группу входят и языки, вовсе не родственные тюркским: грузинский, финский, эстонский и пр. Вот сравните для примера, как образуются множественные числа в русском и турецком языках:

Русский язык:

Турецкий язык:

Ед. число:

Множ. число:

Ед. число:

Множ. число:

девушкА

девушкИ

кыз

кызЛЕР

ребенОК

ребяТА

чоджук

чоджукЛАР

доМ

домА

эв

эвЛЕР

отеЦ

отцЫ

ата

атаЛАР

Очень ясно, что если у нас слова изменяются довольно различными способами (сравните: «реб + +енок» — «реб+ята» и «девушк+а» — «девушк+и»), то тут к слову прибавляется одно и то же постоянное сочетание звуков, один аффикс — «лар» («лер»); он имеет лишь эти две разновидности, в зависимости от гласных самого слова.

Но разница не только в этом. В языке «на шипах» один и тот же суффикс способен выражать не одно, а сразу два и больше грамматических значений. В языках «на клею» это нелепо: там каждому такому новому оттенку служит особый аффикс.

Русский язык:

Турецкий язык:

Именит., ед. ч. дом

Неопред., ед. ч. эв (ev)

Дательн., ед. ч. дом+У

Дательн., ед. ч. эв-Э (ev-e)

Именит., мн. ч. дом+А

Неопред., мн. ч. эв-ЛЕР (ev-ler)

Дательн., мн. ч. дом+АМ

Дательн., мн. ч. эв-ЛЕР-Э (ev-ler-e)

Сразу видно: наш суффикс «-ам-» в дательном множественного числа указывает сразу и на число и на падеж. Турецкому же языку для этого потребовались два отдельных аффикса: один — для всех дательных падежей, другой — для всех форм множественного числа.

То же самое происходит и при образовании производных слов.

От существительного «баш» (голова) можно образовать прилагательное «баш+лы» (головастый). Аффикс «лы» годится всюду, где надо произвести такую же работу. От слова «карын» (живот) при его помощи можно получить прилагательное «карын+лы» (пузатый), от «кулак» (ухо) — «кулак+лы» (ушастый), и т. д.

Если же вам понадобится множественное число от этих прилагательных, вы снова можете нарастить на них «аффикс множественности», уже известный нам «лер, лар»:

голова — баш

головастый — башЛЫ

головы — башЛАР

головастые — башлыЛАР

При помощи различных других аффиксов от того же «баш» можно образовывать различные слова. Аффикс предметов, имеющих определенное назначение, звучит «-лык»; прибавив его к слову «баш», вы получите слово «баш-лык», название головного убора. А множественное число от «башлык» снова будет «баш+лык+лар».

Вы видите: в языках «на клею» корень нигде и никак не изменяется. Аффикс всегда «приклеивается» к концу слова. Вслед за одним аффиксом можно при надобности «приклеить» другой, третий и т. д. Ни один из них никогда не может очутиться перед корнем в качестве «приставки». Ни один никогда не может слиться с корнем так, чтобы их было затруднительно разделить глазом или слухом.

Вот это-то все и называется в языкознании «агглютинацией» — «склеиванием». Татарский, турецкий и многие другие агглютинативные языки способны, как и языки флектирующие, образовывать **довольно длинные слова**. Но, вообще говоря, слова этих языков скорее можно определить как средние по длине.

Полную противоположность всем тем группам языков, которые мы до сих пор видели, представляют особые языки — «инкорпорирующие».

Трудно представить себе что-нибудь более странное с нашей точки зрения, чем словообразование и грамматика этих удивительных языков. В них — например в некоторых индейских языках Америки или в языках наших народов крайнего северо-востока (чукчей и близких к ним племен) — отдельные слова, образуя предложения, не располагаются рядом друг с другом, не скрепляются между собою при помощи аффиксов или вспомогательных слов, как у нас. Нет, здесь слова как бы набрасываются друг на друга и заглатывают одно другое, так что части первого оказываются где-то глубоко внутри второго, и наоборот. Пять, шесть, десять слов бурно переплетаются между собой, входя даже внутрь корней своих соседей. Вместо предложения получается одно огромное, запутанное, странное, на наш непривычный взгляд, слово, которое и выражает весь смысл целой фразы.

Вот, например, на языке мексиканских индейцев наше предложение «я ем мясо» выразится как бы «одним словом»: «нинакагуа» — «ямясьем».

Слово это, на наш взгляд, состоит из глагола и двух имен. Однако глагол в этом языке вообще нельзя употреблять сам по себе, отдельно от других слов. Нельзя отдельно сказать ни «есть», ни «я ем», ни «дать», ни «я дам». Словами можно выражать только целые мысли:

«Я ем его мясо» — нигкуаиннакатль.

«Я что-то такое ем» — нитлакуа.

«Я кое-кому что-то такое даю» — нитетламака.

Как видите, эти языки не желают говорить о «предметах вообще» или о «живых существах вообще». Не умеют они и действия выражать как «действия вообще». Они не знают, что значит «есть вообще»; им понятно только, как можно «есть то-то и то-то», или, в крайнем

случае, «есть что-нибудь»¹⁰⁵.

Языков такого строения очень много. Одни из них «инкорпорируют» (это слово по-латыни буквально означает «внедряют в тело») в одно и то же словопредложение больше, другие меньше слов-частей. В некоторых из них благодаря этому и возникают слова-гиганты, вроде того «виитокучумпункрюганиогвивантумю», с которым мы уже сталкивались. Раскроем секрет: это слово означает определенный род занятий людей племени, обитающего в штате Юта, на юго-западе США, «тех, которые сидя разрезают ножами черных ручных бизонов» (то есть коров; по-видимому, такое «разрезание» входило в расписание каких-то церемоний или обрядов).

Не думайте, что этот пример — уродливое исключение. Один автор сообщает, что сочетание слов «наши искуснейшие зеркальщики», когда кому-то вздумалось перевести его на язык юкатанских майя, пришлось выразить таким поистине примечательным словом:

«руппакхнухтокепенаувутчутчухквоканехчаениннуннонок».

Лингвисты постарались выяснить самую механику образования подобных слов. Знаток индейских языков, американский ученый Сэпир, приводит слово языка индейцев чинук, звучащее как

«и-н-и-а'-л-ю-д-а-м».

Оно состоит из корня "д", означающего «давать», шести префиксов и одного суффикса. Из префиксов каждый имеет свое значение; "и" — указывает на недавно прошедшее время, "н" — выражает понятие "я", "и" — другой «местоименный объект» — «это», "а" — третий такой же «объект» — «ей», и т. д. Всё вместе равносильно нашему предложению:

«Я прибыл, чтобы отдать ей это»,

но, по свидетельству Сэпира, представляет собою действительно вполне единое слово с ясно слышимым ударением на первом "а".

Разбирает Сэпир и еще один пример, взятый уже из языка племени фокс, давних обитателей долины Миссисипи (может быть, тех самых, которые усыновили пушкинского Джона Теннера!). У них слово

«экивинамотативачи»

значит: «тогда они (одушевленные) заставили некое существо (тоже одушевленное) скитаться, убегая то от одного, то от другого из них». Все это выражено через корень «киви» (он значит «мотаться туда-сюда»), вторую основу «-а-» (означающую «бегать»), один префикс, который проще всего передать нашим словом «тогда», и семь суффиксов, из коих у каждого свое собственное значение.

Я думаю, вы не будете возражать, если я скажу, что наши выражения «вызвать на два слова» или «объяснить в двух словах» должны звучать далеко не одинаково в устах китайца или сиамца, с одной стороны, и индейца племени фокс или пайют — с другой. Очевидно также, что если самые короткие слова свойственны «корневым» языкам, то наиболее длинные слова-удавы мы имеем основание искать в языках «инкорпорирующих». Наши же флективные и агглютинирующие языки, наиболее нам знакомые и близкие, занимают в этом строю, бесспорно, среднее место. Так, что ли?

Все это звучит весьма убедительно. Да так оно и было бы, если бы «длина слов» зависела только от их внутреннего строения, если бы длинные слова всегда слагались только из одного корня и нескольких «служебных частей». Но, к вашему утешению (если вашим родным языком является один из языков флектирующих и если вам очень хочется, чтобы у него были шансы стать чемпионом «длиннословия»), есть и другие способы получать из односложных слов многосложные, да еще какие многосложные!

САМОЕ ДЛИННОЕ СЛОВО МАРКА ТВЕНА

Знаменитый юморист почему-то очень охотно касался в своих произведениях различных

¹⁰⁵ В связи с этим полезно вспомнить рассказ писателя Г. Гора о слове «снег» в языке эскимосов, который я уже приводил.

особенностей именно немецкого языка. Он возвращался к ним неоднократно.

Как известно, язык этот обладает способностью образовывать сложные слова, подобные нашим «Фарфортрест» или «Ленинградуголь». В немецких военных книгах, например, то и дело натыкаешься на такие термины, как «вер-махт» (оружие+сила=армия), «панцер-шиф» (броня+корабль= броненосец), «флугцойг» (полёт+снаряд= самолет) и т. п.

Между этими терминами и нашими обычными сложными словами есть разница: те мы образовываем обязательно при помощи соединительной гласной "о" или "е" (сам-о-лет, земл-е-роб) и, надо сказать, прибегаем к ним безособой охоты. Немцы же (как и англичане), хотя и могут применять в таких случаях вместо соединительного согласного суффикс родительного падежа «-с» (рейс-с-вер, криг-с-гефангенэ), нередко обходятся без него, а используют они такой способ словопроизводства буквально на каждом шагу.

Правда, это свойственно, как мы видели, и китайскому языку. Но если в Китае или в Англии допускается образование по этому способу слов из двух, много из трех корней, то немецкому языку никаких границ в этом смысле не положено. Сравнительно недлинные, односложные и двусложные слова, как намагниченные, притягиваются друг к другу и соединяются в единое целое без каких-либо «заклепок» — изменений.

В русском языке:

В немецком языке:

сам + ходить = самоход

нэбель + верфер = нэбельверфер

(Nebel + Werfer = Nebelwerfer)

(туман + метатель = дымовой завесчик)

земля + трясение = землетрясение

вооль + бефинден = воольбефинден

(Wohl + befinden = Wohibefinden)

(хорошо + пребывать = здоровье)

язык + знание = языкознание

фогель + фенгер = фогельфенгер

(Vogel + F\anger = Vogelf\anger)

(птица + ловец = птицелов)

И если у нас каждое такое многосложное слово выглядит как сравнительно редкое отклонение от нормы (лишь в переводах с древних языков то и дело попадают «розоперстые» и «пестросандальные» богини), то в Германии они не смущают никого.

Вот почему в «Войне и мире» Л. Толстой старый князь Болконский, посмеиваясь над бездарным австрийским военным советом (по-немецки: «Гофкригсрат»; от слов «гоф» = «двор», «криг» = «война» и «рат» = «совет»), по праву называет его «гофкригсзурстшнапсратом».

Такого слова никогда не было в немецких словарях. Но любой немец, услышав его, прекрасно бы понял, что оно означает: «Гоф+кригс+вурст+шнапс+рат» — «придворный военно-колбасно-водочный совет».

В длиннейшем слове этом нет ровно ничего непозволительного с точки зрения правил немецкой грамматики. Она знает слова и того длиннее.

Филателисты могут найти в старых каталогах немецкую марку, выпущенную когда-то в память путешествия последнего кайзера Вильгельма II в Иерусалим. Она называлась так:

«КайзерВильгельмИерузалэмсрайзегедэхтнисбрифкартенпостмаркэ».

А один советский языковед в своей книжке о языке упоминает о немецкой надписи, которую он читал на дверях одной из комнат какого-то ученого клуба:

«Центральвиссеншафтлихгелээрттермэншэнлебэнсбедингунгенфербессэрунгсауссшусстрэ ффпунктклассэ»¹⁰⁶.

Это слово, вероятно, было придумано в шутку, но построено-то оно было по всем правилам немецкого «словосложения»; означало оно примерно что-то вроде: «комната комиссии по улучшению жизни ученых».

Вот этой примечательной способности немецкого языка и дивится в своем рассказе американский юморист Марк Твен.

"В одной немецкой газете, — уверяет он, — я сам читал такую весьма занятную историю:

Готтентоты (по-немецки: «хоттенто'тэн»), как известно, ловят в пустынях кенгуру (по-немецки «бойтельра'тте» — сумчатая крыса). Они обычно сажают их в клетки («ко'ттэр»), снабженные решетчатыми крышками («латтенги'ттер») для защиты от непогоды («ве'ттэр»).

Благодаря замечательным правилам немецкой грамматики всё это вместе — кенгуру и клетки — получает довольно удобное название:

«Латтенгиттерветтэркоттэрбейтельраттэ».

Однажды в тех местах, в городе Шраттертро'ттэле¹⁰⁷, был схвачен негодяй, убивший готтентотку, мать двоих детей.

Такая женщина по-немецки должна быть названа «хоттентотэнму'ттэр», а ее убийца сейчас же получил в устах граждан имя «шраттертроттэльхоттентотэнмуттэраттэнтэтэр», ибо убийца — по-немецки «аттэнтэтэр».

Преступника поймали и за неимением других помещений посадили в одну из клеток для кенгуру, о которых выше было рассказано. Он бежал, но снова был изловлен. Счастливый своей удачей, негр-охотник быстро явился к старшине племени.

— Я поймал этого... *Бейтельра'ттэ!* Кенгуру! — в волнении вскричал он.

— Кенгуру? Какого? — сердито спросил потревоженный начальник.

— Как какого? Этого самого! Ляттэнги'ттэрветтэрко'ттэрбейтельра'ттэ.

— Яснее! Таких у нас много... Непонятно, чему ты так радуешься?

— Ах ты, несчастье какое! — возмутился негр, положил на землю лук и стрелы, набрал в грудь воздуха и выпалил:

— Я поймал
шраттертро'ттэльхоттэнтоттэнмуттэраттэнтэтэрляттэнги'ттерветтэркоттэрбейтельра'ттэ! Вот кого!

Тут начальник подскочил, точно подброшенный пружиной:

— Так что же ты мне сразу не сказал этого так *коротко и ясно*, как сейчас?!"

Автор «Тома Сойера» и «Гека Финна», можно думать, не слишком считался с немецкими словарями, когда писал свой смешной рассказ. Города «Шраттертроттэль» вы на картах мира не найдете. Неграм несвойственно болтать между собой по-немецки. Кенгуру отродясь не жили в Южной Африке. Наверняка выдумана и немецкая газета, и невежественная корреспонденция в ней, и само это слово, напоминающее скорее тяжеловесный железнодорожный состав, чем обычное существительное. Не выдумал Марк Твен одного — действительной способности немецкого языка нанизывать таким образом одно на другое обычные слова корнями, превращая их в длинейшее сложное образование.

Способность эта свойственна не одному только немецкому языку. Ученые люди, пользуясь латинскими и греческими корнями для обозначения химических веществ, иной раз соединяют их в слова ничуть не короче марктвеновских. Тут это неудивительно; если интересное химиков вещество состоит из доброго десятка составных элементов, то они и

¹⁰⁶ Г. Винокур. Культура языка, М., 1930, стр. 136.

¹⁰⁷ Слово «коттэр», по-видимому, изобретено самим Твеном: в словарях его нет. «Шраттертроттэль» в немецких сказках и поговорах — легендарный город простаков, вроде нашего сказочного Пошехонья.

сочетают вместе десять их названий: кто им может помешать?

Тот, кто, по несчастью, болел малярией, принимал, вероятно, желтый горький порошок, называемый в аптеках акрихи́ном. У него есть, однако, другое, более точное химическое наименование. Химики зовут его:

«Метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин».

Может быть, вы скажете, это не слово? Нет, это всё-таки слово, и слово русское. Его можно склонять (попробуйте!). Вы сразу же увидите, что это существительное, а не глагол. Вы не поверите, если я вам скажу, что его можно сочетать с прилагательным «желтая». «Нет, — возразите вы, — „желтый“! Это мужской род!» Значит, это слово!

Можно найти и прилагательные такой же почти длины:

«Метилциклогексентилметилбарбитуровая кислота».

«Тетраметилдиаминодифентиазониновый хлорид» и т. п.

Попробуйте-ка возразите, если я скажу, что и это русские слова.

Что же получается?

Очевидно, теперь мы знаем основные способы, которыми языки образуют свои «длинные» слова из коротких, главным образом односложных, корней. Мы видели три таких способа.

Иногда несколько слов просто прикладывается друг к другу, как в немецком языке. Границы этому прикладыванию никакой установить нельзя: сколько бы ни было уже сложено вместе слов, всегда можно к тому, что получилось, прибавить еще словечко и сделать всё целое еще длиннее. Выходит, что этот способ не позволяет говорить о **самом длинном** слове мира.

Бывают, правда, языки, переплетающие множество слов и вспомогательных частиц в одном целом, которое даже и не знаешь, как назвать — то ли **словом**, то ли **предложением**. Мы видели примеры этого в индейских языках Америки. Но ведь предложения могут быть как угодно длинными, распространенными. Значит, и индейские слова также могут расти почти беспрестанно. Видимо, и эти языки не дают нам надежды напасть на **самое длинное слово**, на мирового чемпиона длины. Его, очевидно, так же нельзя найти, как нельзя указать **самое большое число**. К любому числу, как бы велико оно ни было, никто не мешает нам приплюсовать **одну единицу**. Тогда оно станет еще больше. Значит, до того оно не было **самым большим**.

Наконец, еще одна группа языков: эти широко пользуются суффиксами, приставками и окончаниями, для того чтобы односложные слова превратились в многосложные. Однако этот способ не дает особенно огромных слов.

Можно было бы подумать, что я после этого поведу вас в таинственные края «инкорпорации» или займусь вопросами, связанными с «корневыми» языками. Однако наоборот: я предпочту углубиться в дебри суффиксов, окончаний и прочих аффиксов.

Почему? Да, собственно, потому, что именно с этими морфемами (частями слов) имеет дело тот великий язык, на котором имеем честь говорить мы с вами.

А КАК ЖЕ СО СЛОВАМИ-МАЛЮТКАМИ?

Наиболее внимательные и памятливые читатели могут по праву задать мне этот вопрос. Ведь я обещал вам поговорить не только о «самом длинном», но и о «самом коротком» слове мира.

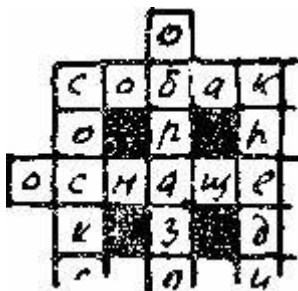
Теперь многие из вас, вероятно, скажут: очевидно, самые короткие в мире слова должны существовать в «корневых» языках; ведь они знают только слова — односложные корни.

Представьте себе, это не так. Точнее, не обязательно так. Даже односложный корень непременно состоит из нескольких звуков, обычно из двух-трех, а то и из четырех-пяти. Вот наши русские современные словакорни вроде: «вал», «сон», «мышь», «дом». Вот китайские «шицзы»: «жень» (человек), «хэ» (река), «гу» (долина).

Но что вы скажете о таких довольно обыкновенных русских словах, как "и", "а", "у", "о", "к", "в", "с"?

А, так это же предлоги и союзы. Но ведь мы здесь не играем в кроссворд, где нужно подбирать только имена существительные. Предлоги и союзы, несомненно, такие же слова, как

наречия и глаголы: это ведь тоже «части речи». Вы их найдете в любом словаре¹⁰⁸.



В то же время каждое из этих слов состоит из одного-единственного звука (в устной речи) и из одной буквы (на письме). Не нужно долгих доказательств, чтобы решить: **короче, чем в один звук, слово быть не может**.

Вместе с тем сразу видно: таких «самых коротких слов» не одно, а довольно много во всех языках мира. Можно было бы подробно остановиться на вопросе о том, откуда и как они взялись, искони ли были они такими «однозвучными», или же являются остатками каких-то других, более длинных слов?

Однако для того чтобы заняться решением этой задачи, надо быть более опытными лингвистами, нежели мы с вами. Отложим это до будущего времени.

Сейчас же я покажу вам только одно: случается, что слова не растут, как мы только что наблюдали, а, напротив, уменьшаются, «съеживаются».

Прежде всего вспомните, что мы говорили об изменениях, которые претерпели за долгие века такие русские слова, как «государь», «сударь» или «старый». Они превратились — по причинам, в которых мы отчасти разобрались, — в коротенькие присловья «-су» и «-ста».

Мы нашли в нашей речи и слово «здравствуйте»; оно, можно сказать, на наших глазах испытывает как раз такое же «роковое» превращение. В письменной речи оно остается еще 12-буквенным «здравствуйте», а в устной давно уже «съежилось» до коротенького «зрассь!», в котором не так-то просто даже сосчитать входящие в него звуки.

На первый взгляд, наблюдение это кажется, может быть, и интересным, но, во всяком случае, неважным. А на деле подобное изменение слов играет в языке огромную роль. Можно сказать, оно является одной из существенных причин, по которым язык мало-помалу, шаг за шагом, звук за звуком меняется, меняется так, что, читая книги, написанные на этом языке сотни лет назад, и слыша людей, сегодня на нем говорящих, просто представить себе нельзя, что это тот же самый язык.

Прошу вас внимательно следить за таким примером.

Есть город Экс на юге Франции. Очень хорошо известно, что город этот был построен римлянами. Как теперь, так и тогда он славился своими целебными водами.

Французское название «Экс» ничего не говорит о «водах»: по-французски «вода» будет «о» (eau). Другое дело римское наименование города: в древности он назывался «Aquae sextiae» — «Секстовы воды». Из этого имени путем долгой и сложной переделки и получилось имя Экс.

Как это доказать? Довольно просто.

Неподалеку от этого Экса лежит другой курортный городок. Он тоже называется Экс (и даже еще проще: Э). Он тоже славится своими водами. И опять-таки в римские времена городок этот носил название «Aquae grätianae» — «Грацианские воды».

Наконец, в Западной Германии есть город Аахен; таково его немецкое название. Французы зовут и его Экс: Экс-ля-Шапель. Римляне же именовали и этот далекий от них пункт «Aquis granum» (Аквис гранум). Почему? Да очень просто почему: и здесь тоже имеются знаменитые целебные воды.

¹⁰⁸ Многие ученые, правда, склонны наши предлоги и союзы называть не «словами», а «частицами». Но это уже вопрос терминологии; нас это смутить не может. По сути дела, они слова.

Я думаю, доказывать больше нечего: латинское слово «а́квэ» — «во́ды» — везде превратилось во французское «эк».

Но, если хотите, самое любопытное тут то, что то же латинское слово «аqua» — «вода» в том же французском языке испытало и еще один путь изменения: оно превратилось в еще более коротенькое, в один звук, французское слово «вода» — "о". Так и живут во французской речи не узнаваемые сейчас никем, кроме языковедов, две латинские «аквы» (воды): "э" и "о".

Примеры я выбрал из истории именно этих языков, так как они показались мне особенно разительными! длинные сравнительно слова съезжились, сжались тут до одного звука. Но и в других языках действуют те же законы.

Возьмите русское слово «овца». Мы с вами сейчас насчитываем в нем четыре звука и два слога. А древние предки наши, если бы им пришлось в голову заниматься этим вопросом, могли бы насчитать не четыре звука, а пять, не два слога, а целых три. Да они, пожалуй, и занимались таким подсчетом; то же слово они писали — «овьца»; а ведь в те времена "ь", как и его больший брат "ъ", не был просто неким «знаком»; он являлся письменным выражением определенного гласного звука, похожего отчасти на наше нынешнее "е", отчасти на "и". Значит, наша нынешняя «овца» звучала в те далекие времена как-то вроде «овеца́» или «овица́».

Можно задать вопрос: ну, звучала! А какой смысл в том, что мы об этом узнали?

Смысл очень большой. Ученые доказывают, что русское слово «овца» родственно древнеиндийскому слову «авис». Было бы очень трудно поверить их утверждению, если бы мы не знали, что то же животное у древних греков называлось то «оис», то «овис», у римлян — «овис», и у нынешних литовцев оно именуется «авис». Вот теперь, когда мы выстраиваем в один ряд все эти названия домашнего животного: «авис», «оис», «овис», «овьца», «овца», нам становится ясно, что перед нами родственные языки и слова.

Трудно найти что-либо более важное и более интересное, чем те выводы, к которым подводит нас внимательный взгляд на «самые короткие слова» нашего языка.

Конечно, сам по себе вопрос этот не представляет глубокой научной ценности, как и вопрос о «длинных словах». Но, подобно этому первому, он заставляет нас вдуматься в очень важное явление языка, узнать кое-что новое о жизни слова. Вот к этому-то я и стремился привести вас.

Теперь, рассмотрев все вопросы, без которых мы не могли бы сознательно заниматься «анатомией слова», изучением того, что «находится внутри» наших русских слов, мы и перейдем к этому любопытнейшему занятию. Давайте коснемся хотя бы немного той из составных частей русского слова, которая большинству учащихся и учившихся представляется чем-то самым трудным и скучным в грамматике, — суффикса слова.

ГЛО́КАЯ КУ́ЗДРА

Много лет тому назад на первом курсе одного из языковедческих учебных заведений должно было происходить первое занятие — вступительная лекция по «Введению в языкознание».

Студенты, робея, расселись по местам: профессор, которого ожидали, был одним из крупнейших советских лингвистов. Что-то скажет этот человек с европейским именем? С чего начнет он свой курс?

Профессор снял пенсне и оглядел аудиторию добродушными дальнотзорными глазами. Потом, неожиданно протянув руку, он указал пальцем на первого попавшегося ему юношу.

— Ну, вот... вы — проговорил он вместо всякого вступления. — Подите-ка сюда, к доске. Напишите... напишите вы нам... предложение. Да, да. Мелом, на доске. Вот такое предложение: «Глокая...» Написали? «Гло́кая ку́здра».

У студента, что называется, дыхание сперло. И до того на душе у него было беспокойно: первый день, можно сказать, первый час в вузе; страшно, как бы не осрамиться перед товарищами; и вдруг... Это походило на какую-то шутку, на подвох... Он остановился и недоуменно взглянул на ученого.

Но языковед тоже смотрел на него сквозь стекла пенсне.

— Ну? Что же вы оробели, коллега? — спросил он, наклоняя голову. — Ничего страшного

нет... Куздра как куздра... Пишите дальше!

Юноша пожал плечами и, точно слагая с себя всякую ответственность, решительно вывел под диктовку: «Гло́кая куздра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка».

В аудитории послышалось сдержанное фырканье. Но профессор поднял глаза и одобрительно осмотрел странную фразу.

— Ну вот! — довольно произнес он. — Отлично. Садитесь, пожалуйста! А теперь... ну, хоть вот вы... Объясните мне: что эта фраза означает?

Тут поднялся шум.

— Это невозможно объяснить! — удивлялись на скамьях.

— Это ничего не значит! Никто ничего не понимает...

И тогда-то профессор нахмурился:

— То есть как: «никто не понимает»? А почему, позвольте вас спросить? И неверно, будто вы не понимаете! Вы отлично понимаете все, что здесь написано... Или — почти все! Очень легко доказать, что понимаете! Будьте добры, вот вы: про кого тут говорится?

Испуганная девушка, вспыхнув, растерянно пробормотала:

— Про... про куздру какую-то...

— Совершенно верно, — согласился ученый. — Конечно, так! Именно: про куздру! Только почему про «какую-то»? Здесь ясно сказано, какая она. Она же «глокая»! Разве не так? А если говорится здесь про «куздру», то что за член предложения эта «куздра»?

— По...подлежащее? — неуверенно сказал кто-то.

— Совершенно верно! А какая часть речи?

— Существительное! — уже смелее закричало человек пять.

— Так... Падеж? Род?

— Именительный падеж... Род — женский. Единственное число! — послышалось со всех сторон.

— Совершенно верно... Да, именно! — поглаживая негустую бородку, поддакивал языковед. — Но позвольте спросить у вас: как же вы это все узнали, если по вашим словам, вам **ничего не понятно** в этой фразе? По-видимому, вам многое понятно! Понятно самое главное! Можете вы мне ответить, если я у вас спрошу: что она, куздра, наделала?

— Она его будланула! — уже со смехом, оживленно загалдели все.

— И **штеко** притом **будланула**! — важно проговорил профессор, поблескивая оправой пенсне, — И теперь я уже просто требую, чтобы вы, дорогая коллега, сказали мне: этот «бокр» — что он такое: живое существо или предмет?

Как ни весело было в этот миг всем нам, собравшимся тогда в той аудитории, но девушка опять растерялась:

— Я... я не знаю...

— Ну вот это уж никуда не годится! — возмутился ученый. — Этого нельзя не знать. Это бросается в глаза.

— Ах да! Он — живой, потому что у него «бокрёнок» есть.

Профессор фыркнул.

— Гм! Стоит пень. Около пня растет опенок. Что же, по-вашему: пень живой? Нет, не в этом дело, А вот, скажите: в каком падеже стоит тут слово «бокр». Да, в винительном! А на какой вопрос отвечает? Будланула — **кого**? Бокр-а! Если было бы «будланула что» — стояло бы «бокр». Значит, «бокр» — существо, а не предмет. А суффикс «-ёнок» — это еще не доказательство. Вот бочонок. Что же он, бочкин сын, что ли? Но в то же время вы отчасти встали на верный путь... **Суффикс ! Суффиксы !** Те самые суффиксы, которые мы называем обычно служебными частями слова. О которых мы говорим, что они не несут в себе смысла слова, смысла речи. Оказывается, несут, да еще как!

И профессор, начав с этой смешной и нелепой с виду «глокой куздры», повел нас к самым глубоким, самым интересным и практически важным вопросам языка.

— Вот, — говорил он, — перед вами фраза, искусственно мною вымышленная. Можно подумать, что я нацело выдумал ее. Но это не вполне так.

Я действительно тут перед вами сделал очень странное дело: сочинил несколько корней, которых никогда ни в каком языке не бывало: «глок», «куздра», «штек», «будл» и так далее. Ни

один из них ровно ничего не значит ни по-русски, ни на каком-либо другом языке¹⁰⁹.

Я, по крайней мере, не знаю, что́ они могут значить.

Но к этим выдуманым, «ничьим» корням я присоединил не вымышленные, а настоящие «служебные части» слов. Те, которые созданы русским языком, русским народом, — русские суффиксы и окончания. И они превратили мои искусственные корни в макеты, в «чучела» слов. Я составил из этих макетов фразу, и фраза эта оказалась макетом, моделью русской фразы. Вы ее, видите, поняли. Вы можете даже **перевести** ее; перевод будет примерно таков: «Нечто женского рода в один прием совершило что-то над каким-то существом мужского рода, а потом начало что-то такое вытворять длительное, постепенное с его детенышем». Ведь это правильно?

Значит, нельзя утверждать, что эта искусственная фраза **ничего не значит** ! Нет, она значит, и очень многое: только ее значение не такое, к каким мы привыкли.

В чем же разница? А вот в чем. Дайте нескольким художникам нарисовать картину по этой фразе. Они все нарисуют по-разному, и, вместе с тем, — все одинаково,

Одни представят себе «куздру» в виде стихийной силы — ну, скажем, в виде бури... Вот она убила о скалу какого-то моржеобразного «бокра» и треплет всю его детеныша...

Другие нарисуют «куздру» как тигрицу, которая сломала шею буйволу и теперь грызет буйволенка. Кто Что придумает! Но ведь никто не нарисует слона, который разбил бочку и катает бочонок? Никто! А почему?

А потому, что моя фраза подобна алгебраической формуле! Если я напишу: $a + x + y$, то каждый может в эту формулу подставить свое значение и для x , и для y , и для a . Какое хотите? Да, но в то же время — и не какое хотите. Я не могу, например, думать, что $x = 2$, $a = 25$, а $y = 7$. Эти значения «не удовлетворяют условиям». Мои возможности очень широки, но ограничены. Опять-таки почему? Потому, что формула моя построена по законам разума, по законам математики!

Так и в языке. В языке есть нечто, подобное определенным цифрам, определенным величинам. Например, наши слова. Но в языке есть и что-то похожее на алгебраические или геометрические законы. Это что-то — **грамматика языка**. Это — те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения не из этих только трех или, скажем, из тех семи известных нам слов, но из **любых** слов, с **любым** значением.

У разных языков свои правила этой «алгебры», свои формулы, свои приемы и условные обозначения. В нашем русском языке и в тех европейских языках, которым он близок, главную роль при построении фраз, при разговоре играет что? Так называемые «служебные части слов».

Вот почему я и начал с них. Когда вам придется учиться иностранным языкам, не думайте, что главное — заучить побольше чужих слов. Не это важно. Важнее во много раз понять, ка́к, какими способами, при помощи каких именно суффиксов, приставок, окончаний этот язык образует существительное от глагола, глагол от существительного; как он спрягает свои глаголы, как склоняет имена, как связывает все эти части речи в предложении. Как только вы это уловите, вы овладеете языком. Запоминание же его корней, его словаря — дело важное, но более зависящее от тренировки. Это придет!

Точно так же тот из вас, кто захочет быть языковедом, должен больше всего внимания уделять им, этим незаметным труженикам языка — **суффиксам , окончаниям , префиксам** . Это они делают язык языком. По ним мы судим о родстве между языками. Потому что они-то и есть грамматика, а **грамматика — это и есть язык** .

Так или примерно так говорил нам крупный советский языковед Лев Владимирович Щерба, учеником которого я имел честь когда-то быть¹¹⁰.

¹⁰⁹ Профессор ошибся по крайней мере в одном слове; по-венгерски «bokr» («bokor») — куст...

¹¹⁰ Л. В. Щерба читал эту свою лекцию осенью 1925 года в Институте истории искусств. Прошло почти полвека, и вот что пишут теперь специалисты по так называемому «машинному переводу», по применению к языкознанию «кибернетических устройств», о которых в 20-х годах никто не имел никакого понятия во всем мире: "Если попало слово, которого нет в словаре машины, она определит и часть речи его и грамматические функции. Она будет действовать, как те студенты, которым языковед Л. В. Щерба предложил... разобрать по частям речи

И тогда и позднее многие не соглашались и спорили с ним.

Его называли «формалистом», потому что самым главным, самым основным при изучении языка он считал изучение грамматики. А ведь грамматика говорит как будто только о «форме» языка, а не о том глубоком содержании, которое он выражает. Не о том, что человек хочет сказать, а лишь о том, как он это что-то говорит.

Спор был долгим и сложным. Однако теперь мы точно знаем, кто был прав, потому что ныне в этот спор внесена полная ясность. Один словарный состав без грамматики еще не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение.

Грамматика похожа на геометрию.

Геометрия не говорит об этом вот кубике или о тех двух треугольниках; она устанавливает свои законы для **всех вообще** кубов, шаров, линий, углов, многоугольников, кругов, какие только могут найтись на свете.

Так и грамматика не только учит нас тому, как можно связать слово «лес» со словом «белка» и словом «живет», но и позволяет нам связать между собою **любые** русские слова, чтобы выразить **любую** мысль о **любом** предмете.

Так разве не прекрасным примером этой способности связывать любые слова, разве не чудесным образчиком удивительной силы грамматики является тот на первый взгляд забавный, а по-настоящему — глубокий и мудрый пример, который придумал некогда для своих учеников большой советский ученый Лев Владимирович Щерба, — его «глокая куздра»!

По его совету и мы отныне будем внимательно приглядываться к «служебным частям» русского слова и в первую очередь — к его суффиксам.

ДВА СЛОВА О СУФФИКСАХ

Если я вижу перед собой слово, это вовсе еще не значит, что я могу тотчас указать пальцем: «А вот его суффикс!» Далеко не каждый выделенный из слова и не являющийся корнем отрезок заслуживает этого почетного звания.

Возьмите такое довольно длинное слово из словаря химиков, как «аминополипептидаза». Уж наверняка оно состоит не из одного только корня. Тем не менее — укажите мне хотя бы на один входящий в его состав русский суффикс!

Возьмите и другое, совсем уже простое русское слово «обувь». Как я уже заметил однажды, не так-то просто разбить его на части, отделить корень от суффикса. Спрашивается: а по каким признакам мы вообще отличаем суффиксы от других частей слова?

Чтобы часть слова, следующая за корнем, стала в наших глазах суффиксом, необходимо два условия. Во-первых, должен существовать ряд слов, содержащих тот же корень, но отличающихся остальными частями. Кроме того, слова эти должны иметь значение, близкое к значению первого слова, но вместе с тем и отличное от него.

Во-вторых, обязательно должен быть другой ряд. В него должны входить такие слова, у которых корни разные, но наш кандидат в суффиксы везде налицо. У этих слов должно быть совершенно различное значение, и все же в них должно чувствоваться нечто общее. Так как отвлеченные объяснения дают мало, приведу пример:

- 1
- 2

ПИСатель
писаТЕЛЬ

фразу «Глокая куздра штеко будланула бокра...» Это напечатано в № 6 журнала «Москва», на 173-й странице, в статье Дм. Жукова «На руинах Вавилона». А ведь надо сказать, что сорок лет назад раздавались голоса, обвинявшие Л. В. Щербу в «формализме», в том, что его исследования морфологии слов «ни к чему не ведут», что от них никогда человечество не получит никакой пользы. Вот какой осторожности и в то же время дальнорзости мысли требует языкознание.

ПИСание
читаТЕЛЬ

ПИСанина
двигаТЕЛЬ

переПИСчик
мыслиТЕЛЬ

Сопоставляя оба столбика, каждый заметит: да, звукосочетание «тель» вправе быть суффиксом. Оно сочетается с разными корнями и каждому придает один и тот же оттенок значения: «тот, кто это делает».

Далеко не все схожие сочетания звуков способны на это. Посмотрите на такой ряд слов:
ТЕЛега

ТЕЛячий

ТЕЛеграф

Во все слова входит звукосочетание «тель». Но оно является в них чем угодно, только не суффиксом: второго ряда к этим словам никак не подберешь.

На первый взгляд странно: неужели так уж трудно выделить суффикс в составе слова? Ведь уже школьники третьего или четвертого класса — мастера на этот счет! Да и откуда бы взяться трудностям? Однако сто́ит вдуматься, как положение начинает осложняться; как и все в языке, суффиксы слов начинают загадывать нам престранные загадки, обнаруживают поведение вовсе неожиданное.

Прежде всего оказывается: не так-то легко даже провести границу между ними и другими частями слов, — скажем, окончаниями в одну сторону и корнями — в другую.

Вот, допустим, всем известное окончание родительного падежа множественного числа существительных «-ов» («мирОВ», «слонОВ») Историки языка установили, что жизненный путь этого окончания не так-то прост. В далеком прошлом окончание это было свойственно немногим, но зато очень часто попадавшимся на язык словам: сын — сынОВ, дом — домОВ, вол — волОВ... Другие, более редкие в речи существительные мужского рода образовывали иные родительные падежи множественного числа. Это было естественно: ведь основы их были разными и требовали неодинаковых окончаний.

Но потом случилось нечто «противозаконное». Привыкнув к часто звучавшему «ов», люди стали заменять им менее привычные суффиксы менее примелькавшихся слов. Например, стали говорить «волк — волкОВ» и т. д. Теперь мы привыкли к этому «ов», а ведь ему тут не надлежало бы быть. Оно тут на положении «незваного гостя», выросло из совсем другого суффикса.

Странно? Пожалуй. Тем не менее этот процесс превратился как бы в своего рода «цепную реакцию», — под его действие подпадает все большее и большее число русских слов, особенно в народном языке, в так называемом просторечии. Вам самим, вероятно, приходилось наталкиваться на эти родительные падежи-самозванцы: слово среднего рода вдруг дает в устной речи родительный множественного числа на «ов», характерный для рода мужского:

«Подумаешь, — делОВ-то!»

или:

«Граждане! МестОВ нет...»

Здесь, так же как и в языке ребят, подчас говорящих «много ягодОВ» или «я кошкОВ люблю больше собакОВ», нам ясна неправомомерность такой, формы. Но есть много случаев, когда колеблются даже правильно говорящие по-русски люди. Как лучше сказать: «У меня нет чулОК или чулКОВ; сапог или сапогОВ»? Если правильнее «сапог», то почему же надо говорить «зубОВ», а не «зуб»? Почему надо говорить: на голове осталось мало «волос», но "кандидат собрал слишком мало «голосОВ»? Ведь «го́лос» и «во́лос» — существительные

одного морфологического типа. Недаром эта сложная путаница, восходящая своим началом, как вы видели, к очень давним временам, отразилась даже в распространенной шутке:

"Как правильнее сказать:

у рыбОВ нет зубОВ,

у рыбЕЙ нет зубЕЙ

или

у рыб нет зуб?"

Как видите, вопросы, связанные с суффиксами и окончаниями, иной раз оказываются довольно запутанными.

Нередко возникает своеобразная пограничная война и между суффиксом и корнем слова. Корень порою просто как бы «заглатывает» суффикс, и мы перестаем замечать присутствие этой части слова.

Рядом со словом «полено» есть слово «поленЦЕ». Сомнений нет: это уменьшительный вариант для слова «полено», и уменьшительность создана суффиксом «-це». Таких пар множество: «зубило — зубильЦЕ», «окно — оконЦЕ», «золото — золотЦЕ»... Всегда бывает так. Тут ясно, где корень, где суффикс. Отлично. Ну, а что вы скажете о таких словах, как

«солнЦЕ» или «сердЦЕ»?

Что, по-вашему: это тоже уменьшительные формы к каким-то словам?.. Да! У нас в нашем, современном языке нет слов «солнь», «сердь» и „солнь“, „сердь“, от которых могли бы отпочковаться эти уменьшительные. Но они, несомненно, были в древности. Как это можно доказать?

Прежде всего обратите внимание на такие слова, как «сердобольный» (ведь не «сердце-больной»!) или «солно-пек» (рядом с более новым «солнце-пек»): они уже говорят о многом. А кроме того, история языка указывает нам на старославянские слова «сърдце» и «сълньце», в которых древний суффикс «-це» чувствуется уже очень явно.

Выходит, что мы с вами уверенно считаем слова «сердечко» или «солнышко» уменьшительными от «сердце» и «солнце», а на деле сами «сердце» и «солнце» такие же уменьшительные от неведомых нам «сердь» и «солнь». «Серд-це» уже и значит «серд-ечко». «Солн-це» само означает «солн-ышко». «Це» и тут суффикс, только древний.

Это легко подтвердить на другой группе слов, вроде:

Рыло — рыльЦЕ Одеяло — одеяльЦЕ

Слыша эти слова, никто не усомнится: «-це» здесь бесспорный уменьшительный суффикс. Тут и он и корень видны, так сказать, «простым глазом». Но, взяв слова «крыльцо» или «кольцо», мы сразу же окажемся в более трудном положении. Мы забыли сейчас, что некогда слово «крыльцо», означая «крытый вход», было близко связано по смыслу со словом «крыло» (которое тоже значит «покров, кровля для тела птицы»). «Крыльцо» значило тогда «маленькое крыло»¹¹¹. Точно так же мы, русские, утратили старое слово «коло», когда-то означавшее «круг». Однако в других славянских языках оно превосходно существует: по-украински «коло» — круг, колесо, окружность: по-чешски — колесо, круг, велосипед; в дореволюционной Государственной думе была польская партия, которая так и именовалась «ко́ло по́льске», то есть «польский кружок». В Болгарии «коловоз» означает след от колес (как наша «коле-я»), а «колхоз» — «самокатчик». Не приходится сомневаться: наше русское «коль-цо» — уменьшительное к этому же слову «коло», и значит оно «кружок», «кол-ечк-о».

В только что приведенных словах старые их формы приходится как бы «демаскировать», но это не слишком сложно. Есть случаи, где такая работа оказывается не в пример более трудной.

Вот, например, слова вроде наших современных «дар», «пир», «жир», «добр», «храбр» и т. п. Или такие, как «полк», «знак», «мрак».

Каждый современный русский человек уверен, что перед ним слова-корни; никаких суффиксов в них он не подозревает. А языковед качает головой: не так-то просто!

В первой группе мы встретились с очень древним суффиксом «-р(ъ)». Ведь рядом с «да-р»

¹¹¹ И сейчас допустимо во множественном числе сказать «крыльца» вместо «крылышки».

есть такие слова, как «да-в-ать», «да-н-о» и т. д.; рядом с «пи-р» — «пи-ть», «пи-в-о». Во второй группе действует столь же ветхий «отставной» суффикс «-к(ъ)»: достаточно сопоставить слова «зна-к», «зна-мя», «зна-ть».

Что же с ними случилось? За долгие века древние корни как бы всосали в себя столь же древние суффиксы. Мы теперь слово «не-о-добр-я-ть» разлагаем именно так, на корень «добр» и другие части морфемы, и высокомерно считаем «искажением» такое употребление слов, какое можно услышать, например, под Псковом: «Ай, Пантюха, малец доб гораздо!» (то есть «очень хорош»). А ведь на деле, пожалуй, тут вовсе не искажение, а сохранение древнейшей формы.

Вот какими захватчиками ведут себя по отношению к суффиксам подчас корни. Но можно привести и прямо противоположные примеры.

Слово «тайник» или слово «охотник» произведены от слов «тайный» и «охотный» (например, Охотный ряд в Москве) прибавлением к основам суффикса «-ик». Сами же прилагательные образованы от других основ при помощи суффикса «-н-». Таким образом, этот последний относится в слове «охот-н-ик» к основе. Это ясно.

Взяв же слово «клеветник», мы его не можем разложить так же: прилагательного «клеветной» не существует.

Что же произошло? Слово «клеветник» образовалось **по аналогии** с теми словами, которые связаны с прилагательными на «-ный». Суффикс «-ик» как бы «отгрыз» звук "н" от основ на «-ный» и, включив его в себя, усложнился, вырос в новый суффикс, «-ник». Такие случаи далеко не редкость, и, хотя вопрос о происхождении суффиксов еще отнюдь не до конца изучен и разрешен учеными, здесь перед нами явный пример «рождения нового суффикса».

И в русском языке и в языках других народов можно указать немало любопытных случаев такого возникновения новых суффиксов из совершенно самостоятельных (часто даже иноязычных) слов. Во французском языке живет сейчас очень широко применяемый суффикс наречий «-ман»;

гордая — фьер
горделиво — фьерман

нежная — дус
нежно — дусман

Этот суффикс может быть назван новорожденным. Он возник в литературном французском языке из книжного латинского языка. По-латыни употребительны выражения вроде:

«Фэра мэнте» (fera mente) — «с яростным духом» потому что «мэнс» (родительный падеж — «мэнтис», творительный — «мэнте») по-латыни означает «ум», «дух». Из него и получилось французское «фьерман». Из латинского «дульцэ мэнте» («со сладостным духом») образовалось «дусман». Но, раз приняв этот способ, французы начали образовывать по его примеру слова от самых разнообразных, уже французских, корней и основ, совершенно не считаясь, были ли соответственные слова в языке древних римлян. Так возникли наречия

publiquement
(пюбликман) — публично

subitement
(сюбитман) — внезапно

sottement
(соттман) — глупо

и сотни других, которые очень бы удивили римлян: никто из них не мог бы сказать «пу'блике ме'нте» («с публичной душой») или «суби'то ме'нте» («с неожиданной душой»). Но современному французскому языку до этого нет никакого дела: он спокойно превратил творительный падеж латинского существительного «mens» — во французский суффикс «ment»

и, так сказать, «в ус не дует».

Подобно этому и у нас, в русском языке, всё больше теряют значение прилагательных, всё больше приближаются к суффиксам такие слова, как «видный» («шаровидный» — круглый), «обра́зный» («разнообразный», «звездообразный») и им подобные.

Новые суффиксы рождаются, старые отмирают, как и целые слова. Наши предки спокойно и свободно слагали с различнейшими основами суффикс «-арь» и получили наименования действующих лиц: «куст-арь»¹¹², «бонд-арь», «золот-арь».

Мы утратили способность пользоваться этим суффиксом. Мы не можем сейчас создавать слова вроде: «летАРЬ», «пулеметАРЬ», «танкАРЬ» или «атомАРЬ». Мы предпочитаем при помощи других, ныне живых, «деятельных», суффиксов производить иные слова: «летЧИК», «пулеметЧИК», «атомЩИК», или наконец, «танкиСТ».

Таким образом, становится еще более ясным, что особая жизнь, особая, своя история присуща в языке не только звукам слов, с чем мы уже ознакомились, но и частям слов и их грамматическим формам. Именно поэтому ими так интересуется языковедение.

МЕСТО ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ

Заговорив о суффиксах и связанных с ними вопросах, я не могу не коснуться одного, по-моему, небезынтересного и малоизученного грамматического обстоятельства: оно крайне наглядно показывает, как тонки, причудливы и своеобразны бывают порою нормы и законы нашего языка. Очень часто мы, практически без всякого труда, говорим совершенно правильно по-русски, верно образуем нужные слова, превосходно их понимаем, а вот объяснить, ка́к мы это делаем и почему делаем именно так, затрудняемся, и даже очень.

Я родился и живу в Ленинграде. Поэтому я — **ленинградец**.

Мой друг — уроженец Пскова. Что же он — псковец? Отнюдь нет: он **пскович**! Ни один русский человек не сделает такой смешной ошибки, не назовет псковича псковцем.

Хорошо. Тогда, видимо, от имен городов, которые оканчиваются на «-ов» или «-ков», слова, означающие их уроженцев, образуются при помощи суффикса «-ич»? Ничуть не бывало: житель Харькова вовсе не харькович, а харьковчанин. Житель Тамбова скорее уж **тамбовец**, чем тамбович. А вот житель нашей столицы Москвы — он, безусловно, **москвич**, хотя его же можно назвать еще и москвитянином (как псковича псковитянином: вспомним пьесу Мея и оперу Римского-Корсакова «Псковитянка»).

В свою очередь, суффикс «-чанин» тоже никак не связан неразрывно с названиями городов, оканчивающимися на «-ков»: рядом с харьковчанами существуют минча́не (жители Минска) и оло́нчане из Олонца;¹¹³ зато от города Томска никак нельзя произнести слова «томчанин»; жителя Пинска зовут не пинчанин, а пинчук, а тот, кто вздумал бы назвать **омчанином** жителя Омска, был бы крайне удивлен, узнав, что омчанами (или амчанами) искони именовались в народе обитатели города **Мценска** Орловской области; была даже поговорка, утверждавшая, что «о(а)мчане коней умчали».

Мы просто и удобно говорим:

пскович из Пскова,
москвич из Москвы,
костромич из Костромы.

Но ни у меня, ни у вас «язык не повернется» рассказать про своего друга «кинешмича» или про знакомую «бугульмичку», хотя, казалось бы, Кострома, Кинешма и Бугульма — слова

¹¹² Впрочем, некоторые языковеды полагают, что слово «кустарь» связано не с русским корнем «куст», а с немецким словом K"unstler — «искусник». Тогда суффикс тут иной, как в словах «маляр» — Mahler или «слесарь» — Schlosser..

¹¹³ Занятно, что от названия города ЧЕРЕПОВЕЦ старая правильная форма названия жителей была «черепане». Отсюда пошла известная фамилия «Черепановы». Форма «черепане» встречается в стихах большого знатока северных наречий, поэта А. А. Прокофьева.

формально однотипные. Очевидно, однако, язык ощущает в них какую-то таинственную разницу: ведь «костромитянин» сказать тоже можно, а «бугульмитянина» или «кинешмитянина» я за всю мою жизнь не встретил ни одного.

Пестрота суффиксов, образующих в русском языке названия обитателей географических мест, поистине удивительна, и, насколько я знаю, более или менее удовлетворительной их классификации и анализа не существует. А жаль!

Вот существуют два города: Старая Русса и Одесса. От первого никто не помешает вам образовать производное «староруссец». А от названия города Одесса известно только созданное в литературном языке при помощи иностранного суффикса производное «одессит»¹¹⁴.

Почему так случилось? Не потому ли, что слово Одесса явно не русское? Вряд ли это будет правильным объяснением, — ведь от таких бесспорно нерусских названий, как Лондон, Париж, Берлин, мы производим чисто русские образования: «парижанин», «лондонец», «берлинец»; да и от слова «Венеция» образовали «венецианца», а не «венецита». Советский город Сарепта в Поволжье населен у нас тоже никак не сарептитями: такое слово звучало бы скорее как название минерала (апатит) или болезни (стоматит), чем человека¹¹⁵.

Любопытны, в частности, еще некоторые наименования жителей городов. Вполне закономерно мы называем новгородцами жителей Новгорода. Можно назвать ужгородцами обитателей Ужгорода. Когда нынешний Горький именовался Нижним Новгородом, его жители именовались не нижненовгородцами, а сокращенно — нижегородцами. Но совершенно неожиданно жители Архангельска носят звание архангелогородцев, и крайне редко можно услышать вместо него: «архангельцы». Объяснить это можно лишь тем, что в сознании наших предков имя этого крупного северного центра воспринималось как определением. «Архангельск(ий) город». Отсюда, естественно, и возникло, «архангелогородцы».

Занятно и то, что, совершенно спокойно именуя жителей Владикавказа (теперь г. Орджоникидзе) владикавказцами, мы почему-то не можем так же поступить с обитателями Владивостока; скорее уж возможно было бы: «владивосточане». От очень многих названий городов и сёл нашей страны мы вообще затрудняемся образовывать производные обозначения для их жителей, при всей гибкости нашего языка. Легко расправляясь с такими чуждыми русскому слуху названиями, как Баку (бак-ин-ец), Астрахань (астрахан-ец) или даже Алма-Ата (алма-ати-н-ец), язык наш останавливается в растерянности перед некоторыми и новыми и даже древними чисто русскими названиями. Попробуйте «обработать» в этом смысле такие города, как Котлас, Новороссийск или Смоленск. Не так-то это просто!

От названия города Холм мы легко производим слово «холм-ич»; от Порхова — «порхов-ч-анин». А вот соседний город Остров представляет собою презатруднительный случай. «Островитянин» означает совсем другое, «островец» не годится... Мне лично известно только единственное, народное, да к тому же местное псковское, областное производное слово для жителей Острова и его района — острове́нь (и островни́ха). Правда, в Псковском округе слова эти очень употребительны.

Я сейчас, заводя разговор об этих своеобразных суффиксах, не собирался ни исчерпать их все, ни предложить какую-либо мало-мальски обоснованную их классификацию. Но, мне кажется, этим можете не без пользы заняться вы сами. Поглядите нижеследующий коротенький перечень, пополните его пропущенными мною разновидностями (я думаю, их найдется немало)

¹¹⁴ О его происхождении ходит явно легендарный рассказ. Слово «Одесса» рассматривается в нем как вывернутое наизнанку французское словосочетание «ассэ д'о» (assez d'eau), означающее: «воды достаточно». Одесса, основанная эмигрантом де Рибасом и его приближенными, была заложена на том месте берега, где в сухой степи оказалось «ассэ д'о» — довольно воды. Легенда остроумна, но очень сомнительна. Наименование «Одесса» восходит, вероятно, к названию нескольких древнегреческих поселений на Черном море — «Одессос», значение которого «Водяное», «Прибрежное». Попробуйте поменять суффиксы местами: «одесс-ец» и «старорусит»... Получается достаточно уродливо, чувствуете? У языка вышло лучше!

¹¹⁵ Любопытно, что с названиями зарубежных городов этот «иностраннный суффикс» как будто никогда не применяется. Я, по крайней мере, таких случаев не знаю. Даже жители библейской ЭДЕССЫ существуют в Библии не как «эдесситы», а как «эдессяне». А внутри России — пожалуйте.

и попытайтесь разобраться в вопросе, чем же объясняется и их многообразие и тот выбор, который делает язык в каждом данном случае. Может быть, вы натолкнетесь на интересные зависимости. Для начала я предлагаю такую табличку.

Суффикс «-ИЧ»: Москва — москвич, Псков — пскович, Холм — холмич. А еще какие?

Суффикс «-ЕЦ»: Ярославль — ярославец, Ленинград — ленинградец, Астрахань — астраханец. Баку — бакинец, Уфа — уфимец; сто́ит обратить внимание, что внутри этой группы есть разные «разделы» по тем «вставкам благозвучия», которые отличают одно имя от другого: слову «Баку» придан звук "н", а слову «Уфа» — звук "м". От слова «Ярославль» отброшен последний согласный. Все это интереснейшим образом осложняет дело.

Суффикс «-ЯК» («-АК»): Тула — туляк, Пенза — пензяк, Пермь — пермяк (а почему «Уфа» не дала «уфяка?»), Крым — крымчак, Сибирь — сибиряк. Но Кавказ — кавказЕЦ, Камчатка — камчаДАЛ. Впрочем, некогда существовало и выражение: «татары-крымцы»...

Суффикс «-АНИН»; Устюг — устюжанин, Минск — минчанин, Оловец — олончанин, Курск — курянин, Смоленск — смолянин, Рим — римлянин, Париж — парижанин, Мценск — о(а)мчанин.

Суффикс «-ИТ»: Одесса — одессит.

Суффикс «-УК»: Пинск — пинчук, Полесье — полещук.

Суффикс «-ЕНЬ»: Остров — острове́нь.

Я надеюсь, вы сильно расширите эту схемку. Очень любопытно рассмотреть и слова, производные от названий деревень, а также шире исследовать русские производные от иностранных имен. Можно поискать и более редкие суффиксы (вроде: камчадал). Ведь подумать только, как сложен их набор даже в одной такой узкой и специальной области словопроизводства!

Глава 7. ПОСТУПЬ ВЕКОВ



Когда мы с вами рассматривали слова человеческого языка, мы встречались и с медленным изменением их состава внутри отдельных языков и с пережитками давнего времени, которыми так богат наш «словарный фонд». Но ведь и только что, обратив внимание на «внутреннее устройство» слова, мы в нем самом подсмотрели явления неодинакового возраста. Не все наши суффиксы — ровесники: среди них есть такие, которые, прожив бурную и деятельную жизнь, ушли на покой, уступив место другим. Есть такие, которые именно теперь образуют большое число новых слов. Сравните хотя бы то «-ль», которое века назад означало

принадлежность в слове «Ярославль», с теми «-ов» или «-ев», какими мы пользуемся с этой же целью во множестве наших современных слов сегодня. Что же? Значит, в языке изменчив не только его словарный состав, но и управляющая словами грамматика?

Да, так оно и есть. Грамматический строй языка претерпевает с течением времени изменения, совершенствуется, обогащается новыми правилами, но основы грамматического строя сохраняются в течение очень долгого времени.

Раз грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд, значит, мы можем указать на такие явления грамматики, которые когда-то были свойственны нашему языку, а затем перестали существовать в нем, так же как умерли некоторые слова этого языка.

Раз это изменение медленно, и даже очень медленно, мы наверняка можем, изучая его, наткнуться на случаи, когда грамматическое правило уже перестало иметь неотменимую силу всеобщего закона, но еще сохраняется кое-где и кое в чем, когда то или иное из явлений грамматики для своего объяснения требует такого же глубокого исследования истории языка, какого требуют, как мы видели, для их понимания некоторые наши слова и даже некоторые звуки наших слов.

Попробуем на одном-двух примерах познакомиться с такими явлениями.

ЧТО ЭТО ЗА ПАДЕЖ?

Вероятно, каждый из читателей считает себя способным без затруднения установить в любом русском предложении, в каком числе и падеже стоят входящие в него имена существительные. Было бы просто стыдно, если бы кто-либо из нас не умел этого сделать.

Если так, позвольте предложить вашему вниманию вот такую, довольно простую на вид, фразу:

"Ровно в **два часа** пополудни эскадроны, построившись в **четыре ряда**, начали движение на высоту. В пять часов, однако, от этих рядов ничего не осталось..."

Я просил бы вас определить, в каком числе и падеже стоят слова «час» и «ряд» там, где они выделены шрифтом? Боюсь, однако, что простой вопрос этот вызовет у вас неожиданные споры и разногласия.

Действительно: речь в обоих случаях идет о **двух** или о **четырех**, а не об одном предмете. Было бы крайне странно, если бы мы о **нескольких** вещах попытались говорить в **единственном** числе. Надо думать, перед нами число **множественное**.

Но, просклоняв во **множественном** числе слово «ряд» или слово «час», вы вряд ли найдете там подобные формы: «часа́», «ряда́»... Вот формы «часо́в» и «рядо́в» — точь-в-точь такие, какие мы видим во втором предложении нашего примера, — там присутствуют. Это бесспорные родительные падежи.

«Я не вижу чего?» — «Я не вижу часо́в».

«Сколько тут — чего?», «Сколько тут рядов?» — «Десять рядо́в». И вдруг совершенно неожиданно: «Сколько рядо́в?» — «Два рядо́в»!

Положение осложнится, если вы обратите внимание на то, что и в единственном числе самая близкая к нашей падежная форма — родительный падеж «рядо́в» — имеет несколько иной вид, чем наше «ряда́». Никто ведь не говорит: «Из рядо́вон выходящий случай» или: «У меня билет первого рядо́в».

Откуда же, спрашивается, взялось у нас в языке это странное «рядо́в»?

Прежде всего: существительные «ряд» и «час» стоят здесь не сами по себе, а в связи с именами числительными: «два часа́», «четыре рядо́в».

Между тем в наших русских числительных вообще довольно много загадочных свойств для человека наблюдательного.

Возьмите такие из них, как «один» и «два». Оба они изменяются по родам. Можно сказать: «один танк», «одна пушка», «одно оружие». А вот формы среднего рода от слова «два» никак не произведешь.

Сказать «два человека» можно. Сказать «две птицы» также можно. Но если речь заходит «о двух растениях» или «двух животных», то вам приходится употреблять при этих

существительных имя числительное в той же форме, как и при «человек», «зверь», «дом», то есть в форме мужского рода: «два окна», «два насекомых». А почему не «две окна»? Попробуйте объяснить¹¹⁶.

Нельзя, естественно, от числительного «два» образовать и формы множественного числа. Вот я сказал «естественно», но если вдуматься, так никакой «естественности» в этом нет.

Можно допустить, что множественное число от «два» не образуется просто по ненадобности; и без того ясно: слово это означает не «один» предмет, а больше.

Да. Но ведь слово «тысяча» означает в пятьсот раз большее число, нежели «два», а мы спокойно говорим «тысячи», «многие тысячи», «десятки тысяч». Говорим мы и «пятьсот», «тремястами».

Пожалуй, объяснить это можно только тем, что числительное «два» почти совсем утратило все свойства «имени», тогда как слово «тысяча», хотя и стало названием числа, всё еще продолжает оставаться именем существительным. К слову «тысяча» можно без труда присоединить определение: «моя тысяча», «полная тысяча», «добрая тысяча». Можно от него образовать уменьшительное: «тысчонка».

А попробуйте сделать что-нибудь подобное со словом «два». Ведь «двойка» не есть уменьшительное к «два»; это совсем другое слово, очень далекое от значения «маленькая пара». «Двойка» — название цифры, а не числа.

Вот со словом «один» дело обстоит совершенно иначе. Не говоря уже о том, что «один» имеет все три родовые формы: «один, одна, одно», слово это, казалось бы воплощающее наше представление об «единственности», совершенно спокойно принимает формы **множественного числа** :

Мы — одни: из сада в стекла окон
Светит месяц...

А.Фет

Или:

Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадают одне...

А.С. Пушкин

Попробуйте вдуматься в эти выражения; они поразят вас своей противоречивостью; тот, кто не является знатоком русского языка, поймет их с трудом.

«Я один» — казалось бы, значит: "я нахожусь в единственном числе". А «мы одни» означает, что каждый из нас именно «не один»; нас, по меньшей мере, — двое, а может быть — и множество; ведь много же «полосатых верст» насчитал на своей ночной дороге Пушкин!

Получается, что слово «одни» здесь уже почти утратило значение числительного, перестало отвечать на вопрос «сколько» и сделалось близким по смыслу к таким наречиям, как «втроем», «всемером», или даже как «много», «несколько». «Одни» стало значить: «без посторонних», «только они».

Довольно поучительно приглядеться, как пользуются словами такого же значения другие — не наш — языки.

Нашему слову «один» в смысле «единица» будут соответствовать

¹¹⁶ Стоит обратить внимание на то, что и производное слово «двое» имеет очень определенную родовую окраску. Мы можем сказать «двое парней», но только «две девушки». Однако «там пришли какие-то двое» можно сказать, если хоть один из пришедших мужчина. Говорим мы и «двое часов», «двое брюк».

такие слова:

по-английский — one

по-французски — un

по-немецки — ein.

А вот нашему «один» в смысле «в одиночестве» приходится подбирать уже совсем другие переводы. «Я один» будет звучать:

по-французски:

по-английски:

по-немецки:

je suis seul (же сюи сель) (я нахожусь в одиночестве)

I am by myself (ай эм бай май-селф) (я у самого себя)

или

I am alone (ай эм элоун).

Последнее выражение связано с one (уан).

Ich bin allein (их бин аллейн).

И тут «аллейн» связано с «ейн».

Наше же «мы одни», если его прямо перевести на эти языки, покажется французу или англичанину просто немислимым¹¹⁷.

Невольно вспомнишь слова знаменитого французского писателя П. Мериме:

«Русскому языку достаточно одного слова, чтобы соединить в нем множество мыслей, для выражения которых другими языками потребовались бы длиннейшие предложения...»

Следующее числительное — «три» — уже совершенно не изменяется по родам; идет ли речь о трактористах, доярках или полях, мы одинаково скажем о них — «три»¹¹⁸. И, собственно, это как раз неудивительно: так именно ведут себя и все остальные числительные — «пять», «восемь», вплоть до «двадцати».

Однако тут-то и всплывает вновь то странное расхождение, с которого мы начали эту главу.

Мы говорим:

один цыпленок

5, 6, 20, 100, 10 000 007 цыплят

Но: 2, 3, 4, 33, 1234 цыпленка

одна кисть

8, 17, 2937 кистей

2, 3, 4 кисти

одно поле

5, 70, 1100 полей

2, 4, 723 поля

В чем дело? А в том, что тут в левом столбце перед вами

¹¹⁷ Правда, по-французски можно употребить слово «un» и во множественном числе: «les uns et les autres» — «одни и другие», но в этом словоупотреблении есть такой же привкус искусственности, как у нас, когда мы употребляем междометия или предлоги в качестве существительных: «ахи и охи»; "критик называл сии частицы «ужами», и т. п.

¹¹⁸ Впрочем, «трое» ведет себя точно так же, как «двое»: можно сказать «трое мушкетеров», а «трое дам» — нельзя.

именительный падеж единственного числа, в среднем — родительный множественного, а вот в правом — как раз тот **загадочный** падеж числа **неведомого** : «2 рядА, 3 часА...»

В языке ничто или почти ничто не случается **просто так** , без причины. Если из всех числительных «два», «три», «четыре» ведут себя резко отлично от остальных, это что-нибудь да обозначает.

Сейчас у нас в русском языке, как вы очень хорошо знаете, имеется только два различных «числа» — единственное и множественное. Несколько же столетий назад их было **три** : единственное, множественное и **двойственное** . Это странное для каждого из нас «третье число» употреблялось первоначально всюду там, где речь шла о **парных** предметах, вроде человеческих глаз, рук, ног, рогов животных и т. п. Каждое существительное такого типа могло склоняться еще и в двойственном числе, отличном и от единственного и от множественного; падежи там имели совсем иные окончания.

Представить себе, как это делалось, без образчика почти невозможно. Чтобы облегчить вам задачу, я приведу несколько примеров старинного употребления **творительного падежа** . Они взяты из замечательного памятника древнерусской речи, из «Поучения Владимира Мономаха». «Поучение» это написано на том великолепном, выразительном русском языке, на каком говорили наши предки лет восемьсот назад.

Вот перед вами **творительный падеж множественного числа**:

"И вынидохом на святого Бориса день из Чернигова, и ехавом сквозе полкы половецкыя не с 100 дружины, и с *детьми* и с *женами* "119.

Тут слова, выделенные курсивом, склоняются точно так, как мы склоняли бы их сейчас.

Вот творительный падеж числа единственного:

"И седе в Переяславли 3 лета и 3 зимы, и с *дружиною своею* ..."120

Здесь в употреблении творительного падежа тоже нет ничего удивительного для нас с вами. Так же склоняем и мы.

Но вот, наконец, перед вами тот же творительный падеж, но уже **двойственного** числа:

"А се в Чернигове деял семь: конь диких *своима рукама* связал есмь в пущах по 10 и 20 живых конь, а кроме того еже по Роси езда имал есмь *своима рукама* те же кони дикия. Тура мя 2 метала на розех. А 2 лоси один *ногами* топтал, а другой *рогома* бол"121.

Вот теперь разница, вероятно, бросается вам в глаза: одно дело — «с детьми и с женами», и совсем другое дело — «рогома и ногами»!

Другие падежи двойственного числа тоже имели свою особую форму¹²². Само же число это мало-помалу стало употребляться не только в связи с парными предметами, но всюду, где речь шла о двух, трех или четырех предметах счета. Затем, также постепенно, оно начало исчезать из языка нашего народа: язык совершенствовал, улучшал и упрощал свои правила и законы. Но изменения эти медленны, так

119 «И вышли мы с сотней дружинников и с женщинами и с детьми на день святого Бориса из Чернигова, и ехали сквозь половецкие полчища...»

120 «И находился я в Переяславле со своею дружиною 3 лета и 3 зимы...»

121 «А вот что делал я в Чернигове: своими руками связывал в лесах по 10 и 20 живых коней, да кроме того, езда по реке Роси, ловил своими руками таких же диких лошадей. 2 тура метали меня на рогах... да 2 лося — один ногами топтал, а другой рогами бодал».

122 В двойственном числе существовали всего три падежные формы. Именительный совпадал с винительным и звательным, родительный — с предложным, дательный — с творительным.

медленны, что кое-где остатки прошлого, как бы окаменев, дожили до наших дней.

Так, например, склоняя числительное «два», вы, сами того не зная, спокойно употребляете древний «родительный падеж двойственного числа» от этого слова: «двух» = «дв+у+х»; в творительном же добавляете к нему еще и столь же древнее окончание творительного двойственного: «дв+у+мя». Ученые узнаю́т окончания этого числа в наших числительных «дв-е-надцать» и «дв-е-сти». Его же встречаем мы в таких странных по форме наречиях, как «воочию» («очию» было некогда **местным падежом** двойственного числа от слова «око»), которое означает «в двух глазах», или в таких, как «между».

И в тех примерах, в которых мы начали («два ряда», «четыре часа»), перед нами действительно появилась таинственная форма, не узнать которую вы имели законное право: это винительный падеж **двойственного числа**.

Судите сами, сколь сложен бывает порою путь, которым должен идти языковед, если он хочет ответить на вопросы, скрытые в самом, казалось бы, простом на вид нашем современном предложении.

ЗАГАДКА ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА

Помните у Пушкина:

Татьяна на широкий двор
В открытом платье выходит,
На *месяц* зеркальце наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная *луна*...

Что случилось? Бедная Татьяна ошиблась и направила свое волшебное стекло вместо одного светила на другое? Ничего подобного: месяц это и есть луна...

«Позвольте, — вправе сказать каждый, кто считает, что человеческий язык подчиняется правилам человеческой же логики, — как же так? Разве это не абсурд? Один и тот же предмет, небесное тело, именуется в русском языке двумя различными именами. Это куда ни шло: может быть, они отражают разные, но одинаково присущие ему черты, как их отражают слова „животное“ и „позвоночное“, „членистоногое“ и „насекомое“. Но что странно: слова-то эти разного рода: одно — мужского, другое — женского. Это, по меньшей мере, так же нелепо, как если бы у вас появился приятель, претендующий на то, чтобы его звали то Петей, то Аннушкой!»

Впрочем, столь ли уж это удивительно? Может быть, и в других языках та же картина? Нет: по-французски луна — «la lune» — женского рода, и конец;¹²³ по-немецки месяц — мужчина, и только: «der Mond».

Мы же привыкли к этой странности нашей речи и просто не замечаем ее, самым спокойным образом изображая в слове луну то в виде мужчины, то в виде женщины:

И сказала солнце *брату* :
Месяц, брат мой золотой!.. -

читаем мы в стихотворении Полонского. А Фет о том же месяце пишет, так сказать, совсем наоборот:

¹²³ Во французском языке есть выражение *croissant* («круассан») мужского рода, но оно означает «полумесяц», «лунный серп», то есть уже нечто иное.

Долго еще прогорит Вespera скромная лампа,
Но уже светит с небес *девы* изменчивый лик...

Или:

...медлительной царицей
Луна двурога обходит небеса...

Здесь «дева», «царица» — опять-таки луна, то есть тот же брат-месяц. Это не мешает тому же Фету в других стихотворениях восклицать:

О, этот *месяц-волшебник* !

и вообще явно не считаться с родом существительных, обозначающих как-никак один и тот же предмет...

А обращали ли вы когда-нибудь внимание на такую совершенную бессмыслицу: если всерьез принимать наши грамматические «роды», то получается, что «стул» чем-то мужественней «табуретки» и гибкий, нежный хмель больше похож на мужчину, чем та могучая береза, вокруг которой он обвился. Помните, в главе, посвященной словарям, я обращал ваше внимание на то, что у А. С. Пушкина в разные времена его творчества «тополь» («топол») играет роль то влюбленного юноши, то нежной девушки. В одном случае «с тополлом» сплетается молодая ива, в другом — хмель литовских берегов пленяется «немецкой тополлю». Да и удивляться тут нечему: «слива» в наших глазах почему-то «она», «персик» — он, а «яблоко» так и вообще — «оно», среднего, не существующего в жизни рода.

Даже самое поверхностное размышление об этом приводит к мысли, что основания такого распределения не могут лежать ни в прямой природе вещей, ни в логике нашего внутреннего отношения к ним. Они, очевидно, таятся где-то во внутренних законах языка, в самой их глубине, и вскрыть их не так-то просто.

В самом деле: если бы распределение различных предметов по грамматическим родам основывалось на качествах, присущих им самим, на их собственных и существенных свойствах, тогда в языках всех народов «мужской» и «женский», «женский» и «средний» роды имели бы одинаковое распределение. А на деле — возьмите хотя бы то же «яблоко».

Оно называется
по-русски:
по-французски:
по-немецки:
по-английски:

яблоко
ля помм
дер апфель
эппл

(la pomme)
(der Apfel)
(apple)

(среднего рода)
(женского рода)
(мужского рода)
(никакого рода)

Не кажется ли вам, что величайшей бессмыслицей было бы спрашивать: а какого же рода настоящее яблоко, то, которое качается на ветке дерева, а не звучит в языке? Никакого рода у

него нет и быть не может, и ничем оно в этом отношении не отличается от груши или граната. Ничему реальному в природе вещей наши грамматические роды явно не соответствуют. Но значит ли это, что они как бы «высосаны из пальца», сочинены народами без всяких оснований и причин? Само собой разумеется, нет.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПОР

Как-то совершенно случайно мне пришлось присутствовать при весьма забавном и вместе с тем поучительном споре.

За обеденным столом небольшого кавказского ресторана сидели три уже немолодые женщины — русская, немка и армянка. Они спокойно ели борщ. Внезапно на пол со звоном упала большая суповая ложка.

— Ага! — проговорила русская женщина, вспомнив смешную старинную примету. — Какая-то дама собралась к нам в гости. Ложка упала!

— Почему «дама»? — удивилась немка. — Ложка — «дер лёффель»! Ложка — мужского рода. Должен какой-нибудь мужчина прийти...

Русская возмутилась:

— Ну вот еще! Это если бы ножик упал, тогда это значило бы мужчину. Ножик — мужского рода...

— Ха-ха-ха!. — засмеялась немка. — Ножик мужского рода? Да ведь если ножик упадет, это ничего не значит. Он — «дас мессэр» — рода среднего.

Армянка сидела молча и с недоумением смотрела то на ту, то на другую из спорящих. Наконец она наклонилась ко мне.

— Простите, — шепнула она, — но я ничего не понимаю... Я вижу, тут какое-то забавное суеверие. Но на чем оно основано? Почему «ножик» может чем-то напоминать мужчину или ложка женщину? Мне это непонятно.

И на самом деле, разъяснить ей, на чем основано это нелепое суеверие, было невозможно: в армянском языке (как и в английском) **вообще не существует никаких родов** : ни мужского, ни женского, ни среднего. Ни в Англии, ни в Армении, ни в Турции такая примета не могла даже и образоваться.

Это отсутствие «родовых различий» во многих языках мира еще раз подтверждает, что между ними и свойствами самих вещей нет ничего общего.

Однако я не удивлюсь, если вы с трудом поймете, как же армяне или англичане обходятся без понятия рода. Слово «дом» у нас мужского рода, у французов — женского, а у англичан «house» (дом) — никакого (не «среднего», а именно — «никакого»).

Слово «птица» у нас рода женского, а у них — опять-таки «никакого». Нам с этим трудно освоиться. Им же (так же как китайцам, узбекам, татарам и очень многим другим народам), наоборот, непонятны наши родовые различия. И, пожалуй, придется признать, что у них немало оснований для недоумения: вам никак не удастся объяснить ни англичанину, ни турку, ни китайцу, почему для нас, русских, «чёлн» мужчина, а «лодка» женщина, или почему у французов одно и то же понятие, одна вещь — день — может быть названа и словом мужского рода — «le jour» (лё жур) и женского — «la journée» (ля журнэ)...

ТЕРЗАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Для нас с вами странная нелепость, деление слов на «грамматические роды», не представляется ни в каком отношении огорчительной. В самом деле: мы, русские, превосходно понимаем друг друга, когда говорим «солнце взошло», невзирая на то, что слово, «солнце» у нас относится **почему-то** к среднему роду. Понимают свою речь и немцы, а ведь у них «солнце» — рода женского: «ди зоннэ». Не хуже нас объясняются французы, хотя для них «солнце» — мужчина, «лё солей». Да и англичане, у которых «солнце» ни к каким родам не принадлежит, потому что они просто говорят о нем «сан», или китайцы, именующие его точно таким же, совершенно безродовым словом «тайан» (или «житоу», или «жи»), и они не испытывают от этой «безродовости» ни малейших неудобств.

Другое дело — чужой язык. Люди, говорящие на разных языках, подчас готовы считать прстранным и прекуръезным все то, что им кажется непривычным и что они с удивлением замечают в языках соседей.

Вот, например, в английском языке, как я уже сказал, имена существительные не различаются по родам, если говорить о внешних формальных отличиях. Возьмите любое английское слово: «бук» — книга, «дог» — собака, «грэпнэл» — крюк, «уиндоу» — окно; вы никак не можете распределить их по нашим родам. В то же время в английской грамматике вы найдете местоимения всех трех родов: «хи», «ши» и «ит» — «он», «она», «оно». Разве это не противоречие?

Пожалуй, да. И чтобы разрешить возникающие из него затруднения, английский язык прибегает сплошь и рядом к самым, на наш взгляд, неожиданным и не всегда понятным хитростям и уловкам, которые, впрочем, носят скромное название «правил».

Так, например, хотя слово «sun» (солнце) формально ничем не отличается от множества других слов и, скажем, от слова «ship» (корабль), его полагается в случае надобности заменять местоимением «он» («he») а слово «корабль» местоимением «она» («she»). Выходит, что первое из них рода мужского, второе — женского. Почему?

Английские языковеды разъясняют, что «солнце» некогда в представлении древних англов было богом, и этот бог был мужчиной; именно поэтому повелось о солнце говорить в мужском роде. Английским же морякам казались живыми существами важные и близкие для них предметы. Естественно, что их приходилось относить к тому или другому роду; в частности, корабли — к женскому. Про любой корабль англичанин скажет «она», «ши»; корабли однотипные он назовет «систер-шипам» (sister-ships) — «кораблями-сестрами», а не «кораблями-братьями» (brother-ships).

Но в самом слове, в его звуковой форме, никаких оснований для этого не содержится. Да и в грамматических отношениях это ничего не меняет: любое прилагательное, например «рэд» («red», «красный»), останется неизменным, к которому из слов вы бы его ни отнесли: «красное солнце» — «рэд сан» (red sun), «красный корабль» — «рэд шип» (red ship).

Не так-то просто поэтому положение англичанина, желающего как-то передать на своем языке, с самцом или с самкой данного животного мы имеем дело.

В известной сказочке о «Трех поросятах» упоминается «биг бэд вулф». Переводя эти слова на русский язык, вы, собственно, имеете право передать их и как «большой злой волк» и как «большая злая волчица». У нас, русских, слова «волк» и «волчица» явно и внятно с первого взгляда отличаются друг от друга именно по своей принадлежности к двум различным родам, и это впечатление дополняют согласованные с ними слова: «волк — большой, злой», а «волчица — большая, злая». Тут ничего этого нет, поскольку в английском языке и «cat» (кот) и «sparrow» (воробей) и «wolf» (волк) — никакого рода. Иногда для говорящего это совершенно безразлично (ну, скажем, в предложении «домашний кот отличается от дикого кота своими размерами» или: «что волки жадны, всякий знает»), иной же раз может причинить известное затруднение. По-русски очень просто выразить мысль: «кошка обычно бывает ласковее, чем кот», а вот как вы передадите ее на английском языке, если там и кот — «кэт» и кошка — тоже «кэт».

Чтобы справиться с этим, в английском языке возник целый ряд забавных, на наш взгляд, приемов косвенного указания пола животных.

Так, например, желая дать понять, что сидящий на пороге домашний зверек является именно котом, а не кошкой, англичанин хитроумно выражается: «на пороге восседал он — кот», «хи — кэт». Если речь пойдет о кошке, будет сказано «ши — кэт», «она — кошка». Так сказать, «котодяденька» и «кототетенька».

Иногда, впрочем, применяется и другой прием. Кота по-английски можно наименовать «том-кэт», а кошку «пусси-кэт». В применении к нашим обыкновениям это могло бы звучать как «котоваська» и «котомашка». Следует заметить, что не одни англичане додумались до этого: у турок кот важно зовется «эркек-кэди», «кот-мужчина», а кошка — «диши-кэди», «кот-женщина». И наши туркмены зовут кота «эркек-пишик», так сказать «господин кот»

(точнее: кот-самец)¹²⁴.

Английское слово «спэрроу» тоже означает «воробей вообще», без указания на его пол. Если же нужно назвать воробья-самца, его почтительно именуют «кокспэрроу», «петух-воробей», самочку — «воробей-курица». Воробья-петуха означают местоимением «он» (хи). Получается, что мы с нашими удобными суффиксами мужского и женского рода имеем в этом смысле некоторое преимущество по сравнению с английским языком.

Однако и у нас возможны свои странные неожиданности. Так, целый ряд русских слов, имеющих явную форму существительных женского рода, означает, непонятно почему, несомненных «мужчин» и сочетается с прилагательными и глаголами в мужском роде. Вспомните насмешливые стишки, которые у Гоголя в «Майской ночи» распевает озорные парубки:

... у кривого головы
В голове расселись клепки,
Голова наш сед и крив...¹²⁵

«Голова наш сед»?! Странное сочетание слов! Как же не сопоставить его с такими, например, пушкинскими строчками:

А она мне возразила:
Голова твоя седа!

«Судья», «воевода», «староста»¹²⁶, старшина — все это слова такого же «противоречивого» рода: женские по форме, мужские по смыслу и значению.

Бывают случаи, когда, буквально на наших глазах, слово вдруг меняет свой род; при этом оно сохраняет старую форму, но приобретает новое значение.

Вас не удивит, например, такое предложение:

«Мы с Пятницей вернулись в мою крепость, и я принялся обшивать его. Прежде всего я надел на него штаны. Он, Пятница, сначала чувствовал себя очень стесненным в новой одежде...»

А между тем попадись оно на глаза какому-нибудь русскому человеку лет двести назад, тот подумал бы, что автор не в своем уме.

Да и вообще трудно себе представить, чтобы русскому человеку пришло в голову назвать мужчину «Пятницей». Для нас «Пятница» скорее должна была бы означать женщину. Этому немало способствовало и то, что в религиозных преданиях день «пятница», канун древнееврейского праздника «субботы», или «шабаша», именовался греческим словом «параскевэ», «приготовление». А в христианской религии слово «Парасковия» (русское «Прасковья»), то есть «Пятница», стало женским именем. По городам и селам Руси существовало много храмов в честь «святой Параскевы-Пятницы». Назвать «Пятницей» мужчину стало немыслимо и по этим причинам. «Вторником» или «Четвергом» — это пожалуйста: ведь эти слова — мужского рода.

Англичанину же все равно: по-английски «Пятница» — «Friday» (фрайди). Слово «фрайди» — никакого рода... Так почему бы ему не стать, если нужно, и именем мужчины? Как видите, всё это еще больше подкрепляет наши рассуждения.

Но перед тем, кто знакомится не с одним только русским, а и с другими языками,

¹²⁴ Аналогичное положение и в китайском языке, где «кот» именуется «мао», но только безотносительно к полу. Кот же в смысле «кот-самец» будет «гунмао», «кошка» — «пиньмао».

¹²⁵ Сравните у А. П. Чехова (Собр. соч., т. V, ст. 18): «— Ба, жив Курилка! — засмеялся губернатор. — Господа, поглядите, наша городская голова идет. Сюда идет. Ну, беда, заговорит он нас теперь».

¹²⁶ Теперь студенты говорят «наш староста» и в тех случаях, когда этот староста — девушка.

открываются в вопросе о роде слов и еще более неожиданные вещи.

Если бы вам как скульптору предложили изобразить статую Рима, вы наверняка изваяли бы какого-нибудь сурового центуриона или важного сенатора: мужчину-римлянина. А сами итальянцы неизменно изображают Рим в виде прекрасной женщины, современной итальянки или древней матроны. Почему? По той простой причине, что по-итальянски «Рим» — «Рома»; это существительное женского рода.

Наоборот, столицу Австрийской республики Вену мы представляем себе в женском облике: «Вена» — она! А сами ее жители говоря про свой город: «Наше прекрасное Вин». На их языке «Вена», как и все названия городов в немецком языке, — среднего рода.

Всё это не представляет значительных неудобств в общении. Но вот писателям, которые переводят с одного языка на другой художественные произведения, нередко из-за подобных расхождений приходится решать презапутанные головоломки.

Всем известно, что великий наш баснописец И. А. Крылов заинтересовался басней французского поэта Лафонтена «Цикада и муравей». Надо сказать, что сам «Ванюша Лафонтен», в свою очередь, позаимствовал сюжет этой басни у великого грека Эзопа; от Эзопа к Лафонтену в стихи пробралось вместо обычного европейского кузнечика (по-французски «грийон») другое, особенно характерное для Средиземноморья, певучее и громкоголосое насекомое — цикада (*la cigale*, «ля сигаль» по-французски). Задумав перевести, или, точнее, переложить на русский язык эту басню, Крылов столкнулся с некоторыми затруднениями.

Лафонтен был француз. Он говорил и думал по-французски. Для него «муравей» был «ля фурми»; слово это во Франции женского рода. К женскому роду относится и слово «ля сигаль», означающее южную неумолчную певунью цикаду. Муравья (или «мураве́ю») французы, как и мы, испокон веков считают образцом трудолюбия и домовитости. Поэтому у Лафонтена очень легко и изящно сложился образ двух болтающих у порога муравьиного жилища женщин-кумушек: хозяйственная «мураве́я» отчитывает легкомысленную певунью цикаду.

Чтобы точнее передать всё это на русском языке, Крылову было бы необходимо прежде всего сделать «муравья» «муравьей», а такого слова у нас нет. Пришлось оставить его муравьем, и в новой басне изменилось основное: одним из беседующих оказался «крепкий мужичок», а никак не «кумушка». Но это было еще не все.

Слово «цикада» теперь существует в нашем литературном языке, но оно проникло в него только в XIX веке, когда Россия крепко встала на берегах Черного моря, в Крыму и на Кавказе. До того наш народ с этим своеобразным насекомым почти не сталкивался и названия для него не подобрал. Народной речи слово «цикада» неизвестно, а ведь И. А. Крылов был великим мастером именно чисто народных, понятных и доступных каждому тогдашнему простолюдину, стихотворных произведений. Сделать второй собеседницей какую-то никому не понятную иностранку «цикаду» он, разумеется, не мог.

Тогда вместо перевода Крылов написал совсем другую, уже собственную, свою басню. В ней все не похоже на Лафонтена: Разговор происходит не между двумя кумушками, а между соседом и соседкой, между «скопидомом» муравьем и беззаботной «попрыгуньей» стрекозой.

"Не оставь меня, кум милый!" — пищит она.

"Кумушка, мне странно это!" — отвечает он.

Понятно, почему Крылов заставил беседовать с муравьем именно стрекозу: он вовсе не желал, чтобы разговаривали двое «мужчин» — «муравей» и «кузнечик». В результате же в басне появился странный гибрид из двух различных насекомых. Зовется это существо «стрекозой», а «прыгает» и «поет» «в мягких муравах», то есть в траве, явно как кузнечик. Стрекозы — насекомые, которые в траву попадают только благодаря какой-нибудь несчастной случайности; это летучие и воздушные, да к тому же совершенно безголосые, немые красавицы. Ясно, что, написав «стрекоза», Крылов думал о дальнем родиче южной цикады, о нашем стрекотуне-кузнечике. Это и естественно: через несколько десятилетий после него другой, менее известный, русский поэт К. Случевский недаром говорил в одном своем стихотворении:

Вышла Груня на леваду,

Под вербо́ю парень ждал.
 Ионийскую цикаду
 Им кузнечик заменял...

Видимо, ближе кузнечика к цикаде у нас ничего и не подберешь.
 Таких примеров можно найти множество.

Вот в известном стихотворении Генриха Гейне «Сосна и пальма»¹²⁷ изображается мужественный и грустный поклонник прекрасной пальмы, разлученный с нею навеки. По-немецки это получается очень хорошо, потому что у немцев рядом со словом женского рода «ди фихте» (die Fichte — сосна) есть слово мужского рода «дер фихтенбаум» (der Fichtenbaum), означающее то же самое «сосновое дерево», то есть сосну.

«Дер фихтенбаум», стоя на скалистой вершине на далеком севере, вздыхает по прекрасной возлюбленной, имя которой «ди пальме».

М. Ю. Лермонтов, переводя это чудесное стихотворение, оказался лицом к лицу с хитроумной загадкой. По-русски и «сосна» и «пальма» — женского рода. Нельзя было, пользуясь образами этих двух великанш растительного мира, нарисовать картину печальной разлуки юноши и девушки.

Поэтому пришлось совершенно переменить смысл стихотворения. Правда, и у него в знойной пустыне

Одна и грустна, на утесе горячем
 Прекрасная пальма растет...

Но если в подлиннике речь идет о страстной любви к ней «существа другого пола», далекого «фихтенбаума», то в переводе вместо этого появилась дружба двух женщин. Там говорилось о разлуке любящих сердец, а тут вместо этого выплыла совсем другая тема — тема горького одиночества. И эти перемены обусловлены, собственно, тем, что по-русски слово «сосна» иного рода, чем в немецком языке.

Другим русским поэтам эта необходимость переменить самое содержание показалась нежелательной. Но, чтобы избавиться от нее, им ничего не оставалось, как заменить сосну каким-либо другим, более «мужественным» деревом.

Так они и поступили. У Ф. И. Тютчева вместо нее появился близкий ее родич — кедр:

На севере мрачном, на дикой скале
 Кедр одинокий под снегом белеет...¹²⁸

А в переводе А. А. Фета его место заняло совсем уже далекое растение — дуб:

На севере дуб одинокий
 Стоит на пригорке крутом...

¹²⁷ В стихотворении Г. Гейне говорится о дереве, которое по-немецки называется «фихтенбаум», или «фихте». В различных немецко-русских словарях это название переводится по-разному: то «сосна», то «ель», то «пихта». Ознакомление с толковыми словарями немецкого языка показывает, что вопрос этот не так-то прост. «Фихте» и действительно в некоторых наречиях немецкого языка означает пихту, в других — сосну, в третьих — ель. В свою очередь, «сосна» в различных местах Германии носит наименования «фихте», «фёр» и «кифер». По-видимому, народный язык вообще не слишком резко разграничивал там когда-то эти три древесные породы, и их названия смешиваются и до сих пор. Лермонтов вслед за большинством переводчиков принял для «фихтенбаум» значение «сосна», и у нас нет никаких оснований отказываться от его точки зрения.

¹²⁸ К слову сказать, с точки зрения ботаников-систематиков поэт допустил тут существенную неточность: кедр (Cedrus) — дерево южное, растущее только на Средиземноморье. На севере (в особенности у нас в сибирской тайге) растет совсем не кедр, а так называемая кедровая сосна (Pinus sibirica), от которой мы получаем наши кедровые орешки.

Легко заметить, что Фету пришлось в связи с этим заменить и «дикий утес далекого севера» более южным и мирным «крутым пригорком»: дубы-то на полярных утесах не растут!

Вот к каким сложностям и хитросплетениям приводит поэтов то, казалось бы, невинное обстоятельство, что род имен существительных не совпадает в различных языках.

Все это еще раз показывает нам, что вопрос о грамматическом роде труднее и сложнее, чем мы обычно думаем. Понять, почему один и тот же предмет может одним людям казаться «мужчиной», другим — «женщиной», а третьим представляться «ни тем, ни тем», было немыслимо, пока языкознание не стало на прочный научный фундамент.

Зададим себе вопрос: что означает термин «средний род»?

Роды мужской и женский все-таки как будто имеют какое-то право на существование и какой-то смысл. Довольно понятно, что у нас слово «петух» мужского рода, а «курица» женского. Чаще всего слова мужского рода, когда речь идет о живых существах, относятся к мужскому полу, а женского — к женскому.

Правда, исключений немало: такие русские названия животных, как «ласка», «курица», «росомаха», «чайка», «кукушка», будучи словами женского рода, относятся одинаково и к самцам и к самкам. От слова «лисица» еще можно с грехом пополам образовать «мужское» название: «лис». А уж от «ласки» придется производить его, так же как и в английском языке, от «кота» или от «воробья»: «он — ласка» или «ласка — кобель»¹²⁹.

Бывает и наоборот: у нас есть слова «во'рон» и «воро'на», но означают они двух птиц совершенно различных пород: самка во'рона вовсе не называется воро'ной.

Но, как бы то ни было, эти два рода более или менее естественны, средний же род непонятен совершенно.

В древнем латинском языке средний род назывался "генус **нэутрум** " (или "нёйтрум). По-русски это слово означает: «ни тот ни другой» (сравните слово «нейтралитет»).

А вот в немецком языке он и сейчас носит название «вещного рода» (зэ'хлихес гешле'хт). Что это может значить?

По-видимому, говорят ученые, в древнее время словами «вещного рода» древние германцы означали не живые существа, а предметы, и именно такие предметы, которые составляли чью-либо собственность, кому-либо принадлежали, были **чьими-то** «вещами».

Всё то, что существовало «само по себе», независимо, не было ничьей «собственностью», в «вещный род» входить не могло.

Но люди в разные времена своей истории, так же как и разные народы, живущие в одну эпоху, совершенно по-разному расценивают окружающие предметы.

В одни эпохи деревья, горы, источники, реки представлялись людям живыми существами, богами и богинями; ничьей собственностью они не были и быть не могли. В эти эпохи они очень легко могли попасть в разряд «живых и независимых существ», получить названия мужского или женского рода.

Наоборот, в другие времена тот или иной народ начинал на некоторых людей, например на рабов в рабовладельческом обществе, смотреть не как на настоящие живые свободные и независимые существа, а как на вещи, как на собственность других людей, «полноправных господ».

«Полноправные» получали имена «живых», «полноправных» родов, а рабы — имена рода «вещного», то есть, по нашим понятиям, **среднего** .

Они ведь «принадлежали», как вещи, своим господам!

Совершенно так же в жестокие времена древности смотрели многие племена и народы на женщин и детей. К ним относились как к бессловесной собственности, как к «имуществу» отца или мужа. Они были «почти вещами». Не поэтому ли и доныне в немецком языке слова «женщина» (das Weib) и «ребенок» (das Kind), а в русском языке «дитя» сохраняют свой средний, то есть «вещный», род?

¹²⁹ В одном из рассказов А. К. Толстого яицкий казак, держа за хвост суслика, на вопрос о том, самка это или самец, отвечает важно: «Жеребец, ваше благородие!»

Что это — только кабинетные, теоретические рассуждения о далеком прошлом, которое удобно тем, что его никто своими глазами не видел и не может опровергнуть нас, или можно привести этому какие-нибудь: примеры и доказательства и сейчас?

Такие примеры наблюдаются.

И поныне в грамматиках некоторых народов встречаются сложные, и для нас непонятные, «грамматические классы». Один из ученых обнаружил в языке негров Африки роды «одушевленный» и «неодушевленный», или «род существ» и «род предметов». Бывает и так, что все предметы разделяются на «род сидячих», «род стоячих» и «род лежащих» предметов или на «водяной», «каменный», «глиняный», «пенистый», «мясной» и другие роды.)

Вероятно, и в языке наших, очень далеких предков существовало немало таких своеобразных «классов», на которые они делили, по уже неясным для нас основаниям, известные им предметы и называющие их слова.

Затем, по мере развития и человеческого языка и той способности людей, которая, как мы знаем, с ним тесно связана, — способности логически думать, мыслить, — многие из этих классов стали ненужными. Они исчезли, как гораздо позднее в русском языке исчезло двойственное число.

Но исчезли они не везде, не всюду в одно время и не всегда с одинаковой полнотой. Есть языки, где от них ничего не осталось. Есть такие языки, в которых сохранились следы грамматических классов.

Они — одно из тех удивительных ископаемых, в которых наш язык доносит до нас свидетельство о том, как жили, мыслили и пользовались языком наши далекие-далекие пращуры¹³⁰.

Удивительно не то, что такие отпечатки давно прошедшего сохранились; удивительно, что мы и сейчас, спустя много веков, пользуемся в нашей речи приемами и грамматическими правилами, которые были выработаны в совершенно другом, давно исчезнувшем мире.

Но это так: основные принципы грамматического строя любого языка живут, не видоизменяясь заметно, целыми веками, и общество иногда в течение ряда долгих эпох спокойно подчиняется им, несмотря на их бросающуюся в глаза нелогичность и нелепость.

Глава 8. ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

¹³⁰ Чтобы хоть немного намекнуть на удивительное разнообразие принципов, по которым разные языки делят названия вещей, то есть имена существительные, на разряды, упомяну вот о чем. Китайскому языку чуждо наше деление существительных на три рода. Зато они делятся им на две группы: слова, означающие единицы измерения, и слова, не могущие означать их. Оставляя в стороне первую группу, укажу только на деление, существующее внутри второй. Эти существительные распадаются на разряд «вещество» и разряд «не вещество». В первый попадают такие слова, как «шуй» (вода), «жоу» (мясо); во второй «жень» (человек), «шань» (гора) и т. п. Существительные, относящиеся к «не веществам», опять-таки делятся на множество подклассов, совершенно неожиданных для европейца. Так, к одному классу принадлежат слова «стол», «билет», «лицо»: это группа предметов, обладающих плоской открытой поверхностью. Другой класс охватывает существительные, означающие предметы, которые схватываются за ручку или которые можно представить себе, как схватываемые за нее: скажем «веер», «чашка», «нож». Такие слова, как «виноградная лоза», «пулемет» и «радиоприемник», попадают в один разряд, потому что они означают предметы, связанные с подпоркой или опирающиеся на нее. Слова «тигр», «крыса», «чулок» и «петух» входят, как это нам ни странно слышать, в класс существительных, означающих «предметы средней величины». Вы скажете, что у вас ум за разум заходит от такой классификации: тигр и крыса — средней величины! Виноград и радиоприемник — в одной группе! Но китаец резонно ответит вам: это ничуть не более нелепо, чем относить «козла», «пароход» и «микроба» к одному мужскому роду, а «козу», «шхуну» и «бактерию» — к другому роду, женскому, объединяя их по этой совершенно непонятной линии. Но раз это так, раз принципы распределения могут быть столь различными, не приходится сомневаться, что на протяжении веков они могут изменяться и внутри одного языка, у одного народа. То, что когда-то имело смысл и значение, может постепенно его полностью потерять или сменить на совершенно новый. Так, безусловно, было и с нашим разделением на роды.



«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нашими предшественниками!» — призывал в одной из своих статей замечательный знаток и мастер языка Иван Сергеевич Тургенев.

Что значит: «беречь» язык? От кого или от чего «беречь»? Разве у языка есть враги или ему грозят какие-то опасности?

Да. На своем историческом пути каждый язык такие опасности встречает. Приходится бороться с ними и нашему языку. И я сейчас хочу поговорить с вами о трех из них, важнейших.

Под аркой ворот моего дома одно время висел такой плакат-объявление:

ГРАЖДАНЕ! ПРОСЬБА СДАВАТЬ ВЕСЬ УТИЛЬ ДВОРНИКУ, КОТОРЫЙ НАКОПИЛСЯ!

Не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как «накапливается дворник». Мне этого наблюдать не приходилось. Конечно, каждый грамотный человек, прочтя эти строки, улыбался; мысленно исправив синтаксическую ошибку, он все-таки понимал, что хотел сказать автор. Но для этого требовалось некоторое усилие. Хорошо, что перед нами была одна безграмотная фраза. А если бы так была написана целая страница? Каких бы трудов стоило ее прочесть и понять?!

Первая опасность, грозящая языку, — это искажение в результате невежества, невладения языком.

Искажения бывают не только в синтаксисе речи. Еще чаще они возникают из-за неверного употребления слов. При этом иногда не так-то легко разобраться в допущенной ошибке.

На улицах Ленинграда встречается красиво напечатанный в типографии плакатик пожарной охраны:

НЕ СТАВЬТЕ ЭЛЕКТРОПЛИТКИ НА СГОРАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ!

Смысл и справедливость плаката не вызывают сомнения. Но что вы скажете о самом слове «сгораемый»?

От глагола «летать» можно легко образовать причастие действительное: «летающий». Это тот, кто летает. Но можно ли произвести от него страдательное причастие «летаемый»? Ни в коем случае. Летаемый — это тот, кого «летали бы другие». А ведь «никого летать» нельзя...

Точно так же можно тот или иной предмет «сжигать», но «сгорать» может только он сам. Поэтому легко указать на «сгорающие» вещи; «сгораемых» же — нет и быть не может.

«Сгорать» — глагол непереходный; законам русского языка противоречит образование от него страдательных причастий...

«Да... А как же „несгораемые“ шкафы?» — спросите вы. Это дело особое. Русский язык знает ряд прилагательных типа «неувядаемый», «непромокаемый» и прочие, но все они начинаются с отрицания «не». Не бывает «увядаемых цветов» или «иссякаемой» энергии. Не может быть и «сгораемых предметов». Они встречаются лишь в речи тех, кому нет дела до чистоты языка. Но нас она заботит. Так не будем же наводнять язык «летаемыми машинами», «спимыми детьми» или «умираемыми со смеху людьми!» Будем считать ошибкой и слово «сгораемый».

Не так давно профессор С. И. Соколов из Алма-Аты пожаловался мне на то, что в научных работах по сельскому хозяйству наряду с термином «орошаемые земли» стали употреблять и выражение «орошаемое земледелие».

Профессор совершенно прав. «Орошаемый» значит «тот, кого (или „что“) орошают». Земли можно орошать; они могут быть «орошаемыми». «Земледелие» оросить невозможно: это же не «вещь», а «понятие» или «явление». Очевидно, назвать его «орошаемым» значит совершить грубейшую ошибку против элементарной грамотности.

Да этого и нет смысла допускать: такое земледелие искони веков удобно, грамотно и точно называлось «поливным».

Слово «сгораемый» ошибочно по своему грамматическому строению. А вот слово «звонить», которое то и дело произносят с ударением на первом слоге, неправильно по звучанию, по самому произношению своему. Такие неверные, противоречащие нормам литературной речи ударения мы допускаем часто. Искалеченные слова сильно засоряют наш язык, тем более что изгнать их из него, раз уж они привились среди малограмотных людей, бывает очень трудно. Однако даже и тут положение небезнадежно.

Вот пример. Больше четверти века миллионы русских людей произносили «мо́лодежь» вместо «молодёжь»: в просторечье часто незаконно переносят ударения на начало слова («по́ртфель», «про́цент» и т. п.). С этим боролись педагоги в школах, об этом писали языковеды и мастера языка, — всё напрасно.

И вдруг за последние годы произошло чудо: теперь все стали говорить: «молодёжь», совершенно правильно. Что случилось?

Это очень интересный факт. Поэт Лев Ошанин написал широко известный «Гимн молодежи». Помните, там есть строки:

Эту песню запекает молодёжь,
Молодёжь, молодёжь!
Эту песню не задушишь, не убьёшь,
Не убьёшь, не убьёшь!

Тут уж никак не произнесешь «мо́лодежь»: этому мешает и ритм песни и рифма. Песню поют все, и правильное произношение прививается само собою, хотя, возможно, поэт совершенно не думал о том, что его произведение выполнит, наряду с другими, и эту полезную работу.

Сто́ит обратить внимание на одну очень важную сторону этого вопроса. Не всегда легко разобраться в том, что является правильным и что неправильным в языке. Ведь язык все время меняется; меняются понемногу, постепенно и его слова и сама его грамматика. Бывшее правильным вчера становится сомнительным сегодня и совсем неверным завтра. При этом нередко новое правило распространяется не сразу на все слова определенного типа, а сначала лишь на некоторые из них, временно оставляя другие в покое. Это очень осложняет положение: порою ответить на вопрос, как надо говорить, какая из двух форм слова или какое из двух его значений правильно, оказывается далеко не так-то просто.

Чтобы стало совершенно ясно, о чем я говорю, сто́ит разобраться в нескольких примерах.

Возьмем для начала такое широко известное слово, как «рентген». Оно имеет несколько значений: так называют и определенное физическое явление, лучи Рентгена, и медицинский аппарат для облучения ими, и самую процедуру этого облучения, и, наконец, — едва ли не

чаще всего, — весь тот амбулаторный или больничный кабинет, который занят рентгеноскопией. Все поминутно говорят: "Меня назначили на **рентген**", "**Рентген** — великое дело!", "В этой больнице даже **рентгена** нет..." И в 99 случаях из 100 произносят это слово так: «рентге́н», с ударением на **последнем** слоге. Именно с этим ударением слово «рентге́н» напечатано и в словаре Ушакова. Очевидно, такое произношение надо считать правильным, литературным. Тем не менее случается слышать жаркие споры между сторонниками этой формы и людьми, которые предпочитают говорить «ре́нтген», делая ударение на первом слоге слова. Любопытно послушать аргументы и доказательства обеих сторон.

«Ре́нтген» произносят обычно люди, во-первых, немолодые и, во-вторых, знающие иностранные языки. "Слово «ре́нтген», — говорят они, — это, собственно говоря, фамилия ученого Вильгельма-Конрада Рёнтгена, открывшего знаменитые лучи. Рёнтген был немцем, а немецкие фамилии всегда несут ударение на **первом** слоге. Особенно бесспорно это в данном случае, потому что фамилия «Ре́нтген» по-немецки произносится как «Рёнтген», а пишется через «ое»: «Roentgen».

Так какие же основания у нас менять эту фамилию, переиначивая расположение ударений в ней и вообще искажая ее? Ведь у нас теперь даже «улицу Рёнтгена» в Ленинграде называют «улицей Рентге́на», — разве это не возмутительно? Тогда придется, пожалуй, фамилию Ге́те произносить как «Гете́», хотя она тоже пишется по-немецки «Goethe»; сделать из «Ли́биха» — «Либи́ха» или из «Ма́йера» — «Майе́ра»... Это безграмотно, и так дело не пойдет, товарищи!"

Так сердито говорят так называемые «пуристы», сторонники строгой правильности в нашей речи. Мы уже сталкивались с ними, рассуждая о словарях. Что же отвечают им их противники? Ведь доказательства как будто довольно сильны!

Противники указывают вот на что. Всё только что сказанное справедливо. Нам нельзя было бы отходить от правильного произношения данного слова, восходящего к немецкой фамилии, если бы наш язык всегда и всюду до сих пор соблюдал такую точность. Но этого не только нет, этого никогда и не бывало.

Очень многие иностранные фамилии мы употребляем, допуская в них значительные переделки, «русифицируя их». Так, например, фамилия гениального английского драматурга по-настоящему (то есть поанглийски) выговаривается как «Шэ́йкспиэ», а мы ее произносим (и, вероятно, всегда будем произносить!) как «Шекспи́р». Мы очень долго говорили (да и сейчас этот обычай вовсе не вывелся) «Дон-Жуан», хотя, как нам с вами теперь хорошо известно, испанского имени «Жуан» нет и быть не может; в Испании есть имя «Хуан»: недаром Пушкин в «Каменном госте» всюду называл своего героя «Дон-Гуаном». Мы называем Гейне — «Гейне»: а ведь точное произношение этой фамилии будет «Ха́йнэ». Мы говорим «Париж», хотя французы именуют свою столицу «Пари». Мы говорим «Стамбул» про тот город, который по-турецки называется «Истанбул»¹³¹. Еще более причудливо коверкаем мы имена менее известных языков — голландского, датского, шведского. Исправить все это просто невозможно, да вряд ли и необходимо. А уж что касается тех случаев, когда имя собственное стало названием вещи, так тут и говорить ничего не приходится. Все произносят «рентге́н»; значит, и нам, грамматикам, надо подчиниться этому без особых рассуждений. Попытки же ввести точную передачу немецкого слова здесь совершенно неуместны: они отзывают языковой манерностью, щегольством, пуризмом.

Что тут можно возразить? И эти доказательства тоже выглядят весьма разумными и справедливыми. Но сторонники слова «ре́нтген» не остаются в долгу.

"Значит, вы советуете, — говорят они, — считать нормальным, правильным всякое произношение, широко распространенное? Но разве эти два свойства всегда совпадают? Ведь если идти по этому пути, придется узаконить заведомо неправильное, основанное на плохом владении русским языком, произношение слов. Да и сейчас постоянно можно услышать различные, очень распространенные, но заведомо недопустимые искажения русских слов.

¹³¹ А происходит это название, в свою очередь, от исковерканного греческого выражения «Eis ten polyn», то есть «в город».

Иногда не сразу даже узнаешь и поймешь, как такой языковой уродец мог возникнуть и почему он живет. Очень часто нынче выговаривают слово «юный» как «юннй» (и даже «юность» как «юнность»). Неясно, почему привилась такая нелепая ошибка речи; может быть, под влиянием таких слов, как «длинный», «сонный», а весьма возможно, под прямым воздействием быстро распространившегося слова «юннат». Но ведь «юн+нат» — слово составное; оно сложено из двух разных слов: «юный» и «натуралист»; тут понятно, откуда взялось это второе "н". В словах же «юный», «юность», «юноша» этому лишнему "н" совершенно не место. А если судить по широте распространения, так неизвестно еще, какое из двух произношений встречается чаще? А вдруг неверное? Что же, так и узаконить его?

Некоторые неправильности речи объясняются очень благородными причинами, стремлением людей, не слишком хорошо владеющих литературной речью, как можно точнее и лучше подражать ей. Они чересчур стараются и нередко перегибают палку. У них получается то, что языковеды зовут «гиперурбанистическим», то есть «слишком уж городским», произношением. Вместо давно обрусевшего слова «рельсы» начинают говорить «рэльсы»; слово «пионер» произносят как «пионэр»; даже простую «шинель» заменили «изящной» «шинэлью»; выговаривают «рай-и-он» вместо обычного «район», который в правильной речи должен просто звучать как «раён».

Не так давно многие трамвайные кондуктора Ленинграда слово «Финляндский» (вокзал) выговаривали «фильяндский». Это была очень широко распространившаяся неправильность. Конечно, ее всеобщность не сделала ее допустимой. С повышением грамотности среди кондукторов Лентрамвая ошибка эта начала исчезать, и очень хорошо! «Так говорят многие, очень многие!» Но разве следует подражать и подчиняться им? Разумеется, это недопустимо: произношение слов надо устанавливать не большинством голосов, а в соответствии с данными науки, в соответствии с историей нашего языка. Иначе мы его страшно испортим.

Таким образом, обрисовываются две точки зрения на язык и на те изменения, которые каждый день, каждую минуту происходят в нем. Представители одной призывают к бережной охране нашего литературного языка от всевозможных нововведений, от всяких новых слов, новых фонетических навыков и привычек, от какого бы то ни было отступления от языка, который завещали нам великие мастера слова XIX и начала XX века. Другие считают этот взгляд нежизненным и требуют свободы для развития всех явлений, которые словесно создает в языке его творец и хозяин — народ.

Спрашивается теперь: кто же прав, а кто нет? Какая из двух позиций на самом деле полезна для нашего языка, а какая бесполезна или, может быть, даже вредна? Если вы потребуете от меня ответа на эти вопросы, ваши требования будут естественными и законными.

Но, как это ни неожиданно, дать на них прямой и безоговорочный ответ просто невозможно. Потому что в обеих точках зрения есть и здравые и неправильные стороны. Крайности обеих, безусловно, вредны для развития языка. Если бы которая-нибудь из них возобладала, то язык либо окаменел бы навсегда в своем развитии, либо же литературная речь перестала бы отличаться от породивших ее народных говоров, утратила бы присущие ей рамки и законы и перешла в то состояние беспорядка и хаоса, из которого выбралась давно.

* * *

Вторую опасность можно связать с той же, быстро исчезающей бедой — недостаточной культурой, слабым знанием общерусского языка. Она заключается в том, что великое множество новичков, каждый день все в большем масштабе овладевающих вершинами нашей советской культуры, а значит, и литературным языком, приходит из разных областей страны. А в большинстве областей нередко говорят в быту еще не на общерусском языке, а в значительной мере на областных диалектах.

Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк рассказывает о недоумении ставшего петербургским чиновником жителя Сибири, когда приехавший земляк произнес перед ним следующую фразу на уже забытом гиневником родном «сибирском» диалекте: «Лонись мы с братаном сундулей тенигусом хлыном хлыняли», и объяснил, что это на чисто русском (только «сибирском») языке означает; «Вчера мы с двоюродным братом неторопливо ехали в отлогую гору верхом, сидя

вдвоем на одной лошади».

В этой фразе, конечно, «областные» словечки подобраны с чрезмерной щедростью. Но вы и сами понимаете, что́ получится, если мы будем книги, предназначенные для чтения в любой части нашей великой страны, уснащать то «псковскими» (вроде «мяклыша» — белой бабочки), то «лужскими» (наподобие глаголов «гнетить» — жечь или «достогнать» — догнать) местными словами. Их поймут под Псковом и в Луге, по перед ними встанут в недоумении рязанцы или тверяки-калининцы.

Вместо того чтобы служить средством общения между людьми всех областей, язык наших книг станет серией загадок для каждого человека. Вот почему право на введение таких «местных» слов в общерусский язык мы можем предоставить только крупным мастерам слова — писателям: они знают ему меру и будут делать это лишь там и тогда, где и когда новое слово обогатит, а не затемнит и не засорит общерусский язык.

Опасность засорения языка «диалектизмами», таким образом, не очень велика. Получая образование, сталкиваясь с книгой, газетой, ораторскими выступлениями, каждый из нас начинает стараться «говорить как все» и сам вытравляет из своей речи «областные» словечки своего детства.

Хуже обстоит дело с другим слоем «языкового мусора», с так называемыми «варваризмами».

Еще в середине XVIII века поэт и драматург Александр Сумароков написал небольшую пьесу — «Пустая ссора». В ней действуют щеголи того времени и их подруги, модные дамы. Вот каким языком изъяснялись эти тогдашние «стиляги»:

Деламида . Вы так *флатируете* мне, что уже невозможно...

Дюлиш . Вы не поверите, что я вас *адорирую* .

Деламида . Я этого, сударь, не *меретирую* .

Дюлиш . Я думаю, что вы достаточно *ремаркированы* быть могли, что я *опрэ* вас в *конфузии* ...

Деламида . Я этой *пансэ* не имею, чтобы в ваших глазах *эмабль* имела...

Русская речь все время перебивается у них иноземными словами, странными гибридами французских корней, немецких суффиксов и русских окончаний: «флатировать» — льстить, «адорировать» — обожать, «пансэ» — мысль, и т. п. Это было как раз в то время, когда русское дворянство «баловалось» французским языком, предпочитая любое родное слово заменить чужестранным.

Сумароков резко возражал против этой порчи русского языка.

Взращен дитя твое и стал уже детина,
Учился, научён, учился, стал скотина;
Французским словом он в речь русскую плывет:
Солому *пальею*, *обжектором* вид зовет¹³².
И речи русские ему лишь те прелестны,
Которы на Руси врялям одним известны.

И в другом месте:

Другой, не выучась так грамоте, как до́лжно,
По-русски, думает, всего сказать не можно,
И, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь
Языком собственным, достойну только сжечь.

Так писал Сумароков в стихах, добавляя в прозе, что «слова немецкие и французские нам

¹³² Любопытно, что язык, отбросив слово «палья» (французское *paille*) как ненужный дубликат русского «солома», сохранил для обозначения светло-желтого, «соломенного» цвета выражение «палевый». Впрочем, употреблялось оно только профессионалами: портными, малярами, животноводами и т. п.

не надобны, кроме названия таких животных, плодов и прочего, каких Россия не имеет. Восприятие чужих слов, а особенно без необходимости, есть порча языка...»

Возразить на это нечего. Через семьдесят лет после Сумарокова Пушкин повторил его мысли:

Сокровища родного слова, -
Заметят важные умы, -
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим Муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих...

Порок употребления ненужных иноземных слов — а это и есть «варваризмы» — не исчезал. Он только видоизменялся и принимал другие формы. В XX веке уже никто не «баловался» поминутно французской речью, но возникла мода поминутно употреблять всевозможные «ученые» термины, позаимствованные из чужих языков, причем нередко без достаточного понимания их значения и смысла. Дошло, как это ни странно, своеобразное языковое кокетство и до наших дней. При этом самой худшей формой его и сейчас является употребление иностранных слов, смысл которых неясен говорящему.

В двадцатых годах один завклубом хвастливо приглашал меня в свой клуб, уверяя, что, с тех пор как он начал там работать, клуб стал образцовым, «доведен, можно сказать, до высшего вакуума».

Слово «вакуум» по-латыни означает абсолютную пустоту. Я страшно удивился и не сразу сообразил, в чем дело: клуб был при большом заводе, изготовлявшем воздушные насосы. Инженеры нередко хвалили свою продукцию, замечая, что насосы эти «дают высший вакуум», а незадачливый зав решил, что слово «вакуум» равносильно слову «качество».

Как-то раз мне довелось подслушать разговор в вагоне дальнего поезда. Почтенная дама, желая обрисовать капризный характер своей взрослой дочери, заметила: «Она ничем не довольна, У нее, знаете, муж аллигатор с большим стажем, а она и то ворчит!»

Аллигатор, как известно, вид крокодила. Мы все ахнули, узнав о нашей современнице, которая, как сказочная красавица, была «батюшкой за морского змия выдана»; но скоро все выяснилось: наша собеседница спутала слова «аллигатор» и «иригатор», то есть «инженер, заведующий ирригацией, орошением земель».

Вот против такого ненужного, бессмысленного и тем более неправильного употребления варваристических терминов возражают и возражали все мастера русской речи¹³³. Особенно важно для нас то негодование, с которым говорил об этом В. И. Ленин.

«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности... меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет...» — писал он, особенно негодуя на неправильное, неточное употребление чужих слов вперемежку с русскими. Чистоте нашего языка великий учитель и вождь придавал большое значение.

Да и неудивительно: язык для него был орудием и оружием всемирной борьбы, основным средством связи с широчайшими массами народа, средством повышения культуры, средством познания мира. Так как же можно коверкать его, делать невнятным, невразумительным, малопригодным для его сложной и тонкой работы?

Каждый из нас, говорящих по-русски, должен на своем небольшом участке бороться против всех трех опасностей, ведущих к порче и ослаблению нашего великого и могучего русского языка.

¹³³ Л. Н. Толстой, адресуясь только к писателям, свирепо говорил когда-то: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значение которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розги». Надо заметить, что этот гнев великого мастера языка справедлив и не только по отношению к людям пишущим.

Иван Сергеевич Тургенев не напрасно призывал относиться к языку с благоговением. Подумайте сами. Много столетий назад жили наши предки — сначала гордые и свободолюбивые анты, потом создавшие свое могучее государство русичи. И они на заре истории говорили уже по-русски, на том языке, которым пользуемся и мы с вами.

Русский народ шел своим великим историческим путем век за веком. Как ни менялось его лицо, лицо многомиллионного народа, он оставался самим собой и при Владимире Киевском, и при Иване IV, и во дни 1812 года, и в наши величайшие в истории годы. Что же скрепляло его единство? Что такое живет в этих долгих веках неистребимое, что заставляет нас чувствовать своим братом и соплеменником и сурового воина Святослава, и мудрого летописца Нестора, и славного флотоводца Ушакова?

Я думаю, мы не ошибемся, если ответим: русский язык! Он прожил долгие, очень долгие столетия. Он менялся из года в год, из века в век, и все же за тысячелетия остался тем же русским языком. Да, тем же самым! На этом языке — русском! — семьсот пятьдесят лет назад прозвучали величавые, дышащие прекрасной поэзией и глубоким патриотизмом слова Игоря-князя, призывавшего своих «кметей»-воинов к защите Родины:

«Братие и дружино! Луце же потяту быти, неже полонену быти!», то есть легче претерпеть смерть в бою за Русь, чем быть взятым в плен ее врагами.

Этот же язык гремит боевой трубой в знаменитом обращении Петра I в день Полтавской битвы: «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе...»

На этом языке клеймил ужасы крепостничества Радищев; учил «науке побеждать» гениальный Суворов; Пушкин и Лермонтов слагали свои изумительные строфы; декабристы обращались друг к другу с зашифрованными письмами о желанной свободе; писал пламенные статьи Виссарион Белинский; говорил о том, «что надо делать» передовым людям своего времени, мудрый Чернышевский...

Этот же — наш, современный и в то же время бесконечно древний по корню и происхождению своему — русский язык в его сегодняшних новых и совершенных формах воплотил в своих звуках величайшие идеи мира, которыми живет наша страна. На нем начертаны новые Программа и Устав и все глубокое учение Коммунистической партии Советского Союза. На нем прозвучали первые декреты Советской власти, были записаны титанические планы пятилеток. По-русски Ленин призывал народ Родины к Октябрю. По-русски и сегодня обращается к нам Центральный Комитет партии, направляя наши пути к светлой цели — коммунизму.

Ни на миг не прерывалась за тысячелетие волшебная нить языка, соединившая в одно целое предков и потомков, создавшая русское племя, русский народ и нацию. За это время русский язык стал одним из самых совершенных, отточенных, гибких и полновесных языков мира. Сыны России и иностранцы удивляются его простоте и мощи. Михаил Ломоносов находил в нем соединенные вместе «великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».

Знаменитый французский писатель Мериме сто лет спустя слово в слово подтверждал этот отзыв русского: «французский язык, подкрепленный греческим и латинским, призвав на помощь все свои диалекты... и даже язык времен Рабле, — разве только он один мог бы дать представление об этой утонченности и об энергической силе... русского языка».

Великий Энгельс восклицал: «Какой красивый русский язык: все преимущества немецкого, без его ужасной грубости». Английский романист Герберт Уэллс полагал, что именно нашему языку суждено в будущем лечь в основу языка всечеловеческого.

Значение и вес нашего языка неизмеримо возросли за последние десятилетия, с тех пор как наша страна стала советской. Новый мир, родившийся в 1917 году, заговорил на нем через все рубежи и границы со всеми народами Земли, со всем человечеством.

Именно поэтому и изучают сейчас наш язык с такой надеждой и любовью трудящиеся мирные люди всего мира. Именно поэтому русские слова — «Советы», «Москва», «колхоз», «мир», «спутник» — звучат теперь и в городах Франции, Англии, Италии, и в джунглях Вьетнама, и над просторами дружественных нам стран народной демократии, и даже в

трущобах Нью-Йорка и Чикаго. Везде рождается стремление как можно полнее узнать язык, на котором выражены величайшие в истории мира мысли.

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то
без унынья и лени
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.

Это написал Владимир Маяковский. Давайте же и мы, — кому выпало на долю счастье и честь знать русский язык по рождению, — изучать его глубоко и пристально, чтобы речь каждого из нас была достойна великой истории этого могучего и свободного языка.